АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

ЧЕЛОВЕК ЗВЕЗДЫ

РОМАН*

Мати неугасимого света,
претерпевших до конца победа...
Неизвестная молитва

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Губернский приуральский город П. расположился растянуто и длинно по берегу студеной полноводной реки, которая вдруг становилась лазурной, как крыло сойки. И если долго смотреть на эту сгустившуюся синеву, то вдруг захватывало сердце от странного восхищения, которое граничило с ужасом, словно в тебе отрывалась бездна, и ты мог лететь в нее, пролетая тысячелетия и геологические эры, приближаясь к первому дню творенья.

В древности здесь обитали племена, которых греческие историки живописали как людей с песьими головами и совиными лапами, признавая за ними способность перевоплощаться из человека в животное. Знаменитый "звериный стиль" бронзовых браслетов, ожерелий и гребней, найденных в захоронениях, подтверждал мнение греков. С великим искусством в орнамент украшений были вплетены травы, цветы, скачущие олени, бегущие волки, летящие птицы. И среди них попадались странные химеры с головами людей и телами кабанов, или же люди, у которых вместо рук были крылья, или

* Журнальный вариант.

ПРОХАНОВ Александр Андреевич родился в 1938 году в Тбилиси. Окончил Московский авиационный институт. Автор многих книг прозы и публицистики, романов "Чеченский блюз", "Красно-коричневый", "Идущие в ночи", "Господин Гексоген", "Крейсерова соната". Живет в Москве.

журавли на человечьих ногах. И среди этих загадочных гибридов то и дело попадались фигуры в масках, пляшущие и бьющие в бубен.

По обоим берегам реки близко к поверхности выходили рудные жилы железа и меди, а также залежи кристаллической соли. Местные жители определяли месторождения по цветам, которые были пропитаны медью, железом или солью. Были ярко-желтые, или красно-ржавые, или белые, с голубоватым отливом.

Русские промышленники, пришедшие на Урал за рудой, строили заводы и плавильные печи. Возводили среди лесов и бревенчатых изб белоснежные, с каменными завитками, церкви. Шаманы и колдуны покидали капища и уходили поглубже в леса. Да, видно, не далеко. Потому что в церквях появились резные, из дерева, апостолы, святые и ангелы, чем-то странно напоминающие языческих идолов, что устанавливались колдунами в священных рощах.

Город П. славился пушечных дел мастерами. Пушки, отлитые на местном заводе, воевали во всех русских войнах. И в память об этих войнах в разных частях города на постаментах стояли орудия. Одно из них, не уступающее в размерах Царь-пушке, имело форму огромной длинной бутылки. Из нее Иван Грозный сам палил по Казани, и если приложить ухо к жерлу, то услышишь несвязное лопотанье, будто бы татарскую речь. Другая пушка на высоких деревянных колесах пересекла вместе со Скобелевым Устюрт и срезала в Бухаре зеленый флаг эмира. Третья пушка, зеленая длинноствольная гаубица, стреляла по рейхстагу до тех пор, пока не капитулировала Германия, и последний невыпущенный снаряд так и остался в стволе.

Город П. был известен тем, что в последние годы Советского Союза, перед самым его закатом, над ним стали появляться неопознанные летающие объекты в виде серебристых ромбов, от которых ночью становилось светло, как днем. В газетах писалось, что инопланетяне облюбовали город П. с его подземными катакомбами, оставшимися от соляных и железорудных шахт, и там гнездятся целые эскадрильи летающих ромбов. Один из ромбов потерпел катастрофу, взорвавшись высоко над городом. Вспышка озарила небо, как ночное солнце, превратилась в сверкающее облако, из которого вышла прозрачная светящаяся великанша с распущенными волосами и прошла по небу, исчезая за лесами.

Город П. несомненно обладал какой-то тайной, быть может, связанной с колдунами и шаманами или инопланетными существами, или иной призрачностью, заставлявшей думать, что это поселение вместе с церквями, заводами, памятниками в один прекрасный день снимется с места и улетит в светящиеся летние небеса. Или уплывет вниз по синей студеной реке. Или уйдет под землю, и на его месте вырастут леса, поселятся лоси и кабаны, и на болотах вновь заведутся журавли с человеческими ногами.

Если заглянуть в глаза иному обитателю города, то сначала увидишь чистую наивную синеву, как у целомудренного ребенка. Затем чем-то замутятся глаза, наполнятся дымом, и промерцает зловещая волчья вспышка. А потом обнаружится такая бездонная жуть, что лучше бы убраться подобру-поздорову да и помолиться в церкви святым и угодникам.

Именно в этот город П. летним утром по федеральной трассе въехала просторная иномарка представительского класса и за ней утомленная фура с номерами восточноевропейской страны. Фура свернула на грузовую стоянку, а машина подкатила к лучшей гостинице города. Из нее показался смуглый водитель сумрачного вида, с кудрями до плеч, похожий на цыгана. Отворил заднюю дверцу и помог выйти господину средних лет, в мешковатом костюме, с невыразительным пресным лицом, маленькими неяркими глазками, с брюшком под небрежно заправленной рубахой. Сквозь редкие белесые волосы проглядывала розовая кожа, бесцветные брови его были почти незаметны, походка была нетвердой и семенящей. Единственно, что бросалось в глаза, это родимое пятно на лбу, яркое, как лепесток мака.

Господин прошел в гостиницу, а шофер внес за ним странную деревянную скульптуру, сколоченную из прямоугольных брусков, выкрашенных в красный цвет. Вместо головы у скульптуры был деревянный цилиндрик,

и вся она напоминала робот, построенный из элементов детского конструктора. Господин заполнил у стойки анкету, взял электронный ключ и направился к лифту. Лифтер в фиолетовом мундире захотел помочь шоферу, потянулся к скульптуре, но из деревянного цилиндрика вырвалась ветвистая молния, опутала лифтера, словно щупальца осьминога, и швырнула в сторону, так что лифтер влетел в крону стоящего у входа искусственного дерева, да там и застрял. Лифт унес господина и его шофера на этажи, а лифтер продолжал висеть в дымящихся фиолетовых лохмотьях.

ГЛАВА ВТОРАЯ

Губернатор Степан Анатольевич Петуховский, управляющий обширными землями, столицей которых являлся упомянутый город П., собрал в своем кабинете приближенных и верных соратников, чтобы обсудить грозную и неотложную тему. Стремительно приближался день, когда состоится визит Президента в их город, что воспринималось всеми как неотвратимый кошмар, переживет который далеко не каждый, в том числе и сам Степан Анатольевич. Уже несколько губернаторов, что, казалось, на всю оставшуюся жизнь обосновались в своих губерниях, уютно жили во дворцах с золотыми крышами, летали на вертолетах стрелять в заповедниках зверя, утомившись от изнурительной русской глубинки, посещали свои родовые замки в горах Швейцарии и в долине Луары, — уже несколько губернаторов лишились своих мест. А некоторые, после визитов в прокуратуру, предпочли покинуть неблагодарное отечество.

Визит Президента в город П. воспринимался отцами города как кара Божья. И они собрались у своего столоначальника и благодетеля, чтобы обсудить стратегию коллективного поведения.

Степан Анатольевич Петуховский обладал сытым мясистым телом, требующим постоянного ухода и заботы, большой лобастой головой с выпуклыми бычьими глазами, повелительными и величественными жестами и манерой, когда ему что-нибудь нравилось, выпячивать нижнюю губу, которая начинала мокро розоветь и становилась похожей на скользкий моллюск.

— Ну, родные мои, — обратился губернатор Петуховский к своим заместителям и министрам. — Что мы покажем Президенту такое, отчего он, восхитившись, переназначит нас на другой срок?

Зам по дорожному строительству указал на опасность, которая возникает в связи с долгостроем дороги, ведущей от аэропорта в город. Президент захочет взглянуть на дорогу, а увидит одну только рытвину.

— Шубу можно украсть один раз. Чужую жену — два раза. Вы же умудрились украсть эту дорогу шесть раз. На эти деньги можно построить самую большую в Европе тюрьму, — сердито произнес губернатор.

Зам по промышленности предложил показать Президенту кондитерскую фабрику и угостить его фирменным тортом.

— Эх ты, эклер с хвостиком. Раньше в этих зданиях работали над искусственным интеллектом. Шесть академиков мирового значения. А сейчас ты хочешь Президента сладким кремом испачкать.

Министр торговли предложил повести гостя в новый супермаркет, созданный на месте авиационного завода. Назначить большую распродажу по бросовым ценам.

— А он посмотрит на китайское барахло и плюшевых мишек, от которых у детишек прыщи выскакивают, да и спросит: "А правда, что здесь начинали строить звездолет для дальнего Космоса? Можно его посмотреть?"

Министр речного хозяйства предложил покатать Президента по реке и устроить рыбалку на омутах, где расплодилось стадо белорыбицы. Ведь Президент рыболов и охотник.

— Ну, повезем мы его на катере по реке, а он скажет: "А где же у вас судоходство?" Раньше по реке теплоходы, баржи, "метеоры", "ракеты" сновали. А сейчас и лодчонки паршивой не видно. Как вы ему объясните?

Министр культуры робко предложил повести высокого гостя на премьеру спектакля “Дядя Ваня”.

— “Дядя Ваня”! “Тетя Маша”! Тьфу! Сколько можно этих дядей и тетей показывать? Да вашему дяде восьмой десяток пошел, и из него на сцену катетер вываливается!

Губернатор зло рассмеялся, и соратники смущенно умолкли, так и не дождавшись, когда нижняя губа Петуховского начнет выступать вперед, как розовый моллюск из раковины.

Губернатор смотрел на соратников, молодых и не очень, плутоватых и хитрых, и мнимо застенчивых, и смиренных, похожих на притихшую стаю, тревожно и вопрошающе глядящую на своего вожака. Стоит ему отвернуться, как алчная стая кинется в разные пределы губернии и начнет алчно грызть, рвать, отхватывать лакомые ломти. Ненасытно глотать, давиться, отрыгивая непереваренные куски, жадно отыскивая по сторонам еще не тронутую клыками добычу. Всю эту стаю вырастил он сам из щенков. Притравливал, учил делать стойку, брать след, неутомимо преследовать обреченную жертву, перекусывать ей поджилки и горло, приносить в окровавленных зубах добытый трофей ему, хозяину, получая за это отрезанные уши и хвост. Но стоило ему дрогнуть, ослабеть или забыться, как все хищное скопище выходило из повиновения, рвало губернию на части, и он сам, губернатор, вполне мог почувствовать, как смыкаются у него на горле отточенные клыки.

— Ну вот, родные мои, берите бумагу и записывайте, — произнес Петуховский тоном утомленного учителя, сожалеющего о недалеких учениках. — Президента повести на многострадальную дорогу и в рытвинах посадить людей с совками и кисточками. Набрать из музея разных черепков, костей, бронзовых зверюшек. Зарыть в землю. Сказать Президенту, что найдено уникальное археологическое поселение, поэтому и остановилось строительство. Дать ему совок, пусть откопает какой-нибудь амулет и подарит своей жене. Это раз. На кондитерской фабрике испечь торт размером сто метров на сто метров с профилем Президента из сладкого крема и марципан с надписью “Добро пожаловать”. Это два. В супермаркете устроить бесплатную раздачу товаров населению, как знак заботы администрации о народе. Пусть какой-нибудь мальчик прочтет Президенту стишок о солнышке и счастливом детстве. Это три. Гостя повезти на рыбалку и сделать так, чтобы он поймал белорыбицу на пуд весом, с медным кольцом на хвосте и надписью “Сию рыбу кольцевал государь Петр Алексеевич”, и дата. Пусть Президент почувствует себя рядом с Петром Великим. Это четыре. Никаких дядей Вань и тетей Маш. Устроить пляски шаманов в шкурах, с бубнами. Пусть Президент наденет медвежью шкуру и постучит в бубен. Это ему понравится. А остальное приложится. — Петуховский умолк, словно раздумывал, не упустил ли чего. Потом обвел соратников тяжелым бычьим взглядом. — Суслики вы. Головки маленькие, а резцы большие. Что бы вы без меня делали? — С этими словами он завершил совещание и отпустил соратников, чтобы те воплощали его творческие наработки.

Степан Анатольевич уже собирался покинуть кабинет, как появился помощник и неуверенно, боясь нареканий, протянул ему визитку:

— Тут один посетитель, Степан Анатольевич. Он не записывался. Не знаю, как просочился в приемную. Говорит, что познакомился с вами в Кремле, в кабинете Владислава Юрьевича. Я сказал, что узнаю.

Петуховский недовольно взял визитку. На ней было начертано: “Виктор Арнольдович Маерс. Президент Международной Академии искусств”. Это имя ничего не говорило Петуховскому. Титул внушал подозрение, что за ним скрывается легковесный пустобрех или хитрый авантюрист, которые во множестве, как назойливые комары, осаждали губернатора, надеясь высосать из него капельку бюджетных денег. Но имя человека, на которого визитер ссылался, действовало магически и не позволило Петуховскому отослать его прочь.

— Ну ладно, впусти. Но скажи, не больше пяти минут. У меня совещание в городе.

И не успел еще помощник выйти, как навстречу ему, бочком, скользко и ловко, протиснулся в кабинет господин с сияющей улыбкой, в которой светилось такое обожание, такое счастье от нечаянной встречи, что Петуховскому показалось, что они и впрямь где-то встречались.

— Степан Анатольевич, дорогой, ну как я рад, как я рад. Как будто вчера расстались. А вы все такой же, могучий, деятельный, настоящий государственник. Мало кого из губернаторов поставишь в ряд с вами. Владислав Юрьевич очень высоко вас ценит. Говорит: "Пока у руля Петуховский, мы за Урал спокойны".

Господин был среднего роста, слегка одутловатый и полный, но радостные всплески рук, скользящие движения ног придавали ему сходство с изящным танцором. Его редкие рыжеватые волосы, розовая кожа черепа, белесые, почти незаметные брови делали его лицо заурядным, если бы не лучистые, как две масленые лампадки, глаза, в которых играли лукавство, подобострастие, смех и острая прозорливость, полыхавшая моментальными зеленоватыми лучиками. На лбу господина сочно краснело алое родимое пятно, похожее на лепесток мака.

— Тот миг на кремлевском приеме, когда мне выпала честь быть вам представленным, я почитаю счастливейшим мгновением моей жизни. По гроб благодарен Игорю Ивановичу, который ради меня прервал свою беседу с Анатолием Борисовичем, и подвел меня к вам. Как раз стал говорить Владимир Владимирович и, как всегда, произнес свою меткую и колкую шутку о кобельке, который чует сучку за версту. Кого он имел в виду? Должно быть, Меркель, не правда ли? Впрочем, Дмитрий Анатольевич сделал вид, что не понял шутки.

Посетитель сыпал именами, жестикулировал, словно изображал каждого, о ком говорил. И Петуховский растерянно вспоминал, на каком из кремлевских приемов он мог познакомиться с говорливым господином, и что за важная птица был этот господин, если запросто общался с персонами, при одном имени которых хотелось встать.

— Собственно, чем обязан? — произнес Петуховский, осторожно нащупывая в зыбких словах и жестах гостя твердую деловую основу.

— Видите ли, я не сразу, далеко не сразу сделал этот выбор. Вы не представляете, как долго я колебался. Совещался с Артуром Сергеевичем, чей тонкий вкус и художественная эрудиция не имеют себе равных. Советовался с Николаем Леопольдовичем, непревзойденным знатоком международных отношений. И конечно же, пользовался бесценными рекомендациями Григория Феоктистовича, который среди всех губернаторов указал именно на вас, как на утонченного ценителя прекрасного, чуткого ко всему современному и актуальному. Именно поэтому я приехал к вам, в ваш замечательный город П.

— С каким же предложением вы явились в наш город П.? — спросил Петуховский. У него голова начинала кружиться от обилия имен и отчеств, за каждым из которых ему мерещилась именитая персона, припомнить которую он не мог. — В чем ваша идея?

— А идея моя, дорогой Степан Анатольевич, состоит в том, чтобы ваш славный, но, извините, слегка захолустный город П. превратить в культурную столицу Европы.

Произнеся это, Маерс воззрился на Петуховского смеющимися счастливыми глазами, из которых излетали зеленые лучики, пронзавшие насквозь Степана Анатольевича. А того обуяло раздражение, и он не знал, продолжать ли ему разговор, выведывая из слов посетителя какую-нибудь неявную для себя угрозу. Или же появившийся в его кабинете господин — просто шарлатан и обманщик, охотник за даровыми бюджетными средствами, и сейчас самый момент, чтобы его раскусить и указать на дверь.

— Как же это вы превратите наш захолустный, как вы выразились, город в культурную столицу Европы, если у нас даже Эйфелевой башни нет? — Петуховскому понравилась собственная шутка, отчего нижняя губа стала медленно выдвигаться, словно розовый моллюск покидал свою раковину. — И пирамиды Хеопса тоже нет.

— В том-то и дело, в том-то и дело, дорогой Степан Анатольевич. Вы точно угадали, метко заметили. Ни Эйфелевой башни, ни пирамиды Хеопса. И поэтому на пустом месте, с белого, как говорится, листа мы начнем создавать культурную столицу Европы. Второй Париж. Вторую, если угодно, культурную Мекку. В глухих уральских лесах вдруг вспыхнет и засияет на весь мир новый культурный светоч, отнимая пальму первенства и у Парижа, и у Вены, и у Санкт-Петербурга.

— Да? И что это будет? — иронично расспрашивал Петуховский, позволяя шарлатану возвести затейливое сооружение из обманов и фантазий, чтобы потом одним махом разрушить этот воздушный замок и строго указать фантазеру на дверь.

— О, это целая программа, с которой рад познакомить вас, дорогой Степан Анатольевич. Сюда, в этот тихий и Богом забытый город П. нахлынут художники из всех уголков Европы, и даже из Нового Света и стран Латинской Америки. Они распишут своими фантастическими граффити унылые стены ваших остановившихся заводов и заброшенных складов. Их рисунки будут напоминать те, что в свое время покрыли Берлинскую стену, и эту стену за огромные деньги по кусочкам продали коллекционерам всего мира. Перфомансы, которые украсят фасад зданий и фонарные столбы, превратят город в волшебное изваяние, рожденное из стеклянного блеска, душистой пены, фонтанирующих радужных струй. Музыканты и певцы привезут сюда все разнообразие жанров, от классического джаза, гангстер-рэпа до магической музыки и звуков, издаваемых утомленным, не добежавшим до цели сперматозоидом. Поэты и писатели будут читать свои произведения на всех языках Европы, а критики и культурологи станут устраивать дискуссии и круглые столы, посвященные проблемам современной эстетики. Город превратится в феерию огней, аттракционов, цирковых представлений, волшебных спектаклей, где средствами музыки и танцев будет развернута картина человечества с его пороками, страстями и великими устремлениями. И, главное, — зрители, туристы, пилигримы со всего мира, которые поедут, полетят, поплывут, чтобы насладиться этим феерическим действом. И мир ахнет, обнаружив, что музы переселились из Парижа, Вены и Рима в доселе никому не известный город П.

Маерс произнес все это на одном дыхании, перемещаясь по кабинету, взмахивая руками, как крыльями, подпрыгивая и ударяя ножку о ножку, рисуя перед глазами обомлевшего Петуховского чудесный преображенный город.

Степан Анатольевич справился с головокружением, когда перед ним вдруг залетала, засверкала прозрачными крыльями стрекоза. Укротил в себе порыв, побуждавший поверить в утопию. Строго произнес:

— Вам не откажешь в умении пудрить мозги. Но, видите ли, мне сейчас не до этого. Мы в нашем городе ожидаем Президента, и все наши силы, все небогатые материальные средства направлены на это мероприятие. Извините, нам не до пустяковых фантазий, — и он стал подниматься, давая понять, что прием окончен.

— Вот именно, визит Президента. Владислав Юрьевич как раз и просил меня помочь организовать этот визит. Дорогой Степан Анатольевич, ну чем вы собираетесь порадовать, чем изумить Президента. Хотите подарить ему какую-то окисленную медную штуковину, назвав ее амулетом? Да ему недавно подарили часы “Патен Филипс” стоимостью в триста тысяч долларов. Или хотите испечь к его приезду торт длиной в сто метров? Да его недавно встречали в Букингемском дворце. Постелили под ноги ковер в двести метров. По сторонам стояли гвардейцы в медвежьих шапках, и встречал его весь цвет английской аристократии. Или подсунете ему полудохлого сома с фальшивым кольцом на хвосте? Да наш Президент — ультрасовременный человек, увлекается электроникой, цифровыми коммуникациями, твиттерами, айпедами, айфонами, а не тухлыми рыбами. Хотите удивить подставным шаманом в вывернутом наизнанку тулупе? Да он в Париже восхищался мистериями лучших балетмейстеров мира и одной из балерин преподнес драгоценный алмаз Якутии. Наш Президент воспитан на западной музыке, обожает

дизайн современных автомобилей и самолетов, говорит во сне по-английски и выписывает из Европы самых дорогих массажистов и мастеров педикюра. Так что, дорогой Степан Анатольевич, баней и вениками его не удивишь.

Маерс произнес это с печальным видом и едва заметным сожалением по отношению к Петуховскому с его провинциальными представлениями о прекрасном. Но это унижающее его сожаление осталось не замеченным Степаном Анатольевичем. Он был поражен осведомленностью таинственного гостя, который никак не мог знать о недавнем секретном совещании, где в полнейшей тайне разрабатывался план торжественных мероприятий. В осведомленности гостя было что-то пугающее и зловещее. Только принадлежность к спецслужбам обеспечивала такую осведомленность, наличие в кабинете встроенных подслушивающих устройств.

Степан Анатольевич пугливо обвел кабинет глазами, гадая, где скрываются звукозаписывающие установки. Быть может, за портретом Президента, похожего на зоркого тетерева. Или в складках трехцветного государственного флага. Или за гипсовым губернским гербом, где на старинной пушке сидит таежный соболь.

— Ну что вы, что вы, Степан Анатольевич, никакой электроники, никакой акустики. Просто современное искусство во многом основано на магических практиках, на ясновидении, телекинезе, угадывании мыслей и чувств. Искусство работает на уровне инстинктов, как у животных, которые предчувствуют катастрофы или затмения. Я лишь скромный маэстро, бравший уроки у великих магов, царящих в современной музыке, живописи и поэзии.

— Как это возможно? Вы колдун?

— Немножко, совсем немножко. Просто нужно очень чувствовать, очень любить другого человека. Среди бесчисленных, наполняющих Космос волн настроиться на волну человека, и тогда многое тебе может открыться…

— Я выбирал из многих русских городов, прежде чем остановил свой взгляд на городе П. Приглядывался ко многим губернаторам, прежде чем выбрал вас. Ваша утонченная сексуальность, ваша мечтательность, ваш креативный разум, — чего стоит ваша выдумка с налимом времен Петра Великого. Или перфоманс с тортом длиной в сто метров. Вы, как никто из губернаторов, приблизились к пониманию современного искусства. — Маерс скользнул на одной ноге, отведя назад другую, словно конькобежец на льду, а потом закружился, высекая коньками снопы голубых искр, так что в глазах Петуховского все засверкало россыпями бриллиантов. Он уже верил каждому произносимому слову, боялся, что восхитительная музыка слов прервется.

— Властители мира понимают, что больше нельзя управлять человечеством с помощью силы, принуждать авианосцами, космическими группировками, интригами разведок. Что деньги, вчера еще всесильные, сегодня обрушились вместе с финансовыми рынками и мировыми банками. Что идеологии, будь то коммунизм, фашизм или либерализм, утратили власть над умами. И только искусство, изощренное, рафинированное, воздействующее на подсознание, инстинкт, использующее волшебство, магическую красоту, — только искусство способно опьянить человечество, повести туда, куда зовет его художник и кудесник. Искусство становится властелином мира. Вы согласны со мной, Степан Анатольевич?

— О, да, — опьяненный музыкой слов, опутанный лучистыми сетями, отозвался Петуховский.

— Наш Президент осведомлен о предстоящем в городе П. изумительном празднике. Об элевсинских таинствах двадцать первого века, о дионисийских играх и вальпургиевых ночах. Вы, Степан Анатольевич, становитесь повелителем не просто города П., но и, если угодно, повелителем мира, ибо здесь, в предгорьях Урала, раскинется мировой центр искусств со своими музеями, консерваториями, музыкальными аренами, академиями. Отсюда потянутся невидимые струны во все уголки обезумевшего, ввергнутого в хаос мира, и музыка этих струн вновь вернет миру гармонию, иерархию, и в этой иерархии Россия займет лидирующее место. Президент это знает и поэтому стремится сюда. Вы будете обласканы, вы накануне нового взлета карьеры.

Так губерния превращается в центр мира. Так из уральских туманов возникает столица, перед которой склоняются Париж, Рим и Нью-Йорк.

— Но что я должен сделать? Где я возьму такие средства? Наш губернский бюджет ничтожен! — пролепетал Степан Анатольевич.

— Ровным счетом ничего не должны делать, — ответил Маерс, осторожно освобождая вою руку от сладострастных прикосновений губернатора. — Я все беру на себя. Вы только отдайте распоряжение, чтобы в вашей приемной, на крыльце административного здания, на кровле городских учреждений разместились привезенные мною красные человечки. Абстрактные скульптуры, предвещающие начало празднества.

Маерс подскочил к дверям, приоткрыл и щелкнул пальцем. В кабинет, величественно ступая, вошел человек, похожий на чернокудрого араба. Он нес в руках деревянного, из красных брусков, истукана. Вместо головы у истукана был небольшой деревянный цилиндр. Вошедший человек напоминал факира. Он согнул деревянному истукану ноги в коленях и усадил в кресло. Деревянная скульптура сидела, прямо выгнув спину, немая и глухая, казалось, явившаяся из древнеегипетских погребений, или с острова Пасхи, или лаборатории, производящей лунных роботов.

— Вам нравится? — Маерс заглядывал Петуховскому в глаза. — Он вам нравится?

— О, да! — восторженно ответил Петуховский.

— Вот и отлично, Степан Анатольевич. Правильно вы говорите. У сусликов головы маленькие, а зубы длинные. Но мы-то с вами не суслики. — С этими словами Маерс и его ассистент вышли из кабинета, оставив в кресле под государственным флагом красного истукана, на которого оторопело взирал губернатор.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Председатель областного законодательного собрания, он же лидер регионального отделения правящей партии, Иона Иванович Дубков, в бандитском сообществе — Дубок, скучал в штаб-квартире партии. Штаб располагался в ампирном особняке, который, благодаря евроремонту, был превращен в сгусток белых и желтых сливок. В зальце, где прежде собиралось на обеды семейство губернских дворян, теперь стоял бильярдный стол, бар с напитками и несколько диванов с кожаными подушками, где иногда собирались соратники по партии, каждый из которых имел в блатном сообществе свою кличку: Лапоть, Джек-Потрошитель, Паяльник, Абама. Все они занимали места в законодательном собрании и имели серьезный бизнес в масштабах губернии.

В одном углу зальца стояло чучело медведя, тотемного зверя партии, с клыками и стеклянным стаканом в когтистой лапе. В другом углу сиял больший золоченый образ Спасителя, подаренный Дубку местным владыкой. На стене, над диваном, висела большая фотография бритоголового человека с узким лбом и волчьим, исподлобья, взглядом. Это был заместитель Ионы Ивановича по партии, имевший кличку Рома-Звукозапись, потому что любил пытать своих должников под магнитофон, и потом в бане, в компании единомышленников, прокручивал вопли и рыдания истязаемых. Рома-Звукозапись был застрелен полгода назад, когда в его джип разрядили полный магазин "калашникова", и это была невосполнимая потеря для партии и лично для Ионы Ивановича, потерявшего друга и соратника.

Дубок томился, скучал и нервничал. Ибо приближалось то время суток, когда, после изнурительных депутатских и партийных трудов, он отправлялся в загородную баню, где в компании местных милиционеров, прокуроров и "налоговиков" парился, пил виски, играл в покер. Пока в баню не влетала стайка девушек, и тогда так славно было увлекать их в парилку, смотреть, как в раскаленном тумане начинают розоветь их личики, груди и бедра. Кидаться с оханьем и визгом в бассейн, нырять, хватая девичьи ноги. Фыркая, вылетать на поверхность. А потом уводить мокрую, как русалка,

подругу в соседнюю комнату для отдыха, где в сладких сумерках стояли удобные и просторные кровати.

Этот час приближался, но не наступал, и Иона Иванович не находил себе места. То бил кием по бильярдному шару. То подходил к чучелу медведя и выщипывал из его шерсти клок волос. То открывал бар, порываясь выпить рюмку, но удерживал себя, чтобы не нарушать заведенный в кругу банных друзей ритуал "первой рюмки", когда, распаренные, в белых туниках, по-офицерски приподняв локти, чокались и пили за Россию и православную церковь.

Дубок томился. Ему не хватало общества. С фотографии на него смотрело лицо умершего друга, со злой укоризной, с застывшей на узких губах волчьей улыбкой.

— Ну что смотришь, братан? Сам выбрал свою судьбу, — Иона Иванович перекрестил портрет былого товарища, продолжая томиться духом.

Рому-Звукозапись хоронили торжественно, по египетскому обряду. В гроб из красного дерева с бронзовыми ручками, напоминающий дорогой старинный комод, положили смену белья и несколько пар теплых носков, чтобы в холодном подземелье покойник мог согреться. Туда же, рядом положили порнографический журнал, любимое чтение Ромы. Плеер, куда переписали бодрящие песни. Телевизор. Минибар с комплектом напитков. Мобильный телефон с заряжающим устройством. Электробритву и пистолет "ТТ", который так и не успел достать Рома, когда путь его джипа перегородил грузовик, и салон прошили смертоносные автоматные очереди.

— Звони, братан, если станет скучно, — с горькой улыбкой произнес Иона Иванович.

Все это время Дубок не выпускал из рук телефон, который постоянно тренькал, мигал, пульсировал голубыми кнопками, и Иона Иванович смотрел на определитель, одни звонки оставлял без внимания, на другие раздраженно откликался.

Звонил депутат района, по которому проходила многострадальная трасса. Она должна была пересечь заповедную рощу, и на ее пути оказался священный тысячелетний дуб, внесенный в "красную книгу". Он засох, и его, по закону, разрешалось спилить. Но местные активисты, среди которых подвизались шаманы, препятствовали уничтожению дуба.

— Да они, Иона Иванович, хотят обратиться в Гринпис. Говорят, лягут под пилы. Называют вас, Иона Иванович, дубоедом. Говорят, что спилить надо не дуб, а дубок. Нужны нам перед выборами такие безобразия?

— Ну что ты, Репа, воешь, как дурная баба. Когда кассы брал, небось, знал, что делать. Возьми канистру бензина, ночью залей дубу в дупло и подожги. Скажи, молния вдарила. А на молнию суда нет.

— Так ведь погода, Дубок, ясная. Откуда молния?

— Шаровая, Репа, шаровая. Они в любую погоду летают. — Иона Иванович прекратил разговор, сетуя на низкую квалификацию депутатского корпуса.

Еще один звонок подтвердил его сетования. В городской психлечебнице по стенам пошли трещины. Аварийное здание не ремонтировалось, а выделенные из бюджета средства были столь ничтожны, что когда их украли, этого никто не заметил. Лечащий врач грозил вывести на демонстрацию тех больных, которые были способны двигаться.

— Иона Иванович, он их хочет прямо в больничных халатах. Прямо в тапочках к зданию заксобрания. Как быть, Иона Иванович? — умоляюще вопрошал депутат.

— Ну что ты пылишь, Федюня? Пусть в смирительных рубахах выходят. Ты им сунь в руки плакатики, что они поддерживают на выборах компартию. И мы тебе за это налом заплатим.

Дубок держал на ладони телефон, перебирая список абонентов, среди которых были генералы и бандиты, депутаты и проститутки, банкиры и священники, прокуроры и киллеры, сотрудники ФСБ и торговцы наркотиками, бизнесмены и журналисты. И среди мелькающих имен возник телефон Звукозаписи. Его мобильник уже полгода находился в земле, под слоем глины,

на котором возвышался мраморный памятник, где усопший, в полный рост, держал колоду игральных карт. Дубок смотрел на номер, который уже был не нужен, собирался убрать его из списка, но больное любопытство побуждало его узнать, сохранил ли свой заряд аккумулятор погребенного телефона. И он набрал номер. Вместо жестяного женского голоса, извещавшего о том, что абонент недоступен, раздались гудки, в трубке щелкнуло, и Дубок отчетливо услышал сиплое дыхание. Так дышит человек, на грудь которого навалилась страшная тяжесть. Это было подземное дыхание мертвеца, сиплый звук, исходящий из мертвых легких.

— Звукозапись, ты? — с ужасом прошептал Дубок. Дыхание оборвалось, и металлический женский голос произнес: "Абонент не обслуживается".

Иона Иванович не знал, что это было, быть может, наваждение, связанное с переутомлением изнуренного алкоголем рассудка. И был рад, когда вошла длинноногая, в мини-юбке, секретарша и очаровательным, бархатным голосом доложила:

— Иона Иванович, к вам какой-то господин. Говорит, его направил к вам губернатор. Пригласить или сказать, что вас нет?

— Пригласи, пригласи.

В кабинет впорхнул Маерс, смешно щелкнув каблучками и отвесив поклон, согнув свое полное, с животиком, тело, улыбаясь как конферансье. Это рассмешило Иону Ивановичу и вернуло ему хорошее настроение после странного зловещего наваждения. Он рассматривал незнакомца, его неловко сидящий костюм, сладкую улыбку и масленые подобострастные глазки.

— Что это у тебя на лбу? — Иона Иванович указал на малиновое родимое пятно. — Утюгом, что ли, жгли?

— Никак нет-с, родовая-с травма-с. Щипцами неловко прихватили.

— Это бывает. Значит, тебя, как гвоздь, из материнского чрева вытаскивали.

— Как гвоздь, ваш превосходительство, истинное слово, как гвоздь, — и визитер снова щелкнул каблучками. Это окончательно развеселило Иону Ивановича, и он захохотал. И Маерс в ответ захохотал, и так они некоторое время смеялись, глядя один на другого.

— Что надо? — спросил Дубок, перестав смеяться, уже зная наперед, что визитер обратится к нему с какой-нибудь чепухой, бессмысленной и безвредной белибердой, имеющей одну единственную цель, — выудить толику бюджетных денег.

— Любезный Иона Иванович, — приступил к выуживанию потешный гость, — Ваша слава известного мецената, покровителя искусств, высокого ценителя всех видов современного искусства вышла далеко за пределы города П. Скольким молодым писателям вы помогли издать их первые робкие книжицы, а ведь среди них наверняка окажется будущий Толстой или Чехов. Скольким художникам вы помогли устроить их персональные выставки, а ведь это будущие Кандинские и Малевичи. Скольким молодым певцам и певицам вы помогли записать их первые диски, а ведь это новые шевчуки и макаревичи. Я преклоняюсь перед вашей добротой и щедростью. — Маерс согнулся в поклоне, а Дубок, радуясь своей проницательности, видя в визитере мелкого плута, важно произнес:

— Не скрою, я таков.

— Любезный Иона Иванович, — продолжал гость, прижимая полные ладошки к груди. — Но вы не просто меценат, вы, прежде всего, успешный современный политик. Вы заслуженно добились высот в губернской политике, оставив далеко позади своих конкурентов, — гость мельком взглянул на портрет Звукозаписи. — И это для вас не потолок. Вы вполне могли бы претендовать на почетные роли в федеральной политике, и я уверен, что мы увидим вас среди самых ярких политических деятелей Государства Российского.

Дубку нравилась эта откровенная лесть, и он соглашался:

— Верно глаголешь, сын мой.

— И не мне вам говорить, как важно для публичного политика облечь свои идеи в яркие, завораживающие формы. Вам, я знаю, скучны и отвра-

тительны те проекты, которые предлагают вам убогие и бездарные пиарщики. Эти жестяные слова, набившие оскомину речи, бездарные лозунги, убогие, отталкивающие своей примитивностью инсценировки. И вы совершенно правы, когда предпочитаете этой глупости и убогости собственную волю и силу. Наглого противника надо запугать, а не обыграть. Избирателя легче купить, чем убедить. Современные выборы — это боксерский ринг и финансовый рынок, не правда ли?

— Мы еще ребята молодые, хук слева, хук справа, — Дубок крутанул плечом, нанося удар невидимому противнику.

— Но современную молодежь не заманишь в политику деньгами и не загонишь на выборы дубинкой. Она аполитична, разочарована, тонко чувствует фальшь. Единственный язык, который она понимает, это язык эмоций, язык чувств, на котором говорит только искусство. Современные политики Европы превращают свои предвыборные компании в настоящие шоу. Музыка, поэзия, живопись заменяют манифесты и речи. Кто овладеет сердцами молодежи, тот овладеет будущим. Я пришел, Иона Иванович, чтобы помочь вам овладеть будущим.

— А что, я не против. Выкладывай. — Дубок весело следил, как незадачливый плут раскидывает вокруг него сети, заманивая в ловушку. Делал вид, что не замечает подвоха. Ему нравилась эта игра в поддавки.

— Вы только вообразите, Иона Иванович. Открывается наш фестиваль, и по красной дорожке, как во время церемонии "Оскара", шествуете вы в окружении звезд Голливуда. Том Круз, Джулия Робертс, Майкл Дуглас. И среди них вы, с белозубой улыбкой, посылаете в толпу воздушные поцелуи!

— Поцелуи? Воздушные? Это круто! — восхищался Дубок.

— Или на эстраде, среди фейерверков, цветомузыки, вместе с группой "Роллинг стоунс" вы исполняете новый шлягер: "Лизни луну". Они — на английском, а вы — на русском. И толпа скандирует: "Иона! Иона!"

— Никому ничего не лизал, а луну лизну, — радовался, как дитя, Дубок.

— Перфомансы, игры, ритуальные танцы. Вы совершаете заплыв по вашей прекрасной реке, как в свое время великий кормчий Мао плыл по Янцзы. Вы впереди, за вами сто обнаженных девушек в венках из кувшинок. На другом берегу, мокрые, энергичные, вы проводите митинг в поддержку вашей партии, и над вами пролетают сто дельтапланов, сбрасывая листовки с вашим портретом.

Маерс рисовал картины, одна другой восхитительней. Город П. превращался в огромный театр, где на открытом воздухе шли постановки греческих трагедий и современных мистерий. На каждой площади и улице, в каждом дворе и подворотне играли рок-группы, выступали певцы и танцоры, факиры и кудесники. Ночью цветомузыка преображала обыденный город в волшебное царство, где в разноцветных туманах парили старинные особняки, взлетали, как ракеты, древние колокольни, а унылые заброшенные заводы становились хрустальными замками, висячими садами, отражались в реке, как царские дворцы, где течет нескончаемый праздник.

Дубок слушал, и постепенно ему становилось скучно. Приближалось банное время, образы распаренных веников, прокурорских животов и девичьих грудок начинали заслонять феерические фантазии забавного толстячка с красным пятном на лбу.

— И вот, представляете, Иона Иванович, огромный плазменный экран, перед которым собирается почти весь город, — продолжал разглагольствовать плут.

— Экран, говоришь? — переспросил его Дубок. — Слушай, хрен. Пошел вон. И скажи на вахте, что я велел не бить.

— Экран может быть вот таким.

Маерс вспорхнул, повел рукой, рисуя в пространстве прямоугольник. Опустился на пол. Из родимого пятна, украшавшего лоб, прянул пучок аметистовых лучей, наполняя прямоугольник трепетным светом. Возникший нежно-голубой экран некоторое время оставался пустым. Внезапно на нем возникло изображение, от которого Дубок онемел.

В бане, голые по пояс, на смятых простынях, разрисованные наколками, сидели он, Дубок, и Рома-Звукозапись. Перед ними стояла початая бутылка виски, лежала на тарелках закуска, и Звукозапись, улыбаясь длинным волчьим ртом, говорил:

— Время твое прошло, Дубок. Братва против тебя. Говорят, ты крысятничать начал. Пора тебе уходить. Вместо тебя на выборах я пойду.

— Это мне ты говоришь, Рома? Больно слушать. Мы с тобой в соседних бараках росли. Твоя мать, тетя Зина, меня за сына считала. На первую сидку вместе пошли. Я тебе настоящий бизнес дал. Из зоны тебя доставал. И ты мне говоришь: "Уходи"?

— Уходи, Дубок. Братва так считает. И лучше бы ты уехал. А то на тебя кое-кто большой зуб имеет. Я тебя прикрыть не смогу.

— Спасибо, Звукозапись, уеду. За место я не держусь. Я взял свое. Теперь ты, Рома, бери. На том свете нет казино.

— Вот и ладно, Дубок. Все по совести.

Иона Иванович обомлело смотрел на экран, созданный из воздуха и аметистовых лучей. На визитера, который, как фокусник, парил, не касаясь пола, и, подобно учителю, стирающему мел с классной доски, водил ладонью, смывая изображение. И взамен исчезнувшему появилось новое.

Иона Иванович сидел белый, без кровинки в лице, с ужасом глядя на незнакомца, который, не касаясь пола, перемещался по воздуху, делая толкающие движения бедрами. Изо лба волшебника исходили лучи. Он стирал изображение, давая место другому.

По ночной улице, озаряясь под фонарями, мчится джип. Ему наперерез из проулка выносится грузовик, и джип, неуклюже вильнув, утыкается в тяжеловесную машину. Из джипа с руганью выскакивает телохранитель, разгневанный Рома-Звукозапись, пьяные девицы, молотят кулаками в кабину самосвала. Из темноты на освещенную часть выходит человек в черном, в глухом чулке с глазными прорезями. Поднимает автомат и долго, без перерыва, расстреливает телохранителя, Рому-Звукозапись, кричащих от ужаса девушек. Многократно вгоняет во всех длинные иглы очередей. Когда кончается магазин, отбрасывает автомат. Подходит к лежащим телам, вынимает пистолет и спокойно стреляет в голову Звукозаписи:

— Нам подранков не надо.

Кидает пистолет на вздрогнувшее тело.

Иона Иванович шлепал беззвучно губами. Смотрел на факира, который то приземлялся, то вновь летал над бильярдным столом, садился верхом на чучело медведя и оттуда взмахом руки освобождал экран от кошмарных видений, давая простор другим.

Наконец экран погас и растаял. Иона Иванович смотрел в пустое пространство, где только что переливались страшные изображения. Сиплым голосом обратился к жуткому визитеру:

— Ты кто, мент?

— Разве я похож на мента?

Стоящий перед ним незнакомец был облачен в восточный полосатый халат, на голове его была чалма, и носки туфель затейливо загибались вверх. Он не был похож на мента.

— Ты хочешь за это денег?

— Разве я похож на того, кто нуждается в деньгах?

Перед ним стоял господин, напоминавший банкира своим безукоризненным темным костюмом, респектабельным галстуком, платиновым браслетом часов, на циферблате которых скромно сверкали бриллианты. Нет, он не был похож на вымогателя денег.

— Тогда чего надо? Как зовут тебя?

— Зовите меня Виктор Арнольдович.

— Виктор Арнольдович, чего вы хотите?

— Вы не должны ничего бояться. Вас никто не осуждает. Звукозапись — мразь, беспредельщик, отребье, который заслужил, чтобы его убили, как собаку. Скажу вам больше, Иона Иванович. Своим поступком вы доказали преданность идеалам справедливости и добра, проявили себя муже-

ственным политиком, способным, ради народа, переступить примитивные ограничения, которые налагает на нас закон. Закон — для слабых, для сильных — игра свободных сил. И я считаю, что ваше место в кресле губернатора. Будем откровенны, губернатор Степан Анатольевич пересидел на грядке, как редиска, которая пошла в цвет. Пора его выдернуть, и я не вижу лучшей кандидатуры, чем вы. Вот почему, Иона Иванович, я предлагаю вам мои услуги. Фестиваль, который мы проведем в городе П., будет негласно проходить под лозунгом: "Дубов — наш губернатор". На фестивале главным гостем будет Президент. И я сумею представить вас Президенту как прогрессивную, молодую фигуру, столь необходимую городу в период модернизации.

— Что я должен сделать, Виктор Арнольдович?

— Пока ничего. Я привез в ваш город несколько абстрактных деревянных фигур и хочу, чтобы эти безобидные скульптуры расположились в вашей резиденции, перед входом в Законодательное собрание, на кровлях соседних домов. Как знак приближающегося фестиваля.

— Конечно, Виктор Арнольдович. Для вас — все что угодно.

Маерс выглянул в дверь и щелкнул пальцами. Вошел кудрявый длинноволосый араб, неся на руках красного истукана, построенного из деревянных брусков. Посадил на диван под портретом безвременно усопшего депутата. Маерс раскланялся и исчез. А Дубок в глубокой задумчивости остался стоять, окруженный со всех сторон золотым образом, чучелом медведя и красным деревянным идолом, излучавшим таинственную мощь.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

Андрей Витальевич Касимов, губернский олигарх, владеющий соляными шахтами, построенными еще мучениками ГУЛАГа, находился в своем генеральном офисе, принимая у себя управляющих, финансистов, знатоков рыночных спекуляций и ценных бумаг. Он был средних лет, худощав, аскетичен, с высоким умным лбом и серьезными, точными глазами беспроигрышного дельца и неутомимого ловца. Ибо весь кабинет его был увешан стеклянными коробками, в которых, подобно застывшей радуге, красовались бабочки, пойманные Касимовым в африканских джунглях, азиатских горах и южноамериканских сельвах. Среди этих драгоценных витражей, в их магических излучениях проходили его встречи с подчиненными, каждый из которых ассоциировался с тем или иным, посаженным на иглу экземпляром. Папилониды, нимфалиды, сатиры, морфиды — все эти семейства бабочек странным образом находили отражение в человеческом облике или манерах.

Отпустив помощников, Касимов позвонил в Лондон жене и узнал, как обстоят дела у сыновей, один из которых учился в Оксфорде, а другой в Кембридже. Позвонил другу в Сидней, чтобы узнать, как идет подготовка экспедиции, которую они совершат осенью вглубь Австралийского континента.

Вошел секретарь и вкрадчиво доложил, что в приемной находится господин Маерс Виктор Арнольдович, который явился по рекомендации Лондонского энтомологического общества.

— В самом деле? — удивился Касимов. — Для меня эта рекомендация выше губернаторской. Проси, но ограничь визит десятью минутами.

В кабинете появился господин, всеми вкрадчивыми манерами, сдержанной благородной улыбкой, любезным полупоклоном давая понять, что принадлежит к изысканному обществу, и это вызвало у Касимова симпатию и интерес к неожиданному гостю. И даже красноватое родимое пятно на лбу придавало гостю странную привлекательность.

Андрей Витальевич пригласил его занять кресло, всем своим видом давая понять, что готов уделить визитеру внимание, но лишь настолько, насколько позволял ему график предельно занятого, дорожащего каждой минутой человека.

— Многоуважаемый Андрей Витальевич, позвольте мне в качестве рекомендательного письма передать вам послание председателя Королевского энтомологического общества сэра Джона Гринфаера.

С этими словами Маерс извлек из кармана плоскую жестяную коробочку от дамских сигарет, раскрыл ее, протянул Касимову. Тот, увидев в коробочке треугольник, сложенный из папиросной бумаги, вынул из ящика пинцет, подцепил треугольник, раскрыл. И у него на ладони вспыхнула лазурью сложившая крылья бабочка.

— Боже мой, какой великолепный Менелай! — восхищенно воскликнул Касимов, рассматривая бабочку. От волнения его руки слегка дрожали, и по шелковой лазури крыльев пробегали серебряные волны света, становились то прозрачно голубыми, то сгущались почти до черноты, и эти сияющие переливы отражались на лице Касимова, делали его восторженным, как у молящегося. — Какой великолепный подарок! Драгоценный вдвойне тем, что этот морфид пойман самим сэром Джоном в дельте Амазонки!

Касимов в увеличительное стекло рассматривал маленькую этикетку с именем счастливого ловца и местом, где была поймана бабочка. В толстой линзе сверкали вспышки голубого серебра, хрупко темнела сложенная щепотка лапок, тончайшие усики с утолщениями на концах. Казалось, бабочка не отражала свет, а сама излучала волшебное свечение, и множество застывших в стеклянных коробках бабочек откликнулось своими алыми, золотыми, изумрудными переливами.

— Вы знакомы с сэром Джоном? — Касимов бережно спрятал подарок в папиросный конвертик, закрыл металлическую коробку, и бабочка, словно маленькая мумия, накрытая пеленой, укрылась в саркофаге.

— Я имею честь обедать с сэром Джоном в одном клубе. Когда я сказал ему, что собираюсь посетить город П., он передал для вас эту крохотную посылку и просил напомнить вам о вашем совместном путешествии в джунглях Суматры.

— О да, это было великолепное путешествие! — мечтательно произнес Касимов, прикрывая глаза. Под его закрытыми веками волновались виденья тропических лесов, багряные зори, океанский пенный прибой, сквозь который пролетали узкие черные пироги. Касимов уже забыл о своем жестком графике. Не хотел отпускать гостя, который перенес его в мир, доступный только избранным, тем, кто одержим этой необычайной охотой, испытывает несравненное наслаждение, помещая в стеклянную коробку очередное крылатое божество, выхваченное сачком из душистого ветра джунглей, сбитое с экзотического цветка альпийских лугов, настигнутое в безумной гонке по горячим холмам.

— Вы тоже энтомолог? — спросил Касимов, рассматривая визитную карточку гостя. — У вас коллекция?

— Я коллекционирую художественные дарования, — ответил Маерс. — Ведь гений — это тоже ангел с крыльями, посланный Богом в джунгли нашего человеческого бытия.

— Значит, вы понимаете природу и страсть коллекционера. Охота за гениями — это тоже охота.

— Когда-то я изучал эстетику орнаментов, магические смыслы народных узоров. И знаете, что меня удивило? В русском орнаменте, в русском фольклоре есть цветы, звери, птицы, есть даже жуки, но нет бабочек. Словно русский человек не замечал их в окружающей природе. А ведь мужик, когда выходил с косой на цветущие луга, был окружен бабочками, их великолепием, их ангельской красотой.

— Вы правы, — подхватил изумленно Касимов. — Какое тонкое наблюдение! Оно не приходило мне в голову. Мои друзья приезжают сюда поохотиться на таежных медведей и с иронией отзываются о моей страсти. А ведь охота на бабочек не менее упоительна, чем охота на медведя. А иногда и не менее опасна. Однажды в Канаде, в погоне за Монархом, я сорвался в каньон и чуть было не разбился. А в Эфиопии, охотясь за переливницами, чуть было не угодил в плен к повстанцам, но, к счастью, подоспел вертолет. Вы, я вижу, очень тонко понимаете красоту этой аристократической охоты.

Касимов осмотрел кабинет, где в стеклянных коробках выстроились разноцветными рядами бабочки, посаженные на тонкие стальные булавки. Словно батальоны в пестрых мундирах с проблеском вороненого оружия.

— Зная ваше изысканное увлечение, я и явился к вам, Андрей Витальевич, надеясь на поддержку.

— Слушаю вас, Виктор Арнольдович. — Касимов мельком заглянул в визитку гостя.

— Видите ли, я устраиваю в городе П. фестиваль современного искусства. Художники со всего мира. Лучшие музыкальные группы. Поэты, певцы, театральные труппы. На несколько дней ваш прекрасный, но несколько захолустный город превратится в культурную столицу. Сюда нахлынут самые известные искусствоведы, арткритики, журналисты, репортеры. Репортажи с фестиваля облетят все иллюстрированные журналы. И мне нужна ваша поддержка. Не финансовая, Боже упаси, все мероприятия уже профинансированы самыми известными меценатами. Мне нужна ваша моральная поддержка как одного из самых уважаемых и влиятельных граждан города.

— О нет, — сухо отказал Касимов, и глаза его, еще недавно перламутровые и мечтательные, стали холодными и стальными. — Я устранился от всякой общественной деятельности. По сути, я уже давно переселился из города П. в Лондон. Там мой дом, семья, добрые друзья. Здесь же бизнес. Здесь, в России, я зарабатываю деньги, а живу в Лондоне. Там же большая часть моей коллекции.

— Я вас понимаю. Множество достойных русских людей предпочитают переселиться из варварской, неустроенной России в благополучный респектабельный Лондон. Но времена меняются, Андрей Витальевич. Эти недавние погромы в Лондоне, драконовские законы, крах британского либерализма, возможные потрясения и взрывы, — все это пришло в Лондон. И, похоже, он перестает быть тихой обителью, но становится ареной расовых войн со всей неизбежной жестокостью и кровопролитием. Не лучше ли вернуться в Россию и здесь создавать себе общественную репутацию, или, как раньше говорили, "сына Отечества"? Предстоящий фестиваль искусств — прекрасный для этого повод.

— Нет, нет, — нетерпеливо отозвался Касимов. — Меня это не волнует.

— Попробуйте взглянуть на это с другой стороны, Андрей Витальевич. Европа переживает закат, европейская цивилизация приходит в упадок. Экономические кризисы бушуют в европейских странах. Моральный упадок охватил все слои общества. Уныние и страх господствуют в умах. Европа идет на дно, как современная Атлантида. И не только в переносном, но и буквальном смысле. Таяние ледников Антарктиды приведет к затоплению половины европейской территории, и лучшие умы, геостратеги, климатологи, антропологи, специалисты по расселению предсказывают массовый исход европейцев. И как вы думаете, куда? Конечно, в Россию. Становится модной теория о том, что праматерью европейских народов был ваш уральский Аркаим, древнейшая родина ариев, которые расселились по всему миру, в том числе и по Европе. И теперь наступает пора возвращаться на свою прародину. Предстоит новый "дранг нах остен", но уже не танков с крестами, не армий группы "Центр", а культурных протуберанцев, вроде того, какой вспыхнет здесь, в городе П. Мой фестиваль — это мирный десант Европы на русский Урал, и вы, одновременно европеец и русский, могли бы стать провозвестником этой экспансии. Хотите, назовем наш праздник — "Русская бабочка"? Ведь Россия — это бабочка с туловищем в виде Урала и крыльями, распростертыми на восток и на запад.

— Увы, мне это не подходит, — с холодной любезностью отверг предложение Касимов, которого начинал утомлять навязчивый визитер.

Маерс все с той же настойчивостью продолжал убеждать.

И его красное пятно на лбу, казалось, слегка воспалилось и обрело выпуклость.

— Я знаю, перед угрозой кризиса многие предприниматели ищут способ вложить свои деньги так, чтобы они не сгорели вместе с банками и фондовыми рынками. Как правило, все бросаются покупать золото, и его цена взлетела до астрономических высот. Но когда кризис кончится, оно резко подешевеет, и предприниматели проиграют. А почему бы вам не вложить ваши деньги в искусство? Я привезу сюда лучших современных художников

России. Их работы уже висят в музеях мира. Соберите коллекцию их работ. Ведь вы искусный коллекционер. Картины со временем не только не упадут в цене, а станут все дороже, будут бесценны. Вы станете обладателем не только уникальной коллекции, но и богачом первого ряда.

Касимова забавляла настойчивость господина, которая шла вразрез с правилами хорошего тона.

— Я предпочитаю вкладывать деньги в строительный бизнес. Строю отели в Дубае.

Касимов посмотрел на часы, давая понять назойливому визитеру, что аудиенция окончена. Но тот не умолкал, и его родимое пятно казалось красным стеклышком, под которым что-то кипело и пузырилось.

— И еще один аргумент, Андрей Витальевич. Вот вы хотите повесить колокол над мемориалом в память жертв ГУЛАГа. Правильный ход. Ведь действительно, отчасти правы те, кто называет вас наследником ГУЛАГа. Не для того мучились и умирали в соляных шахтах узники, чтобы результаты их труда наследовал олигарх и построил свое благополучие на костях русских крестьян, инженеров, поэтов. Если бы мы посвятили свой фестиваль памяти замученных узников, и вы на открытии фестиваля или на концертах и выставках объявили об этом, общественное мнение многое бы вам простило. Разве не так?

— Все это далеко от меня. Я должен извиниться. Меня ждут дела.

Касимов стал подниматься. Увидел, как лопнула тонкая оболочка родимого пятна, и вырвался розовый пылающий луч, который больно лизнул плечо Касимова, полетел по стенам, бесшумно ударяя в коробки с бабочками. Коробки растворялись, и бабочки, пронзенные булавками, вылетали наружу.

Они устремлялись к Касимову, садились ему на лицо, на грудь, живот, покрывали всего разноцветным шуршащим ворохом, и каждая вонзала булавку. Тонкие иглы проникали в глаза, в виски, в мозг, пробивали сердце и печень, пронзали гениталии. Каждая клеточка тела испытывала ужасную боль, словно в нее проникал убивающий яд, и эта боль была той болью, какую испытывала бабочка перед смертью, и каждая возвращала убийце свое страдание. Касимов был готов потерять сознание, но пытка состояла в том, что его удерживали на грани обморока, продолжали впрыскивать жгучие ядовитые струйки, и бессловесный голос внушал: “Соглашайся. Скажи, что согласен”. И как узник в застенке не выдерживает истязаний, так и Касимов, погибая, пролепетал:

— Я согласен.

Боль прекратилась. Бабочки заняли свое место в коробках. Крышки закрылись. И только одна голубянка, пойманная им в горах Кавказа, осталась снаружи, билась о стекло, не в силах влететь в коробку, и в ней поблескивала тончайшая булавка.

— Что вы сказали? Я не расслышал, Андрей Витальевич.

— Я согласен. Готов принять участие в фестивале. Что от меня нужно?

— Да почти ничего. Позвольте поместить своеобразную эмблему праздника, красных человечков, на здании вашего офиса, на супермаркете, в речном порту, где стоит принадлежащий вам теплоход “Оскар Уайльд”.

— Помещайте, — слабо произнес Касимов, не понимая, что с ним случилось, что навеяло этот бред, кем был на самом деле этот господин с лазерным лучом во лбу. Смотрел, как высокий чернокудрый араб вносит в его кабинет красного, из деревянных брусков, истукана.

ГЛАВА ПЯТАЯ

Глава губернской наркомафии Джебраил Муслимович Мамедов был похож на добродушного лягушонка. Пухленькое округлое тельце. Растопыренные аккуратные пальчики. Выпуклые темные глазки. Длинный рот, из которого во время смеха высовывался большой розовый язык. Так и хотелось запустить Джебраила Муслимовича в таз с водой и смотреть, как он станет

плавать от одного эмалированного края к другому, потешно толкаясь перепончатыми ножками.

Но сейчас Джебраил Муслимович пребывал не в тазу, а в маленьком рабочем кабинете, который был оборудован в отдаленном закоулке городской дискотеки с шутливым названием "Хромая утка". Сюда с вечера собиралась городская молодежь, глотала горячительные таблетки и под грохот ударных, среди лазерных вспышек танцевала до утра, иногда отлучаясь из танцевального зала, чтобы сделать безболезненный укол в вену или провести чуткой ноздрей вдоль дорожки белого порошка, после чего мир начинал казаться огромной перламутровой пуговицей, пришитой к голубому бюстгальтеру.

Сейчас дискотека приводила себя в порядок после ночных радений. Уборщицы собирали шприцы, разбросанные бумажные пакетики, приметы скоротечной любви. А Джебраил Муслимович, вооруженный калькулятором, подсчитывал недельную выручку. Кабинет ничем не напоминал восточное происхождение хозяина. Только висела в углу нарядная восточная лампа с бисерными нитями и стояла резная скамеечка, инкрустированная перламутром. Считая деньги, он принимал появлявшихся время от времени посетителей.

Явился к нему цыганский барон Роман, который был главным среди цыган, сбывавших в губернии крутой героин, анашу и всевозможные бодрящие травки, а также лесные грибы, рождающие галлюцинации. Барон выглядел так, словно играл в театре "Ромэн". Черная, до синевы, борода. Смуглое лицо с фиолетовыми, сладостно взирающими глазами. Золото зубов в красногубой улыбке. Шляпа на голове. Шелковая жилетка с толстой золотой цепью карманных часов. Он пришел к Джебраилу Муслимовичу пожаловаться на милицейских следователей, которые отправляют в тюрьму одного цыгана за другим, подлавливая на мелком сбыте безобидной травяной дури, так что вскоре в таборе не останется людей.

Мамедов благосклонно выслушал Романа, обещал поговорить с генералом и, прощаясь, заметил:

— Ты своим людям скажи, пусть перед тем, как в зону идти, золотые коронки снимут. А то там много золотодобытчиков из блатных.

Следом пожаловал чеченец Ахмат, который контролировал таджиков, а те, в свою очередь, поддерживали потоки героина по маршрутам из Афганистана в Среднюю Азию и Россию. Ахмат был милый, скромный брюнет с неопрятной щетинкой, в скромном костюме, и никто бы не сказал, что это отважный воин, воевавший в чеченских горах вместе с арабом Хаттабом и собственноручно отрезавший головы пленным контрактникам. Теперь он жил в добротном трехэтажном дворце в престижном районе города П., очень редко пускал в дело свой пистолет, разве что обнаружив в среде таджиков стукача или гнусного воришку. Он пришел к Мамедову с предложением расширить зону влияния на соседний регион, для чего следовало застрелить конкурирующего дагестанца Расула. Мамедов внимательно выслушал уважаемого партнера и отговорил его от торопливых решений. Объяснил, что сферой их интересов являются районы полярного Урала, где открываются новые рудники и скапливаются большие массы людей, еще не охваченных их бизнесом.

— Ты бы лучше съездил на "севера", Ахмат. Там кое-кто уже приторговывает. Поговори с ними, как горец. Наведи "конституционный порядок".

Пожаловал из Питера поставщик метадона и таблеток под названием "скорость". Лаборатории северной столицы синтезировали наркотик похлеще героина, а таблетки "экстази" доставлялись из Голландии. Поставщик носил кличку Химик, был благовидный господин с аккуратной бородкой, розовыми щеками и добрыми глазами, синевшими сквозь линзы дорогих очков. Он извлекал из кармана клетчатого пиджака батистовый платок и вытирал капельки пота на лбу, розовые, как арбузный сок. Он сообщал Мамедову, что лаборатории начали выпуск синтетических таблеток, вполне заменяющих "экстази", но более дешевых, и он привез на пробу первую партию этого препарата.

— Мы не чураемся новизны. Мы не какие-нибудь упертые консерваторы. Но, как говорим мы, русские: "Доверяй, но проверяй". Приму малую партию и проверю ее сегодня в "Хромой утке", когда начнутся ночные пляски.

Нанес визит полковник полиции, симпатичный, добродушный, с деревенским лицом и уральским говором. Просил увеличить месячные отчисления, потому что замучили расходы на строительство нового дома, который он хотел бы построить на манер французского замка.

— Мишенька, — ответил ему Мамедов. — Постарайся построить дом, чтобы он не выглядел краше губернаторского. А то ведь станет завидовать, и начнутся ненужные гонения. Отчисления увеличу, но и ты не останься в долгу. Из Москвы приехал следователь и начал копать под цыган. Устрой ты ему, Мишенька, ДТП на лесной дороге, и зарой где-нибудь под елкой вместе с машиной.

Не оставил Мамедова без внимания и генерал наркондзора. Дородный, шумный, жизнелюбивый, пахнущий вкусным одеколоном. Приглашал Мамедова на свой день рождения, на котором будут все именитые люди губернии, и приедет специально выписанный из Китая пиротехник, который устроит фейерверк из тысячи ракет и шутих.

— Ну, как же не прийти на ваш праздник, дорогой Федор Тихонович. Если бы не позвали, все равно бы пришел. Вы как-то оговорились, что хотели бы поездить на джипе "чероки". Так что прибуду с подарком.

Не удивился Джебраил Муслимович, когда порог его кабинета переступил местный поэт Семен Добрынин, могучий, как медведь, с косматой, нерасчесанной головой, с бородой отшельника и странно тонким, почти писклявым голосом, которым просительно, по-бабьи, просил оказать содействие в издании книжицы стихов. Мамедов слыл покровителем местных литераторов, сам был любителем русской словесности и не отказывал просителям, поощряя литературные дарования.

— Прочел бы ты мне свой стишок, Семушка. Очень мне нравятся твои стихи про Россию.

Поэт с готовностью принял позу эстрадного чтеца, откинул гривастую голову, воздел молитвенно глаза и начал читать.

Беру котомку и иду в сторонку дальнюю.
Моя Россия, мать многострадальная,
Твой Блудный сын тебя не защитил.
Но горький стих тебе я посвятил.

— Чудесно, Семушка. Ты наш Есенин, — восхищался Мамедов. — Издавай свою книжицу во славу русского языка, великого и могучего. Я хоть и азер черножопый, но нет для меня ничего драгоценней русской поэзии. Пиши дальше и знай, что есть среди твоих поклонников скромный уроженец Кавказа, для которого Россия — святая мать.

Отпустив растроганного поэта, Джебраил Муслимович уже собирался покинуть свою резиденцию и отправиться в загородный ресторанчик, принадлежавший соотечественнику Гейдару, чтобы отведать специально для него приготовленные бараньи семенники. Но на пороге возник господин, невесть как проникший, минуя охрану.

Джебраил Муслимович испугался, но не подал виду. Только тревожно забегали выпуклые глазки, и растопырились пальчики рук, отчего сходство с лягушонком стало еще разительней.

Господин лучился, как масленый светильник. Медовая улыбка источала благодушие. Поклон, который он отвесил, выражал глубокое почтение, словно гость был наслышан о добродетелях Джебраила Муслимовича и явился, чтобы воочию в них убедиться.

— Извините, Джебраил Муслимович, что я прямо так, без предупреждения. У дверей никого не было. Должно быть, охранник пошел в туалет, ибо и охране ничто человеческое не чуждо, — мило пошутил визитер. — Позвольте представиться. Маерс Виктор Арнольдович, Президент международной академии искусств. Ах, вы про это? — он тронул малиновое пятно на лбу. — Это так, пустяки, родовая травма.

И Мамедов поймал себя на том, что и впрямь на долю секунды подумал о происхождении пятна, напоминавшего лепесток шиповника.

— Позвольте присесть. — Не дожидаясь позволения, гость удобно уселся в кресло, положив ногу на ногу.

Мамедов чутко следил за незнакомцем, внушавшим ему подозрение, не тот ли это московский инспектор наркоконтроля, который тайно явился в город П., чтобы обнаружить изъян в работе подведомственной организации.

— Возможно, вам покажется странным мой визит, — заранее извиняясь, произнес Маерс. — Но я приехал в ваш замечательный город не с целью что-либо вынюхивать или разведывать, а с намереньем провести фестиваль искусств, который привлечет к вашей губернии внимание всей России, Европы и даже мира.

Тревога Мамедова росла, ибо он слышал, что некоторых спецагентов обучают приемам угадывать чужие мысли. И как собаки кинологов улавливают запах наркотиков, так агенты умеют считывать мысли наркоторговцев.

— Когда-то, еще в советское время, я увлекался телепатией, гипнозом, внушением мыслей. Но теперь все это прошло, как, впрочем, и само советское время, — вздохнул Маерс.

— Да, очень жаль, — кивнул Мамедов, складывая на животе ручки, шевеля чуткими пальчиками. — Я никогда не хаял советское время. Я по-прежнему считаю себя советским человеком. Я советский офицер и верен присяге.

— В самом деле? А где вы служили?

Джебраил Муслимович был уверен, что гостю известны все подробности его биографии, как в прошлые годы, так и в нынешние дни. И следует пригласить полковника Мишеньку, чтобы тот устроил любопытному господину ДТП на лесной дороге и принес в бутылочке два его лукавых глаза.

— Я служил в погранвойсках, в Нахичевани, в последние деньки СССР. Боже, что это было! Безумные толпы прорвали границу, обрушили заграждения, пустили бульдозер вдоль контрольно-следовой полосы. И в границе образовалась дыра величиной в три километра. Молоденький русский лейтенант, который наблюдал все это с вышки, умер от разрыва сердца. Молодое сердце русского государственника и патриота не выдержало осквернения святой границы. — Джебраил Муслимович горестно закрыл глаза в знак поминовения усопшего друга.

— Да, да, — закивал Маерс. — Я помню, об этом писали в газетах. Тогда же сквозь эту пограничную брешь из Ирана в Азербайджан провезли огромную партию афганских наркотиков.

Мамедов внимательно посмотрел в глаза Маерса, представляя, как они будут выглядеть в бутылочке с водой, — шарообразные белки с кровавыми жилками сосудов и расширенные от ужаса зрачки.

— А потом я служил в Таджикистане, в районе Пянджа. Из Афганистана речку переходили наркокурьеры, и много русских ребят погибло в "героиновых перестрелках".

— Я слышал об этой "героиновой войне", — сочувственно произнес Маерс. — Там были герои — пограничники, но были и те, что вступали в сговор с наркоторговцами и стали миллионерами. У каждого свой путь, свой хлеб.

Мамедов смотрел на Маерса и представлял, как полковник Мишенька перочинным ножом ловко вырезает из глазниц эти лживые глаза, стряхивает с лезвия в бутылочку, и пустые глазницы наполняются кровью, светят, как рубиновые фонари.

— Мои глаза принадлежат не мне. Они — национальное достояние. — Маерс смотрел на Мамедова весело, почти любовно, и тот испугался, понимая, что прозрачен для этого таинственного колдуна, читающего чужие мысли. Был готов протянуть вперед свои маленькие ручки, чтобы гость защелкнул на них браслеты наручников.

— Я пришел к вам, уважаемый Джебраил Муслимович, зная вас, как ценителя искусств, покровителя поэтов и художников, бескорыстного мецената, в наш черствый меркантильный век спасающего осиротевшую русскую культуру. Вы — тот редкий человек, который, не являясь русским по рождению, является подлинным русофилом, берет на себя роль, от которой отказывается этнический русский.

Разговор приобретал несколько иное направление, и Мамедов раздумал протягивать вперед свои руки, надеясь еще некоторое время оставаться на свободе.

— Вот говорят, русский народ спивается, все больше употребляет наркотики. Но не преследовать надо этих пресловутых наркоторговцев, не гоняться за ними, как за дикими зверьми, не сажать их на цепь.

Благодарить их надо, в ножки им поклониться!

Маерс больше не казался Мамедову лжецом и тайным агентом. В словах гостя слышалось сочувствие, тайное приглашение к дружбе, единомыслие с хозяином, надежда на будущий союз и взаимодействие.

— Русский народ устал от своей истории. Он переутомился совершать исторические подвиги, одерживать победы, осваивать пустыни и льды, терять миллионы на кровавых войнах, устремляться в утопии, где ему обещали земной рай. Русские должны отдохнуть, должны забыться, должны отдышаться от своих окопов и котлованов, от своих баррикад и бараков. Наркотики — это спасительный сказочный мир, куда прячется русский народ от ужасной реальности, где он обретает желанное счастье, видит "сон голубой". Не бежит в атаку, не проламывается сквозь гнилые топи, а танцует. Наркотик "скорость" абсолютно созвучен с русской душой, потому что "какой же русский не любит быстрой езды". Наркотик "метадон" позволяет русскому выйти в открытый космос, не надевая скафандра Гагарина. А изготовленная из макового молочка "черняга" возвращает русскому человеку есенинскую мечтательность и удаль.

Мамедов внимательно слушал, чутко улавливая интонации, одни из которых продолжали внушать тревогу, а другие завораживали своей искренностью и глубоким чувством.

— Уважаемый Джебраил Муслимович, я намерен провести в вашем замечательном городе праздник современного искусства. И хотел бы привлечь вас к участию в этом бесподобном празднике. Нет, нет, не в качестве мецената и спонсора, у вас и без меня множество финансовых трат. Все расходы я беру на себя. Но вы, как известный гражданин, украсите праздник одним своим присутствием. Появитесь на публике, скажете несколько приветственных слов.

— Но я не публичный человек. Маленький тихий предприниматель.

— Кстати, вся современная культура, вся музыка, живопись, литература, замешаны на наркотиках. Галлюцинации, транс, поэзия абсурда — все это созвучно наркотическим видениям. Предполагаемый праздник неявно будет пропагандировать наркотики, формулировать философию наркотической свободы.

Мамедов вновь почувствовал приближение опасности. Визитер знал о его наркотическом бизнесе, требовал от него добровольного в этом признания. Строил ловушку, в которую тонко заманивал. И опять явилась мысль о полковнике Мишеньке, который принесет ему бутылочку с этими лукавыми глазами.

— Нет, нет, уважаемый Виктор Арнольдович. — Мамедов рассматривал малиновое пятно на лбу Маерса, которое было прекрасной мишенью для снайпера. — Я так далек от искусства, особенно, как вы говорите, наркотического. Я многие годы посвятил борьбе с этим злом. На таджикской границе только Бог спас меня от пули, которая оставила бы на моем лбу аккуратную дырочку в том месте, где у вас расположено это красное родимое пятнышко.

Это был сигнал визитеру, чтобы тот не приближался на расстояние снайперского выстрела. Была тайная угроза ему, развесившему свои коварные сети. Но, казалось, сигнал не был услышан.

— Все эти рок-группы, инсталляции, магические чудеса и фокусы привлекают толпы молодежи. Благодатная среда для распространения наркотиков. Разве это сравнишь с какими-нибудь двумя небольшими дискотеками, где сбывается из-под полы героин. Если бы в городе П. кто-нибудь занимался наркотиками, наш праздник помог бы вдвое, втрое расширить рынок.

— Наверное, вы правы, Виктор Арнольдович, хотя я мало что в этом смыслю. Увы, в нашем городе нет серьезных людей, готовых использовать преимущества вашего праздника.

— К тому же, — Маерс словно не слышал Мамедова, — сюда приедут музыканты, художники и поэты со всей Европы. Это идеальный случай проторить новые коммуникации для сбыта галлюциногенов. Голландия, Франция, Италия с удовольствием отведают русское зелье, если оно пойдет под увлекательным брендом. "Русский улет", например.

— Как жаль, что я не занимаюсь этим бизнесом. — Мамедов сложил ручки на округлом животике, став еще больше походить на лягушонка из мультфильма. Выпуклые глазки невинно моргали, длинный рот приветливо улыбался.

— Я знаю, что эмблемой праздника выбран красный деревянный человечек. Он может служить идеальным контейнером для перевозки товара. Полый внутри. Покрыт специальным лаком, не пропускающим излучение. Дерево пропитано пахучим веществом, отпугивающим поисковых собак. В этом контейнере товар может беспрепятственно пересекать границы, оказываться в самом центре молодежной толпы, только и ждущей, чтобы ее взбодрили.

— Еще немного, и я брошу мой скромный бизнес и закуплю партию красных человечков, — насмешливо произнес Мамедов. — Не хотите ли чаю?

Когда принесли крепкий чай в маленьких стаканчиках, и Мамедов собирался кинуть в стаканчик таблетку сахарина, Маерс остановил его:

— Отведайте мои сладости. Положите под язык и дайте раствориться. — Он извлек крохотную стеклянную пробирку с зеленоватыми шариками. Вытряхнул на ладонь и один протянул Мамедову. Тот не решался взять.

— Разве я похож на отравителя?

— Почти нет, — ответил Мамедов.

— Не стану же я травить самого себя. — Маерс положил в рот шарик и закрыл от наслаждения глаза. Мамедов недоверчиво, неохотно взял зеленую корпускулу и положил под язык.

Он почувствовал слабый ожог и вслед за этим негромкий шум. Казалось, где-то шумит наполненный ветром лес или дышит невидимое море. Звук усложнялся, усиливался, исходил из стаканчика с чаем, из узорной ножки стола, из висящей восточной лампы. Он с изумлением слышал, как звучит каждая пролетавшая мимо пылинка, каждая частичка наполнявших комнату предметов. Звучало окно, и звучали дома на улице. Пели облака и проезжавшие автомобили…

Мамедов открыл глаза и увидел, что Маерс стал красный, как огненный стручок перца. Потом его лицо позеленело, как изумрудная трава. Потом волосы его стали ярко-синие, и родимое пятно казалось каплей жидкого золота. Из Маерса вытекла тягучая капля и превратилась в его подобие, два стоящие рядом Маерса держались за руки и улыбались. Оба стали вращаться, превращаясь в два размытых веретена, от которых летели разноцветные брызги, и каждое превращалось в Маерса, и их было множество, все они танцевали, и это было изумительно, веселило и возбуждало.

Комната, где он сидел, превратилась в зеленую поляну, окруженную лиловым и фиолетовым лесом. И на этой поляне, взявшись за руки, красные, гибкие, как на картине французского художника, стали вести хоровод цыган Рома, полковник Мишенька, чеченец Ахмат, Химик из Петербурга, дородный генерал наркоконтроля и поэт Семен Добрынин. Все они неслись, счастливые, прекрасные, и внутри хоровода, на поляне лежал огромный вырванный глаз — белый белок, ликующая голубизна, драгоценный зрачок. Было видно, что глаз смеется, его восхищают алые танцоры. Джебраил Муслимович, испытывая счастье и благодарность к кому-то, тоже смеялся.

Он испытал необычайную легкость, словно исчезло притяжение земли, и ему ничего не стоило прыгнуть в окно и перенестись на вершину дерева, а оттуда на крышу, а потом на облако. Оттолкнувшись от снежной белизны, пролетев сквозь лазурь, он стал перепрыгивать с одной планеты на другую, рассматривая их серебристые и перламутровые поверхности, их малиновые

горы и золотые леса, их стеклянные моря, на которых застыла голубая рябь ветра.

Он очнулся в кресле, без сил, без воли, весь во власти сидящего перед ним человека с рубиновым пятнышком на лбу.

— Вам понравилось? Мы будем сотрудничать?

— Что я должен сделать?

— Почти ничего. Позволить моим людям расставить вокруг дискотеки, в соседних районах красных человечков.

— Я согласен.

В комнату вошел чернокудрый смуглый араб, внес деревянного истукана и посадил его под восточной лампой на резную скамеечку, инкрустированную перламутром.

ГЛАВА ШЕСТАЯ

Антон Тимофеевич Садовников в прежние советские времена работал в секретном научном центре, который занимался космическими разработками и помещался в лабораторных корпусах и заводских цехах, составлявших гордость городской науки и техники.

Именно с этим центром связывала молва загадочные явления в небе, где вдруг появлялись сверкающие шары, светящиеся ромбы, млечные грибы и зеркальные медузы, которые плавали над городом, застывали над рекой, ныряли в воду и выносились на поверхность в буре огня и света. Одни утверждали, что это новое космическое оружие. Другие доказывали, что это американские космические разведчики. Третьи, из общества уфологов, уверяли, что это корабли пришельцев.

Когда сменилась власть, в город приехал с инспекцией самый влиятельный из молодых реформаторов и привез с собой группу американских инженеров, специалистов космической отрасли и офицеров разведки, изучавших советскую оборонную мощь. Американцы несколько недель работали в научном центре. И увезли с собой грузовик секретной документации, несколько грузовиков с приборами и опытными образцами, и закрыли исследовательский центр.

Рабочие, еще недавно строившие звездолет, монтирующие космические телескопы и лазерные дальномеры, устроились в мастерские автосервиса и ремонтировали подержанные иномарки. Ученые и инженеры — одни уехали в Америку и продолжали работать теперь уже по американской программе. Другие отправились в Китай “челноками”, но уже не космическими, закупая мешки с китайскими плюшевыми игрушками и махровыми полотенцами, и торговали, стоя на барахолках. Третьи, не научившиеся торговать и не пожелавшие служить недавнему неприятелю, запили горькую, а несколько стариков не вынесли ужасного зрелища, когда из цеха вывозили белоснежный космический корабль, так и не прошедший заводских испытаний, и умерли кто в петле, кто от разрыва сердца.

В прежних лабораториях разместились офисы торговых фирм. В огромном цеху, где раньше на стапелях красовался громадный, похожий на белую бабочку звездолет, теперь, драгоценный, как кристалл, расположился супермаркет и склады, наполненные иностранными телевизорами, диванами и костюмами.

И город П. постепенно забыл, что от него дороги уводили не только за Урал, в соседнюю Сибирь, но и ввысь, к звездам.

Антон Тимофеевич Садовников был из тех, кто, уйдя из научного центра, не уехал в Америку, не стал мелким торговцем, не повесился и не спился. Переселился из служебной квартиры в центре города на тихую окраину, в деревянный одноэтажный дом, где незаметно и скромно, без жены и детей, жил, добывая на хлеб тем, что преподавал рисование в сиротском приюте.

Он был высок, сухощав, с продолговатым лицом и упрямым прямым носом, на котором чуть выделялась волевая горбинка. Такое лицо с сухой загорелой кожей и тонкими складками у кончиков губ и в уголках глаз бывает

у спортсмена, неутомимого в тренировках, чьи тонкие гибкие мышцы играют, готовые к прыжку и стремительному бегу. Его глаза синего цвета смотрели сосредоточенно и пытливо, словно хотели увидеть в обыденных явлениях неявную скрытую суть. Но вдруг светлели до детской прозрачной голубизны, восторженно замирали, будто узрели что-то чудесное и небывалое, но это была всего лишь утренняя росинка на кончике придорожной травы, и он, наклоняя голову, любовался ее волшебными переливами.

Его сознание обладало способностью сосредотачиваться на явлении, осмысливать его до предела, где кончались возможности разума, и явление превращалось в точку, не подлежащую дальнейшему уменьшению. Но из этой точки явление, как взрыв, расширялось до объема Вселенной, и разум, ликуя, купался в мироздании среди светил и галактик.

Он умел управлять своим разумом настолько, что запечатал в нем не подлежащую разглашению тайну. Владея ей, умел не думать о ней. Обладая этим сверкающим, как бриллиант, сокровищем, не позволял драгоценным лучам и спектрам покидать потаенный отсек мозга, чтобы какой-нибудь прорицатель и ясновидец не сумел прочитать его мысли, угадать его тайну, выхватить и унести драгоценный бриллиант.

Именно с этим ощущением птицы, хранящей в себе созревшее яйцо, не позволяя яйцу покинуть темное теплое лоно, шагал Садовников по лесной тропинке, мягко ставя стопы на розовую, с прозрачными тенями дорожку. Лес был полон зеленого света, душистого ветра и шума, который перелетал от вершины к вершине, словно над Садовниковым летело незримое существо, заглядывая на него сквозь волнистые кроны дубов, остроконечные, с фиолетовыми шишками, ели, изумрудное серебро орешника.

Он вышел на поляну, залитую солнцем, в котором мерцали сиреневые цветки лесной герани, стояли сочные, с пышными белыми купами дудники, первозданно пламенели желто-синие иван-да-марьи, в которых черной водой блестела старинная колея.

Садовников остановился на краю поляны, где трепетала тень от высоких берез, а сами березы, ослепительно-белые, раскачивали зеленые полотенца, на которых была вышита птица с лучистыми крыльями, пушистое облако с голубоватыми тенями и мгновенно вспыхивающее маленькое солнце. Он стянул с плеч рубаху, сбросил брюки, ощутил великолепную свободу обнаженного тела. Лег грудью на прохладную землю, из которой выступал коричневый березовый корень.

Примятая трава впрыскивала в него кроткие бестелесные силы. Березовый корень, как сосуд, был полон подземной влаги, и он слышал гулы древесного сока. Теплая земля источала ровное живое дыхание, которое окутывало обнаженное тело. Его телесная жизнь питалась животворящей энергией почвы, где бесчисленные корни тянули влагу, в тесной норке прятался крот, шевелилась бронзовая жужелица, и упавший желудь растворял глянцевитую кожуру, выпуская крохотный клювик.

Сквозь теплый, нагретый солнцем слой он чувствовал глубинное излучение земли, таинственную музыку недр, звучание минералов и руд. Эта музыка проникала в его кровь, отзывалась в каждой клетке, в каждой кровяной частице, и он, погруженный в эти колебания и волны, чувствовал себя частью земли, был создан из ее вещества и плоти.

Его мозг, его сердце ловили жар глубинного пламени, могучие вспышки, летящие из земного ядра. Эта огненная стихия рождала в нем незримое свечение. Он переставал сознавать границы своей личности и начинал чувствовать вращенье земли, ее полет в мироздании.

Садовников поднялся с земли, небрежно оделся и продолжал свое шествие через лес. Нес в глубине сознания запечатанную тайну, вокруг которой создавал множество защитных полей, не позволявших лучистому бриллианту себя обнаружить.

Вышел к лесному озеру с глубокой черной водой, на которой сверкало тусклое солнце и слабо дрожали зеленые отражения. Кинул одежду под куст черемухи. Медленно ступил в прохладную воду, проминая ил. Пузырьки щекотали ноги. В глубине виднелась коряга, похожая на оленьи рога. Он мяг-

ко, без плеска, лег грудью на воду, перевернулся на спину и слабым усилием воли уменьшил свой вес настолько, что тело могло держаться на воде, из которой выступали пальцы ног, блестящая мокрая грудь и лицо с открытыми в небо глазами. Он дождался, когда круглые волны достигнут дальнего берега, померцают и погаснут, освободил от напряжения все свои мышцы, успокоил мысли и стал слушать. Он слушал воду, ее безмолвный рассказ.

Вода рассказала ему, что ночью к озеру вышел лось, окунул горбоносую голову и пил, выдувая булькающие пузыри. А потом поплыл, неся над водой ветвистые рога, смотрел на туманные звезды, и в его выпуклых фиолетовых глазах переливались созвездья.

Он узнал от воды, что минувшей ночью в озере отражалась большая оранжевая луна, и в черном стекле мерцали бесчисленные золотые вспышки, крохотные искры от бегущих водомерок, и внезапно, расплескав отражение, упала в воду длинная гибкая выдра и поплыла, оставляя золотой бурлящий след.

А утром озеро было розовое от зари, и от черных вершин черные, с маленькими головками и длинными шеями, прянули утки, ударили о поверхность тугими крыльями, подняли стеклянные буруны и поплыли, и вокруг них волновалась розовая слюда.

Садовников услышал рассказ воды о первобытной огромной льдине, которая приползла сюда с отрогов гор и остановилась, удерживая в своей сердцевине гранитный валун. Целый век льдина таяла, отекала ручьями, отламывала зеленоватые кристаллы, наполняя влагой глубокую впадину, пока не разомкнулись ледяные крепи, и гранитный валун провалился в озерную глубину. Теперь он лежал на дне, там, где над ним качалось тело Садовникова, и спина чувствовала глубинный камень.

Донный ключ соединял озеро с подземными озерами, с хрустальной, не ведавшей света водой, в которой скопилась таинственная животворная сила, остановилась прилетевшая из Космоса волна, отразившая в воде все мироздание. Ключ своей прохладной струей касался Садовникова, делая его тело серебристым и легким.

Лежа на поверхности лесного озера, на отражении белого облака, под которым кружила семья ястребов, Садовников был соединен со всей мировой водой, с дождями, снегами и реками, морями и океанами. На этой безмятежной зеркальной глади он чувствовал бушующие в океанах штормы, наводнения тропических рек, африканские ливни и арктические льды. Он слышал музыку рыбьих стай, нежное курлыканье играющих дельфинов, слабый хруст бутона, из которого появлялись белые лепестки лотоса. Он был в согласии с миром, был его крохотной частью, которая содержала в себе мир во всей полноте.

Он встал из воды и, не одеваясь, стоял на берегу, подняв лицо к небу, раскрыв объятья, словно удерживал в них голубой сияющий шар. Лучи солнца чудесно грели его грудь. Сквозь закрытые веки он видел малиновое свеченье своей крови, где каждая частица была пропитана космическим светом, и он, приоткрывая глаза, играл с солнцем, превращая его в радужный крест, пучки разноцветных лучей, ворохи шевелящихся спектров. Из Космоса неслась к нему лучистая прекрасная сила, и тайна, которую он скрывал в своем разуме, откликалась, ликовала, просилась наружу, желала слиться с божественной красотой мироздания.

Теперь, когда он совершил священный обряд, сочетавший его с землей, водой и светом, когда жизненные силы его были восполнены могучими стихиями мира, он мог возвращаться домой.

Шел через лес, сквозь любимую зеленую чащу, задевая плечом свисавший лесной орех, улыбался вслед улетавшему стрекочущему рябчику, обходил паутину, сотканную из тончайших радуг.

Мимо его лица пролетела божья коровка. Моментально дрогнувшими зрачками он разглядел ее слюдяной пропеллер, красные, в пятнышках створки, прижатые к брюшку лапки. Проследил ее полет за соседнюю елку и пошел посмотреть, как она ползет вверх по хрупкой травинке.

Обогнул шершавый еловый ствол, отодвинул темно-зеленую лапу и на мшистом бугорке увидел тряпичный кулек, сырую холщовую ткань, под которой что-то скрывалось. Осторожно отвернул край материи, и ему открылась деревянная скульптура, похожая на большую куклу. Кукла была подержанной, старой, закопченной. Казалось, она побывала в огне. Сквозь нагар чуть проступали аскетические черты лица, лопата бороды, лысый череп с высоким лбом, закрытые коричневыми веками глаза. Короткие ноги выступали из-под деревянной ризы, обутые в деревянные башмаки. Одна рука прижимала к груди выточенную из дерева книгу. Другая, отломанная, лежала рядом, сжимая ржавый железный погнутый меч.

Садовников с изумлением разглядывал куклу. Она казалась подкидышем, которого оставила в лесу незадачливая мать, прижившая на стороне нежеланного ребенка. Но это был не ребенок, а деревянный Никола, какие встречаются в окрестных церквях и несут в себе тайное сходство с языческими идолами. Лежащий под елью Никола, казалось, сошел на мшистую кочку с высокого дерева, и Садовников посмотрел вверх, ни осталось ли на дереве примет чудесного сошествия.

На деревянной скульптуре лежал луч солнца. Вся она была в бессчетных отверстиях, оставленных жучками-короедами. На бороде застыл лесной слизняк. И этот древесный Никола был обречен истлеть под дождями, снегами, стать пищей для муравьев и улиток. Его стоический образ говорил, что деревянный старец был готов смириться с уготованной ему долей.

Садовников отлепил слизняка с резной бороды. Бережно собрал выпавшую из руки труху. Руку с мечом положил на грудь старцу. Обмотал его холстиной и понес на руках, как носят спящих младенцев.

Он выбрался из леса к реке, пустой и студеной, в том месте, где на песке ждала его моторная лодка.

Моторка ринулась на простор и шла против ветра, рассыпая отточенным носом веер солнечных брызг. Садовников сидел на руле, а Никола лежал в холщовом саване, как мертвый слепой капитан.

Впереди по левому берегу забелело, замерцало в тумане. Город приближался, как нежное, встающее из-за горы облако. Лодка прошла вдоль набережной, на которой пестрел народ, мимо церквей, блестевших стеклами зданий. Стальной стрельчатый мост парил над рекой, и по нему, как бусины, тянулся состав. Садовников направил моторку в затон, где на тихой воде у причалов застыли лодки, катера, дорогие белые яхты. В стороне, покосившись на бок, покоился теплоход, облупленный и унылый, с надписью на борту “Оскар Уайльд” там, где раньше красовалась другое название, “Красный партизан”. Садовников причалил моторку, передав цепь с кольцом подоспевшему лодочнику Ефремычу, который замкнул кольцо на вмурованной в причал скобе.

— Ты что, Антон Тимофеевич, ляльку родил? — усмехнулся Ефремыч, помогая Садовникову выйти из лодки, глядя на белый кулек, который тот прижимал к груди. — Ого, да лялька у тебя с бородой, — хмыкнул он, заглянув под холстину.

Ефремыч был грузен, но по-медвежьи ловок. Его крупное, в тяжелых морщинах лицо было черно от загара, как у всякого, кто проводит дни на воде и на солнце. На голове красовалась капитанская фуражка с якорем и пластмассовым козырьком, и седые, нестриженые космы казались ярко-белыми в сравнении с коричнево-черным лицом. Когда-то он работал в том же научном центре, что и Садовников, в отделе, создававшем материалы для звездолетов, легкие, как пух, и прочные, как сталь. В ту пору они не были знакомы с Садовниковым и познакомились, когда американцы закрыли центр, когда из ворот ангара тягачи повлекли белоснежный, с серебряными крыльями корабль, и Ефремыч, обмотав себя красным флагом, кинулся под колеса тягача.

— Хочу я тебя спросить, Антон Тимофеевич, — Ефремыч следовал за Садовниковым, который нес у груди завернутого в холст Николу. — Когда-нибудь наши вернутся?

В голосе лодочника слышалась тоска, усталость и молитвенная надежда, которую он удерживал в себе из последних сил. Садовников угадывал в душе Ефремыча ту черту, за которой в человеке начинается необратимое разрушение, меркнут его духовные силы, и он перестает бороться с напастями, превращается в болезненное, готовое умереть существо.

— Все мне снится один и тот же сон, Антон Тимофеевич. Будто выхожу я на рассвете из дома, небо такое утреннее, нежное, а в небе, весь в серебре, несется наш звездолет. И на белом фюзеляже надпись: "СССР". Садится он прямо на площади, перед губернаторской вотчиной, и из него выходят Николай Островский и Валерий Чкалов, Михаил Шолохов и Георгий Жуков, Виктор Талалихин и Юрий Гагарин, Любовь Орлова и Сергей Королев, и среди них, в белом кителе, со звездой, в золотых погонах, — Сталин. И такое во мне счастье: "Родные мои, дождался!" Просыпаюсь, ночь, пусто, и хочется в ночи кричать.

Садовников слышал в словах Ефремыча зов о помощи. Веру в то, что он не одинок в своих ожиданиях и моленьях. Что этот сон снится не ему одному, и если приснится всем людям сразу, то будет не сном, а явью, и серебряный звездолет в стеклянном блеске сверкнет на заре, и он, Ефремыч, побежит, задыхаясь от счастья, встречать прилетевшее диво.

— Когда наш завод разорили, я пил сперва беспробудно, потом хотел с моста прыгнуть, потом "калашников" искал. А теперь вот жду. Неужто не дождусь? Не увижу, как этих гадов, предателей, которые страну погубили, на фонарях развесят? Я бы сам, вот этими руками, Меченого, как Власова, на фонарь вздернул.

Он показывал Садовникову большие коричневые ладони, которые когда-то ласкали стальные крылья огромного космического дельфина, а теперь подхватывали бредущих по трапу пьяных бандитов, торговцев и проституток, которые возвращались с речных прогулок на великолепных яхтах. Садовников видел, как сжались ладони в черные кулаки, и на них заиграли синие от ненависти жилы.

— Скажи, Антон Тимофеевич, дождусь я своего счастья или несчастным умру? Ты ведь все знаешь, только не говоришь. Мне-то скажи одному, когда наши вернутся?

Садовников услышал, как затрепетала тайна, которую он сберегал в запечатанном отсеке разума. Как бриллиант, спрятанный в глухую шкатулку с сафьяновым дном, стремился брызнуть наружу лучами. Садовников поймал рвущиеся на свободу лучи, вернул их в темницу.

— Наши вернутся, Ефремыч. Смотри на зарю, и увидишь серебряный звездолет с надписью: "СССР". Ты говорил о героях, которые прилетят в звездолете. Теперь герои те, кто не пал духом, не изверился, не продался, ждет возвращения звездолета. Большего тебе не скажу. Не все то сон, что снится.

Он оставил Ефремыча в большом раздумье у пирса. Уложил на заднее сидение своей подержанной "Волги" деревянного старца. И помчался с неистовой скоростью, будто вез тяжелобольного. Обгонял роскошные иномарки, делал немыслимые виражи. Ибо под капотом неказистой машины находился сверхмощный, небывалой конструкции двигатель, а сама машина управлялась системой навигации и контроля, предназначенной для космического корабля.

Дом, куда он внес деревянную находку, являл собой комнату скромную, как монастырская келья. Стол, кровать, рабочий верстак. Никаких книг. Несколько приборов, измеряющих излучения земли. Оптический телескоп времен Галилея, однако способный фиксировать малые планеты метеоритного пояса. Генератор, извлекающий энергию из электромагнитных полей Космоса.

Садовников положил Николу на верстак, развернул ткань и смотрел на закопченное изваяние, напоминавшее тронутые тлением мощи. Он нацелил зрачки на лысый череп скульптуры, прозревая ноздреватую, источенную насекомыми сердцевину, готовую рассыпаться в прах.

Отвел глаза, глубоко вздохнул и улетел туда, где бестелесные, бесчисленные, волнуясь и переливаясь, как волшебная музыка, витали идеи, переживания и мысли, когда-либо явленные в людском сознании. Ноосфера звуча-

ла, струилась, выплескивала протуберанцы, казалась золотистым заревом, трепетала разноцветными вспышками. Таила зрелища исчезнувших городов, лики умерших мудрецов и героев, сгоревшие в пожарах картины и рукописи.

Садовников витал в этих восхитительных мирах. Парил на раскрытых крыльях среди исторических эпох, которые казались многоцветными, развешенными в Космосе гобеленами. Среди художественных школ, окружавших его пленительными радугами. Среди научных учений, явленных в виде серебристых облаков. Он счастливо перевертывался, как играющий голубь, пролетая сквозь философские мудрствования Фалеса Милетского, кристаллические фигуры неоплатоников, прозрачные сферы кантианцев. Сложив крылья, устремлялся к мерцающим проблескам чужих откровений и чувств, которым не суждено было воплотиться в творчестве.

Он бегло пролистал исписанный арабской вязью манускрипт Авиценны. Просмотрел карандашный набросок Вернера фон Брауна, — эскиз ракеты "Фау-2" и формулу второй космической скорости. Окунулся в шелестящий, как листопад, ворох стихов Серебряного века с очаровательным профилем Анны Ахматовой и бледным жемчужным лицом Александра Блока. Поцеловал душистый, как полевой василек, стих Сергея Есенина "Микола":

В шапке облачного скола,
В лапоточках, словно тень,
Ходит милостник Микола
Мимо сел и деревень.

Теперь мог приступить к воскрешению деревянного мертвеца.

Никола лежал на спине, похожий на обгорелое полено, и от него пахло остывшей печью. Отломанная рука с мечом лежала рядом, окруженная древесной трухой. Все тело старца было пробуравлено дырочками, которые проточили жучки-короеды.

Садовников распростер над скульптурой ладони. Закрыл глаза и направил теплую, исходящую из сердца волну в ладони, чувствуя, как они накаляются, как пульсирует в них бестелесное поле. Поворачивая и передвигая ладони, он облучал недвижную статую, пронизывал ветхое дерево лучистой энергией. И вдруг из дырочек, из древесных норок стали выбегать разноцветные юркие жучки, выползали рыжие личинки, высовывали верткие головки проснувшиеся куколки. Несколько крылатых муравьев, светясь слюдяными крыльями, вылетело наружу. И все это скопище, поедавшее изнутри деревянное тело, испугавшись лучей, бросилось наутек.

Садовников убрал руки. Отдыхал, ожидая, когда наполнится опустевший сосуд под сердцем. И когда в груди вновь затрепетал незримый источник, он положил одну ладонь на грудь Николе, а другую прижал к выпуклому, закопченному лбу. Горячая сила потекла с ладоней в древесную сердцевину, пропитала усталые волокна. В них ожила и расплавилась смола, скрепила иссохшие ткани. И скульптура стала плотной, весомой, чуть слышно звенела, и от нее вдруг пахнуло сосновым лесом.

Отломанная рука Николы сжимала ржавый, согнутый меч. Такие оторванные снарядом конечности попадаются на поле брани. Из плеча торчали щепки, похожие на переломанные кости. Высыпалась кучка мучнистой трухи. Садовников осторожно извлек меч из стиснутого кулака. Приложил руку к туловищу. Бережно вернул древесную труху в то место, откуда она выпала. Наложил свою ладонь на место перелома. Усилием воли направил в сжатые пальцы блуждавшую по телу энергию, вычерпывая из солнечного сплетения, из позвоночного столба. Невидимая плазма жгла пальцы, склеивала, сращивала разлом. Деревянные кости срастались, труха твердела, заполняя шов. И когда в изнеможении он разжал пальцы и откинулся на стуле, деревянная рука приросла к туловищу, и на месте шва остывала розовая бороздка.

Он устал. Воскрешая Николу, он расходовал лучистую силу, которую почерпнул из есенинского стиха. Волшебное песнопение, которое он извлек из ноосферы, обладало сказочной способностью оживлять, целить раны, глушить

болезни, как чудесный отвар из цветов и листьев, приготовленный деревенской ведуньей. "Иорданские псалмы", которые пел на дорогах вещий странник Никола, теперь, услышанные Садовниковым, творили чудо воскрешения.

Он сделал глубокий вдох, собирая в грудь запах сладкой капли на лесном цветке, отблеск солнца на озерной воде, ночную звездную пыль, бесшумный полет совы, перечеркнувший луну, и стал дуть на лицо Николы. От его дыхания нагар начинал сходить, копоть смывалась, и открылось золотистое лицо с седыми завитками бороды, медовые морщины на выпуклом лбу, маленькие сжатые губы пунцового цвета.

Струйка воздуха была ветром, который разгонял мглу. И становилось видным синее облачение с темными, вышитыми крестами, золотая епитрахиль и священная книга, которую прижимал к груди чудотворец и в которую были занесены "глаголы вечной жизни".

Никола лежал в своем великолепном убранстве с закрытыми веками, похожими на скорлупу грецкого ореха. Садовников наклонился, чувствуя аромат ладана. Тихо поцеловал Николу в глаза, и они открылись. Были деревянные, но казались живыми. Темно-синие и строгие, как у мудреца. И нежно-голубые и наивные, как у младенца.

Садовников поднял с верстака скульптуру и поставил на стол, к окну. Величественный и грозный, как воин, истовый, как неукротимый проповедник, Никола стоял у окна, и вокруг его головы золотился воздух.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ

Садовников собирался заняться мечом. Выпрямить погнутое железо. Удалить ржавчину. Заточить зазубренное лезвие. Вставить меч в деревянную длань. Чтобы чудотворец сочетал в себе монаха, прижимающего к сердцу священную книгу, и воина, воздевшего меч на врага рода человеческого.

Но зазвонил телефон, заморгав своим маленьким млечным экраном. Звонил врач психиатрической больницы Марк Лазаревич Зак, который иногда обращался к Садовникову за помощью.

— Антон Тимофеевич, приезжайте. Очень тяжелый случай. Пациент в ужасном состоянии, и все мои методы бессильны.

— Еду, — ответил Садовников, откладывая в сторону ржавый меч.

Он считал своим долгом откликаться на зов Марка Лазаревича Зака, который имел ученую степень, публиковал статьи в зарубежных журналах, получал предложения в престижные клиники Израиля и Америки, но оставался в городе П., в захолустной больнице, получая крохотную зарплату. Вся его еврейская родня давно переселилась в Израиль, его еврейские коллеги-врачи преуспевали в Тель-Авиве и Хайфе, но Марк Лазаревич оставался среди русских умалишенных, вызывая сострадание у израильских родственников, которые его самого считали сумасшедшим.

Садовников вышел из дома, собираясь сесть в свою старомодную "Волгу", как вдруг увидел на крыше соседнего дома изваяние красного цвета, состоящее из деревянных брусков. Красный истукан сидел на крыше, свесив ноги, и в его рубленых примитивных формах сквозила тупая непреклонность и сосредоточенность робота. Садовников ощутил исходящий от робота луч, который скользнул по его груди, причинив боль, как от вонзившейся в сердце иглы. Луч, как скальпель, прочертил больную линию от сердца к голове, проникая в мозг. Стал шарить, нащупывая потаенный отсек, где скрывалась драгоценная тайна.

Садовников молниеносно заслонил сокровище зеркальной защитой. Луч ударил в зеркало, отразился и улетел обратно к породившему его источнику. Красный робот качнулся, дымясь, упал с крыши, рассыпался на отдельные бруски. Садовников не стал подходить к обломкам. Не понимал, кому понадобилось направлять к его дому разведчика. Удерживал в сознании образ зеркальной мечети в священном городе Кум, в которой залетевший луч света отражается от бесчисленных зеркал, мечется в зеркальной ловушке, пока не превратится в исчезающую слабую вспышку.

Психиатрическая больница располагалась на краю города в обветшалом двухэтажном строении, вокруг которого возвышался бетонный забор, тупой и унылый, каким окружают склады. Само строение было в потеках сырости, с решетками на окнах, которые были замалеваны серой масляной краской. Но вокруг фасада, усилиями врачей и санитаров, а также самих больных были разбиты клумбы, цвели ноготки, садовые ромашки и колокольчики, сладко пахли табаки. На солнце, поглядывая на цветы, расхаживали больные в заношенных халатах, своей ветхостью и убогостью созвучных с фасадом здания.

Садовников прошел в кабинет, где его встретил Марк Лазаревич Зак. Он был моложав, очень худ и бледен. Его светлые волосы кудрявились мелким барашком. Большие, с розовыми веками и желтыми ресницами глаза светились бледной, как мартовская вода, синевой. Тонкий, слегка искривленный нос почти касался верхней губы, а оттопыренные уши просвечивали на солнце. Он был нервный, измученный, с неожиданными неуместными жестами и мгновенной судорогой, пробегавшей по лицу, как внезапная водяная рябь. Он радостно поднялся и сжал руки Садовникова своими тонкими холодными пальцами.

— Спасибо, что пожаловали, Антон Тимофеевич. Только в исключительных случаях, только в самых крайних и исключительных.

— Что-нибудь такое, что не укладывается в вашу теорию "социальных проекций"?

— Думаю, что и за этим казусом скрывается какая-то социальная катастрофа. Но страдание пациента столь велико, что не помогают никакие транквилизаторы.

Садовников был знаком с теорией Зака, согласно которой все психозы, бреды и фобии пациентов были отражением извращений, которым подвержено общество. Диагноз больным соответствовал диагнозу общества и протекающим в нем болезням, указывал на их исход, иногда летальный. Зак стремился отсечь разрушенную психику пациента от социальной тьмы, питавшей болезнь. Читал им вслух русские народные сказки, священные тексты, предлагал слушать Моцарта и давал рассматривать картины Кустодиева и Билибина, помещая сотрясенный разум в мир красоты и гармонии. Но, находясь с пациентами в психологической и духовной близости, Зак был не защищен от тлетворных воздействий. Души больного и врача составляли сообщающийся сосуд, в котором начинал дышать один и тот же недуг.

Садовников пил чай, глядя, как по лицу Зака, словно болезненные зарницы, то и дело пробегают мелкие конвульсии, отблески невидимых, падающих за горизонтом молний.

— Хотел вас спросить, Марк Лазаревич, почему вы не уехали из России, хотя, я знаю, вам делали блестящие предложения? Ведь где-нибудь в Европе, Израиле или Америке вы бы смогли заниматься научной работой. У вас была бы великолепная клиника, лаборатории, медикаменты. И, конечно же, не эта скудная зарплата, — спросил и пожалел, боясь, что вопрос покажется бестактным.

Зак отхлебывал чай. На книжной полке виднелись корешки зачитанных книг. Сочинения Фрейда и Юнга. Новый завет. Мифы древней Греции. Учебники антропологии и социальной психологии. Труды по психиатрии на английском и немецком. И по лицу его пробегала рябь, как по воде, на которую падал ветер.

— Нет, нет, Антон Тихонович, не бойтесь показаться бестактным. Действительно может показаться странным, — я, еврей, не устремился вслед за своими соплеменниками и отказался от благополучной жизни где-нибудь в Иерусалиме или Сан-Франциско.

— Я не хотел вас обидеть, Марк Лазаревич.

— Я не обиделся. Я еврей, но Россия моя страна, и русские — это мой народ, вне которого я себя не мыслю. Русские дали евреям приют, когда их гнали в Европе. Здесь, среди русской культуры, возникла блестящая еврейская интеллигенция — художник Левитан, поэт Пастернак, космист Зельдович, физик Тамм. Все еврейские врачи, музыканты, ученые — это плод русской культуры, и русские люди потеснились в университетских аудиториях,

чтобы еврейские юноши могли получить блестящее образование. Русский народ потерял на войне почти тридцать миллионов своих сыновей и тем самым спас евреев от полного уничтожения, — от газовых камер и печей. И поэтому историческая судьба евреев навсегда слилась с русской судьбой, — у Зака начинала дергаться бровь, потом дрожал кончик заостренного носа, потом начинали кривиться губы. Словно ему в лицо ударяли невидимые частицы, и лицо отражало незримые катастрофы — то ли русско-еврейских отношений, то ли мучения, которые испытывали в эти минуты его пациенты, лежащие в соседних палатах. — Сейчас русские в большой беде. Многие из моих соплеменников злобно на них клевещут, кидают в них камни. Я никогда не предам русский народ. Я останусь с ним в эти трудные времена и сделаю все, что могу, чтобы облегчить его долю. Мои пациенты — это мои братья. Я не могу их покинуть.

Его глаза мучительно заморгали, он схватил себя за щеку, которая, казалось, хотела вырваться и убежать с лица. Садовников мысленно положил ему на щеку кленовый лист, и судорога успокоилась, лицо стало одухотворенным.

— Я испытываю к вам братские чувства, Марк Лазаревич. Я готов посмотреть вашего пациента.

Они покинули кабинет и двинулись длинным коридором, по которому расхаживал санитар огромного роста с сутулыми плечами грузчика и жилистыми руками, способными согнуть кочергу. Тянулся ряд железных дверей с глазками, к которым припадал санитар своей косматой бровью и красным белком.

— Теперь я покажу пациента, ради которого пригласил вас сюда. — Зак сделал знак санитару, который угрюмо, как тюремный надзиратель, стал греметь ключами.

Железная дверь отворилась, и Садовникову показалось, что навстречу ему вырвались невидимые вихри страдания, ударили в грудь, в лицо, как бархатистые летучие мыши. Палата была одиночной, стены до потолка в серой масляной краске, окна замалеваны, с железной решеткой. На кровати сидела женщина с нерасчесанными черными волосами, голыми ногами в матерчатых шлепанцах. Она запахнулась в утлый халат, словно на дворе была стужа. Она куталась, сберегая остатки тепла. Лицо было страшно бледным, с черными, дрожащими от боли бровями. Губы искусаны, рот постоянно кривился, дергался, уродливо выворачивался, словно в ней извивался мучительный червь, некое рвущее внутренности веретено.

Когда Садовников вошел в палату, она дико на него оглянулась, вскрикнула, забилась в угол кровати, словно ожидала побоев. Все тело ее задрожало, тонкие пальцы посинели, сжимая халат, в глазах сверкнул слезный черный ужас, и она издала утробный рык, словно в ее хрупком изможденном теле шевельнулся и вздохнул зверь.

— Ее привезли из Москвы и оставили здесь. Кто она, что она, не известно. По всей видимости, пережила какой-то ужасный шок, разрушивший психику, рождающий бреды и мании. Медикаменты почти не действуют. Она теряет силы. В ее душе образовалась пробоина, из которой истекает жизнь. Либо ей предстоит операция, после которой она утихнет, перестав быть личностью, либо она умрет от истощения.

Женщина продолжала дрожать, натягивала на голову халат, словно хотела защититься от невидимых ударов. Издавала вопли, в которых слышался лай, крик чайки, лошадиный храп, и лицо ее уродливо содрогалось, блестящие зубы кусали губы, и с них капала кровь.

Садовников чувствовал, как велико ее страдание. Оно выплескивалось, создавало вокруг туманное поле, и воздух, который он вдыхал, свет, который ловили его зрачки, казалось, сотрясались от непрерывных конвульсий. Он чувствовал, как в его мозг вонзаются отточенные клинья боли.

— Я пригласил вас, Антон Тимофеевич, как последнюю надежду, перед операцией. Быть может, ваши методы, которые, признаюсь, остаются для меня загадкой, помогут несчастной женщине. — Зак с трудом сдерживал судороги, вновь появившиеся на лице.

Садовников осторожно протянул к женщине ладони, издалека ощупывая пространство вокруг ее головы. Незримый покров, окружавший разум, позволявший рассудку существовать в трехмерном мире, чувствовать время, различать причины и следствия, — этот покров был разрушен. Его кромки были расплавлены неведомым взрывом, раздвинулись, и в открывшийся пролом била тьма непознаваемых миров, неподвластных рассудку измерений, которые вливали в беззащитную женщину безмерный ужас. Казалось, к пробоине приближался громадный ковш, из которого в женщину вливался черно-фиолетовый кошмар, и она начинала биться, кричать зверем и птицей, ее хрупкое тело разрывалось от боли, а в глазах трепетала бездонная тьма.

Садовников медленно приближал руки, видя, как затравленно бегают расширенные глаза женщины. И когда чаша ладоней была готова накрыть разрушенный купол, испытал удар, подобный молнии, которая отшвырнула его прочь. Чувствовал, как колотится в груди обугленное сердце, а в глазах расплывается затмевающая клякса, будто лопнул огромный фиолетовый спрут, выпуская ядовитый мрак.

Садовников дал остыть ожогу и стал осторожно окружать зияющий кратер прикосновениями невидимых волн, которые слетали с его ладоней, касаясь расколотых кромок. Он умягчал эти кромки, сдвигал, стараясь уменьшить разлом, в который хлестал мрак. Он использовал для этого витальную энергию из таинственных резервуаров души, где накапливались лучистые вспышки счастья, слезного сострадания и любви. Где хранилась память о любимых и близких, выученные наизусть стихи дорогих поэтов, портреты и пейзажи обожаемых художников, молитвенные песнопения и картины родной природы. Эти переживания он накапливал в себе, как дерево накапливает солнце, откладывая его в древесных кольцах, чтобы потом, попадая в камин или печь, вернуть его в мир теплом. Так и он сжигал под сердцем драгоценные накопления, посылая волны тепла и света несчастной женщине, которую убивал беспощадный мрак. Он обращал на нее те безымянные силы, которые днем вливались в него из теплой земли, из воды лесного озера, из синих чудных небес. Он нес к ней малиновые лесные герани и цветы колокольчиков, слипшиеся от дождя. Тот серебряный след, что тянулся на черной воде за плывущим лосем. Ту легкую голубоватую вспышку, что оставила на еловой ветке вспорхнувшая сойка.

Он чувствовал, как разрушенные кромки смыкаются, как тьма отступает, и женщина затихает, бессильно склоняется на подушку. Но мрак надвигался вновь, раздвигал защитный купол, и казалось, в мозг женщины вонзался жестокий электрод, жег и глушил, и женщина в ужасе вскакивала, истошно кричала, и лицо ее искажал звериный оскал.

Силы покидали Садовникова. Смерть из других миров вторгалась в любимый мир, в котором сверкали звезды, шумели леса, витала драгоценная ноосфера, где людские творенья и мысли были готовы исчезнуть под воздействием черных неопознанных сил, рвущихся уничтожить эту безвестную женщину, а вместе с ней все любимое мирозданье. Ненавидя смерть, не умея ее победить, истратив весь отпущенный ему боекомплект, Садовников, как пехотинец, кинулся на смертоносную амбразуру и закрыл собой.

Он ощутил страшную боль во всей своей плоти, будто сгорала каждая клетка, сердце пробили штырем, а разум раздулся до невероятных размеров и лопнул, оставив по себе облако пепла. На мгновение он потерял сознание, но успел почувствовать, как у женщины сомкнулись кромки разъятого разума, и тьма отступила. Часть его жизни была израсходована в сражении с тьмой, а женщина была спасена.

Садовников без сил прислонился к стене. Зак ошеломленно смотрел на него. Женщина, упав на подушку, спала. Ее лицо было бледнее наволочки. Еще недавно искаженное звериными гримасами, оно казалось теперь утонченным, красивым и нежным, с голубоватыми тенями у глаз, из которых выкатились и блестели две слезинки. Оно было измученным и усталым, это лунно-белое, голубоватое лицо, но на губах чуть проступил сиреневый цвет лесной герани, а слезинки мерцали тем же живым лесным блеском, что и капли росы на цветке колокольчика.

Она спала, и волосы ее темной волной накрыли подушку. Садовников, зная, как хрупок защитный покров, как недалеко отступила тьма, мысленно повесил у нее над головой чистую голубую звезду из стихотворения Иннокентия Анненского "Среди миров, в мерцании светил…".

— Вы сотворили чудо, — восхищенно произнес Зак. — В чем природа вашей целительной практики?

— Не сейчас, Марк Лазаревич. Я ужасно устал. Приходите в гости, и мы побеседуем.

— Я не знаю, где вы живете.

— Улица Бабушкина, дом четырнадцать. Там входная дверь прямо с улицы, покрашена облупленной синей краской.

— Обязательно приду. Ваш метод заслуживает изучения и описания.

— До встречи, — произнес Садовников, взглянув на женщину, чьи густые черные волосы рассыпались по подушке, и над ними одиноко и чисто сияла голубая звезда.

Он вернулся домой, в свою убогую комнату с деревянным верстаком, железной кроватью, картой звездного неба на стене, с лопаткой турбины от истребителя пятого поколения, похожей на лепесток стального цветка. Никола, строгий, истовый, с деревянной бородой и синими деревянными глазами, стоял на подоконнике, прижимая к груди священную книгу. Другая рука была отведена в сторону, дожидаясь, когда в нее вложат меч. Сам меч, гнутый, покрытый ржавчиной, лежал на верстаке, словно его отыскали на поле брани, где его обронил сраженный воин.

Уже смеркалось. За окном лил дождь. Уличный фонарь желтел в зеленой мокрой листве. Садовников прислушивался к шуму ливня, представляя, как дождь падает в лес, где он гулял утром. Рябит воду темной пустой реки. Хлещет по куполу городского храма. Будоражит красные, зеленые и золотые лужи на площади у супермаркета. Колотит в окно больницы, за которым спит тревожным сном черноволосая женщина с голубой звездой в изголовье.

Он взял железный меч, которым святой Николай без устали размахивал, сражаясь с пороками мира. Видно, пороков было не счесть, потому что железное лезвие зазубрилось, металл, готовый треснуть, прогнулся, и на нем проступила коричневая ржавчина. Садовников попробовал провести по металлу ладонью, надеясь на жаркую силу, которая обычно таилась в его руках, стекая в пальцы из потаенных хранилищ, размещенных в области сердца. Но хранилища были пусты, животворные силы были израсходованы в больнице во время сраженья с тьмой кромешной. Ладонь с неприятным шорохом прошлась по шершавому металлу, и на ней остался грязный след окисленного железа.

Садовников устало сидел, испытывая одиночество и печаль, среди вечернего мира, охваченного дождем, который барабанил по крыше, гремел в водосточной трубе, шипел ртутными брызгами под колесами шального автомобиля. Вспоминал прикосновение любимой руки, которая касалась его лба, прикрывала глаза, и его ресницы шелестели, как две пойманные бабочки. Это воспоминание было острым, больным, и глазам стало горячо и влажно. Но он не дал воли слезам. Смотрел на смуглый сучок в деревянном верстаке, собирая под сердцем капли светлой энергии.

Он вспомнил бабушкин лакированный ларец, почему-то называемый "берлинским", в котором хранились пуговицы, огромное множество — стеклянных, костяных, перламутровых, срезанных и опавших со старинных платьев, шуб и рубах. Он, мальчик, высыпал их на стол и мог бесконечно любоваться, глядя сквозь рубиновые и голубые стекляшки, восхищаясь переливами перламутра, ссыпая их в горсти, слыша тихие костяные стуки. И ему чудились дорогие забытые лица, свадьбы, торжественные походы в театр, семейные торжества за широким обеденным столом.

Еще он вспомнил мамины акварели, когда она возвращалась со своих осенних прогулок и раскладывала на полу влажные листы с золотыми туманными рощами, белыми беседками, темными прудами, в которых отражались желтые размытые купы. От бумажных листов пахло влажным ветром, красками и тонкими маминими духами.

Еще вспомнил букетик желтого топинамбура, который стоял на подзеркальнике жены, и она не убирала его, пока лепестки совсем не потемнеют и не пожухнут. И потом, перебирая ее книги, он то и дело находил засушенные цветы, прозрачные, без цвета лепестки с темной сердцевиной. Тайное пристрастие к этому золотому цветку ранней осени.

Эти воспоминания трогали и волновали его, и он чувствовал, что под сердцем у него становится теплей, словно там зажгли мягкую восковую свечу.

Ржавый меч лежал перед ним, но он не решался вновь к нему прикоснуться, дожидаясь, когда капли тепла перетекут из-под сердца в пальцы.

Беззвучно пропел строевую казачью песню: "Из-за леса, леса копий и мечей едет сотня казаков-усачей". Продекламировал стих Баратынского: "Прилежный мирный плуг, взрывающий бразду, почетнее меча". Чуть слышно, шепотом произнес строку из поэмы Блока: "Кто меч скует? Не знавший страха".

Его взор был спокоен и ясен. Сердце билось, окруженное золотистым сиянием. От ладоней исходил едва ощутимый жар. Он взял меч и провел вдоль него рукой, не касаясь металла. Сталь выпрямилась. По лезвию пробежал голубоватый луч. Меч заиграл в переливах света. Садовников вложил его в руку Николы, и ему показалось, что деревянный кулак сжал рукоять меча. Чудотворец и воин, вооруженный мечом и священной книгой, стоял на страже божественных заповедей, отражая смерть.

Сквозь рокот дождя он услышал стук в дверь, удивившись тому, что стучащий не обнаружил звонка. Вышел в прихожую, отворил входную дверь. В желтоватом свете фонаря, среди сверкающих струй увидел женщину в больничном халате, промокшую насквозь. Босые ноги стояли в холодной луже. Волосы слиплись. Она куталась в мокрый халат и дрожала.

— Вы? — изумился Садовников, узнав пациентку, которую днем лечил от безумия.

— Пустите меня.

Он ввел ее в дом, видя, как на полу от ее босых ног остаются мокрые следы, и тянется дорожка капель.

— Не прогоняйте меня, — произнесла она посиневшими от холода губами. — Там я умру.

— Как вы меня нашли?

— Вы сказали доктору адрес. Бабушкина, четырнадцать.

— Как вы смогли покинуть больницу?

— Не прогоняйте меня. Там я умру.

Садовников кинулся к старому шкафу, извлек поношенную шерстяную блузу, спортивные штаны, теплые носки. Протянул ей мохнатое полотенце.

— Переоденьтесь. Поставлю чай.

И пока кипятил чайник, заваривал душистую смесь цветов и трав, собранных на цветущем лугу, ставил на стол чашку, деревянную баклажку с медом, она переодевалась у него за спиной. И он не мог избавиться от раздражения, вызванного этим внезапным вторжением.

Одежда, в которую она облачилась, была ей велика. Из рукавов едва выглядывали кончики пальцев. На голове красовался тюрбан из мохнатого полотенца. Она жадно глотала горячий настой, слизывала с ложки мед и продолжала дрожать, не умея согреться.

— Как вас зовут?

— Вера.

— Вера, что скажет доктор Зак, когда увидит, что вас нет?

— Не прогоняйте меня. Я умирала, и вы меня спасли. Без вас я умру.

Ее бил озноб, то ли от холода, то ли от страха, что ее прогонят, и недавний кошмар вернется.

— Оставайтесь. Я только сообщу Заку, что вы у меня.

Он вышел в маленькую соседнюю комнату, позвонил Заку.

— Я не понимаю, как она ускользнула из палаты, — сказал Зак. — Я догадался, что она убежала к вам. Теперь с вашим образом у нее связана надежда на избавление от ужасных страданий. Поступайте, как считаете нужным. Я могу прислать машину с санитарами.

— Пусть остается, — ответил Садовников.

Женщина согрелась, перестала дрожать, но выглядела очень бледной и смертельно усталой.

— Ложитесь спать. Вот здесь. — Он указал ей на свою кровать, куда принес теплое стеганое одеяло.

Она легла под одеяло, закрыла глаза и сразу уснула. Садовников осмотрел свою комнату, где несколько лет жил совершенно один, и куда сегодня поселились два новых существа. Деревянный Никола с книгой и блестящим мечом. И молодая женщина с красивым лицом, измученным от неописуемого горя.

Садовников взял спальный мешок и лег в соседней комнате на полу. Мысленно накрыл спящую женщину синей волнистой тенью темного дуба, чтобы тот, сберегая ее сон, "вечно зеленея, качался и шумел".

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

Он проснулся от солнечного луча, упавшего на глаза, и от легких шелестящих шагов за дверью, от которых чуть вздрагивали половицы. И этот шелест босых ног, и луч, в котором переливались пылинки, и слабое дрожание половиц слились в первое после пробуждения чувство: он не один, в его доме поселилось незнакомое, слабое, измученное существо, и он не знает, что с этим делать.

Садовников принял душ, испытывая благодарность к воде, которая одела его стеклянным холодным покровом, передавая свои животворные силы. Вошел в комнату и увидел Веру. Она несла к столу синюю чашку, облаченная в его домашнюю блузу, обширные штаны, которые подвернула до колен. Волосы ее были стянуты на затылке тесемкой, которая до этого без дела лежала на верстаке. Она увидала его и замерла на ходу, не завершив шаг, и он видел, как напряглись босые пальцы ее ноги, как задрожали руки, сжимавшие чашку, как тревожно и виновато замерцали ее испуганные глаза, словно она боялась его недовольного окрика. Упрека за то, что без спроса взяла тесемку, без спроса хозяйничает и своими шагами, звяком посуды разбудила его. И от этих испуганных глаз, от страха, который он ей внушал, Садовникову стало больно. Нарочито бодро и весело он произнес:

— Доброе утро, Вера. Самое время завтракать. — Он увидел, как облегченно распрямились ее плечи, стопа гибко прижалась к полу, и она поднесла к столу синюю чашку.

— Я без спроса хозяйничаю. Сделала вам яичницу. Больше ничего не нашла.

— Это мой обычный завтрак, — сказал он, усаживаясь за стол. И хотя его утренний завтрак состоял из куска хлеба, на который он намазывал яблочный джем, и чашки цветочного отвара, который придавал ему свежесть и силу, Садовников, нахваливая, ел глазунью. Видел, как тревожно и умоляюще следят за ним ее черные, с фиолетовой искрой глаза.

Она убирала со стола, мыла посуду, пересекала комнату. Исподволь наблюдая за ней, он заметил плавность и округлость ее движений, будто ее плечи и голова, бедра и ноги вписывались в невидимые окружности, чертили легкие исчезающие круги. Все пространство вокруг нее состояло из гармоничных сфер, и он прислушался, не издают ли эти сферы музыкальных звуков.

— Сейчас я иду на работу. А вы оставайтесь дома. Можете почитать, — он неуверенно кивнул на полку, где приютилось несколько книг. Апокрифические евангелия. Повесть Толстого "Казаки". Сонеты Петрарки и учебник по астрофизике. — Я вернусь не поздно.

— Я пойду с вами, — торопливо сказала она. — Не оставляйте меня.

— Но мне нужно работать.

— Я вам не буду мешать.

Она умоляла, ее темные брови на бледном лице болезненно выгнулись, и он чувствовал ее страх, ее беспомощность. Кошмар, который убивал и мучил ее, был рядом. Защитный покров из листвы волнистого дуба, из лунного

озерного блеска, из радужной, развешенной по ветвям паутинки, был слишком тонок и хрупок. И она, боясь повторенья кошмара, видела в Садовникове единственного спасителя.

— Я не буду мешать, поверьте.

И он смирился, не зная, как станет жить теперь, имея рядом с собой этот постоянный источник боли и страха.

Он преподавал в сиротском приюте рисование, находя всех без исключения учеников одаренными, и видел свою задачу в том, чтобы не мешать их природному дару, а лишь бережно раскрывать его, как тепло и свет помогают раскрыться цветку. Он посмотрел на Веру, которая в его ветхих обносках вызывала сострадание и чувство вины, и сказал:

— Что ж, поедем вместе, — и увидел, как вся она затрепетала благодарностью.

Усадил Веру на заднее сиденье своей старомодной "Волги". Она сжалась в комочек, выглядывая из просторной блузы, как хрупкая чуткая птица. Они ехали с одной окраины на другую, и он свернул к супермаркету, чтобы купить ей платье.

Супермаркет принадлежал олигарху Касимову, который купил обширные строения секретного научного центра, где когда-то работал Садовников. Вывез на свалку испорченное оборудование. Продал японскому миллиардеру недостроенный космоплан. Изменил планировку здания. И там, где когда-то строили гравитационный двигатель, создавали генератор, добывающий энергию прямо из Космоса, синтезировали волокна, выдерживающие тяжесть железнодорожного состава, где по обрывкам текста восстанавливали "Голубиную книгу", возрождали умершие языки, разгадывали пророчества Апокалипсиса, — там теперь переливались, как перламутровые пузыри, пластмассовые и стеклянные фасады. Брызгали разноцветными вспышками рекламы. На бесчисленных полках красовались заморские товары, утолявшие прихоти изнеженного, ненасытного тела.

Он поставил машину на парковку.

— Подождите в машине, пока я вернусь.

— Нет, я с вами.

— Останьтесь, — сказал он строго, и она от его недовольного голоса сжалась, улеглась на заднее сиденье, скрылась в просторной блузе, и ее не стало видно. — Я вас закрою, и никто вас не тронет. Я скоро вернусь, — произнес он мягко, жалея, что невольно ее огорчил.

Приближаясь к супермаркету с нарядной вывеской "Ласковый мир", он увидел двух красных истуканов, сколоченных из деревянных брусков. Один сидел на крыше, у самой рекламы, свесив ноги. Другой стоял в рост, как часовой. Оба тупые, ярко-красные, с убогими цилиндриками вместо голов. Садовников почувствовал, как сберегаемая тайна вспыхнула, затрепетала, стала рваться наружу, переливаясь множеством драгоценных лучей. Ему потребовалось усилие, чтобы лучи не брызнули наружу, не обнаружили себя блистающей красотой.

Он смешался с нетерпеливой толпой, которая торопилась в магазин тратить деньги, приобретать, множить комфорт, ублажать свою алчную плоть, ничем не напоминая тех сосредоточенных ученых, инженеров и испытателей, которые, казалось, недавно вливались в старое здание центра, где под куполом, прекрасный, как огромная бабочка, переливался и сиял звездолет.

Садовников страдал от обилия ненужных предметов, каждый из которых не увеличивал совокупную мощь человеческого духа и знания, а лишь дробил на части скромное изобретение игривого ума, создавая из него бесчисленные подобия. Заключенный в его сознании бриллиант увлекал его сквозь ворохи презренных изделий туда, где когда-то находилась его лаборатория, изучавшая таинственные способности мозга. Но Садовников удерживал свой порыв. Среди торговых рядов отыскал тот, где были развешены платья. Выбрал наугад то, в котором переливались шелковые цвета солнечного луга. Тут же купил батистовую косынку, подбросив на руке, глядя, как стекает с ладони струя лазури. Мысленно примерил к ее гибкой стопе замшевые туфли, и они оказались ей впору.

Вернулся на стоянку, видя, как она издали, жадно следит за его приближением.

— Вот вам обнова. Пока мы едем, переоденьтесь.

Вел машину, видя, как в зеркале плещется шелк, сверкает белизна тела, стеклянно темнеют волосы, накрытые волной лазури.

Сиротский приют помещался в длинном дощатом доме с просевшей крышей и линялыми наличниками на окнах. Дом и сам казался сиротой, которому перепадали крохи внимания. Был неухожен, неуютен, сер и неказист. Зато вокруг росли великолепные старые липы, и стараниями безвестного благодетеля была построена детская площадка с теремками, веселыми лесенками и качелями.

Садовников остановил машину, вышел и с изумлением смотрел, как с заднего сидения поднимается грациозная женщина в восхитительном платье и косынке, из-под которой пролилась на плечи волна волос. Она ступила на землю, упруго упираясь замшевой туфлей, ее разноцветное платье на мгновенье наполнилось ветром и описало плавный полукруг. И глаза ее на миг посветлели, заметив его изумление.

В коридорах было чисто, на подоконниках стояли горшки с цветами, чуть пахло карболкой. Раздавались детские голоса, похожие на гомон скворцов. Иногда в коридор выбегали шальные воспитанники, гнались один за другим и скрывались в комнатах. Садовникова встретила директриса приюта Анна Лаврентьевна, полная немолодая женщина с высокой выбеленной прической, напоминавшей кулич. В ее внимательных добрых глазах была усталость человека, окруженного непрерывными заботами, среди которых исчезала забота о себе самой. Ее жизнь проходила в постоянном поиске средств для приюта, обивании порогов, выспрашивании и вымаливании. Но это не лишало ее достоинства, а, напротив, придавало величественность и значимость. Она напоминала курицу, окруженную цыплятами, которые заставляли ее пребывать в вечной тревоге и одновременно наделяли величавым успокоением.

Едва увидев Садовникова, она стала сетовать:

— Почему, спрошу я вас, Антон Тимофеевич, чем богаче человек, тем скупее? Вы думаете, наш олигарх Касимов хоть на одно мое письмо ответил? Отломил хоть малую крошку от своего золотого слитка, чтобы нам в приюте крышу покрыть, сквозь которую на детишек осенью будет капать? А наш губернатор Петуховский, сколько я к нему на прием напрашивалась, так и не принял, и детскую площадку нам соорудили "афганцы", не самый богатый народ. А наш партийный лидер Дубков, он, знаете, что мне сказал? "Кто плодит нищету, тот пусть ее и выкармливает". Люди без сердца, без совести.

Лицо Анны Лаврентьевны покрылось румянцем возмущения, и она ждала, что Садовников разделит ее негодование.

— Мы с вами, Анна Лаврентьевна, жили в эру "героя", когда в человеке ценился подвиг и жертва. Поэтому "афганцы" пришли к вам на помощь. А теперь мы живем в эру "купца", когда ценятся только деньги. Поэтому олигарх лучше остров купит в Карибском море, чем сиротам бросит копейку.

— Я иногда думаю, Антон Тимофеевич, что в народе поселился зверь. Не помню, чтобы было столько злобы и ненависти. Я прихожу в приют и каждый раз обношу вокруг нашего участка икону. Не в открытую, а тайно, которую ношу на груди. Каждый день иду вокруг приюта с крестным ходом. Отвращаю зло. Чтобы не забрел сюда какой-нибудь насильник и растлитель. Какой-нибудь грабитель и разбойник. Не подбросил наркотики или гадкие картинки. Мы этих детей с улицы взяли, где они должны были погибнуть. Мы их отняли у зла, и зло их обратно требует.

— Дети прекрасные, Анна Лаврентьевна. Чистые души.

— Я думаю, а вдруг среди них будущий великий поэт растет, такой, как Пушкин. Или художник, как Верещагин. Или мировой ученый, как Менделеев. Вдруг среди них будущий святой, Серафим Саровский или патриарх Тихон. Или спаситель Русской земли, будущий Минин или Пожарский. Спасибо вам, Антон Тимофеевич, что вы за копейки ходите к детям и душу им отдаете.

Она разволновалась, и ее немолодое, в складках и отеках лицо просияло былой красотой, и на глазах, подведенных тушью, заблестели две слезинки.

— Это моя помощница. — Садовников представил Веру Анне Лаврентьевне.

— Люди должны помогать друг другу, — сказала директриса и пошла, грузно переваливаясь на больных ногах.

Садовников вошел в класс, где собирались дети на урок рисования. И хотя было лето, и школьные занятия кончились, уроки рисования продолжались. В классе царила беготня, гвалт, шалости, которые длились еще минуту после того, как он вошел, и медленно утихали, как утихает листва после порыва ветра.

— Здравствуйте, великие художники и живописцы! — Садовников весело осмотрел детские милые лица, лучистые глаза, стриженые головы мальчиков, банты, косички и челки девочек, испытав сложное чувство любви, боли и нежности, в которых крылось его несостоявшееся отцовство. И женское дорогое лицо проплыло бесшумно, как мимолетная тень.

— Вера, садитесь здесь, — он посадил свою спутницу у стены, где были развешены репродукции русских художников. "Богатыри" Васнецова. "Незнакомка" Крамского. "Купанье красного коня" Петрова-Водкина. "Василий Блаженный" Лентулова. Сам же достал из шкафа альбомы, цветные карандаши и фломастеры и раздал детям.

— Всем карандашей не хватит. Поэтому прошу по-братски делиться с соседом, — обратился он к своей пастве, которая с любопытством поглядывала на незнакомое, явившееся среди них лицо.

— Антон Тимофеевич, вы скажите Вите, — девочка с белыми бантами строго кивнула на своего соседа, бритоголового, в рыжих веснушках, мальчика. — Он мне не дает красный карандаш, а только черный. А мне для цветов нужен красный.

— А ты только умеешь эти красные пучки рисовать, — возразил ей сосед, уже прибрав к рукам коробку карандашей. — Я тебе говорил прошлый раз, — нарисуй много-много черных машин.

— Не хочу черные машины, а хочу красные цветы, — со слезным дрожанием в голосе ответила девочка.

— Все мы семья, и будем делиться, как делятся в дружной семье, — сказал Садовников. — Сейчас нам понадобятся все цвета, и черный, и красный, и золотой, и даже такой, которого у нас с вами нет. Потому что мы будем рисовать с вами Космос.

— А я не умею Космос рисовать, — произнесла виновато маленькая девочка в платье на вырост, из которого поднимался хрупкий стебелек шеи.

— А чего там уметь! — оттопырил нижнюю губу ее курносый сосед со свежей царапиной на лбу. — Рисуй ракету, и будет Космос.

— Представьте себе огромное бархатное черное небо, на котором вспыхивают бриллиантовые звезды. — Садовников произнес эти слова, как сказочник, который собирает вокруг себя затаивших дыхание слушателей. — Эти звезды нам кажутся маленькими, как разноцветные росинки. А на самом деле они огромней и ярче нашего Солнца. Среди этих звезд есть одна волшебная голубая звезда, и около этой звезды существует планета, похожая на нашу землю. И на этой волшебной планете живут люди, похожие на обитателей Земли. Но только они лучше, добрее, умнее, щедрее. Они не обижают друг друга, не делают друг другу больно, не оставляют друг друга в беде. Сейчас вы возьмете карандаши и нарисуете эти космические корабли, летящие от синей звезды на землю и несущие вам свои дары. Подумайте хорошенько, что бы вы хотели получить. Они увидят ваши рисунки и выполнят ваши желания.

Детские глаза мечтательно засияли. Садовников видел, что Вера изумленно, наивно, с детской доверчивостью, смотрит на него. Словно просит угадать ее сокровенную мечту, притаившуюся среди болей и страхов. Сказка, которую он рассказал, была для нее. Над ней светилась голубая звезда, которую он зажег в больничной палате.

— А у нас кошка пропала. Серая, Мурочка. Могут ее привезти? — спросила полненькая девочка, сама чем-то похожая на кошечку.

— А я видела лошадку в магазине, с шелковым хвостом, розовую, и говорит по-человечески. Могут ее привезти? — спросила болезненная девочка с большими печальными глазами, под которыми лежали голубоватые тени.

— А маму могут привезти? — спросил мальчик с родимым пятном на щеке.

— Рисуйте. Люди с голубой звезды увидят рисунки и узнают о ваших желаниях, — сказал Садовников, не умея скрыть своей печали и нежности. Он обходил столы. Одному подвинул лежащий косо альбом. Другой поправил неверно сжатый фломастер. Мальчик Сережа с бледным лицом, на котором задумчиво мерцали большие серые глаза, не решался взять карандаш. На его голове топорщился хохолок. Проходя мимо, Садовников наклонился и осторожно подул ему на темя, отчего хохолок встрепенулся.

Дети рисовали. Садовников подошел к Вере.

— Теперь я им не нужен. Все, что они нарисуют, будет прекрасно. Мы вернемся к ним через час.

Они вышли в коридор, где было пусто, и в солнечном блеклом солнце раздавалась музыка аккордеона. Заглянули в класс, где шло обучение танцам. На стуле сидел музыкант с лысой головой и острой седой бородкой и лихо, наклоняя голову к перламутровым кнопкам и клавишам, раздвигал меха, как делал это лет тридцать назад, встряхивая кудрями в каком-нибудь сельском клубе, влюбляя в себя деревенских красавиц.

Несколько девочек неловко копировали преподавательницу, грузную девушку, которая танцевала, взмахивая руками и притоптывая ногами, как это делают на дискотеках, где в тесноте только и можно, что прыгать на месте, поигрывая бедрами и крутя головой. Полная девочка старательно ей подражала, но у нее не получалось, и преподавательница ей выговаривала:

— Два притопа, три прихлопа! Скок, скок! Веселей! Головой бодай, а ногой брыкай!

Музыкант недовольно хмурился. Преподавательница сердилась. А девочка чуть не плакала. Садовников видел, как волнуется Вера, как сжимаются ее хрупкие пальцы, и она поднимается на цыпочки, словно птица, готовая вспорхнуть. Внезапно сбросила свои замшевые туфли. Шагнула из коридора в класс. Толкнулась босыми ногами и полетела, едва касаясь пола, совершая восхитительные круговые движения руками. Поднялась на гибкий носок, ведя вокруг приподнятой, прямой, как стрела, ногой. Снова взлетела, и казалось, утратила вес, секунду парила в воздухе, а потом приземлилась, сгибая колени, грациозно поводя рукой, и ее черные волосы, упав из-под косынки, прошли круговой волной и легли на плечи.

— Как замечательно! — директриса Анна Лаврентьевна стояла в дверях и хлопала. — Какая замечательная у вас помощница, Антон Тимофеевич. Может, она придет к нам учить детей бальным танцам? И тебе, Клава, работа найдется, — обратилась она к девушке-преподавательнице, видя, как та ревнует.

Вера и Садовников покинули класс, и он спросил:

— Вы прекрасно танцуете. Откуда у вас это уменье?

— Я танцовщица, — ответила Вера, опустив розовое от смущенья лицо, поправляя на ходу свои замшевые туфли.

Они вернулись к художникам, которые завершали свои рисунки, которые восхищали Садовникова. Детское восприятие, прозрачное и чистое, как стекло, пропускало сквозь себя цвета радуги, прекрасные и наивные образы, сказочные видения мира. Синяя звезда, о которой поведал Садовников, на одном рисунке напоминала лучистую голубую астру. На другом — драгоценный, с переливами, кристалл. На третьем — чудесную синюю бабочку. На четвертом — комету с двумя пушистыми золотыми хвостами. Космические корабли были подобны летающим ладьям, огромным крылатым орлам, самолетам с птичьими крыльями. И несли они с голубой звезды в земной сиротский приют дары благородных и щедрых людей, которые умели угадывать сокровенные мечты и мысли других людей и одаривали их своими волшебными подарками.

На звездолете во всей красе стояла новогодняя елка, увешанная шара-

ми, конфетами, разноцветными лампадами, среди которых улыбалась Снегурочка в серебряном одеянии. На другом корабле летела кукла с широкими голубыми глазами, в бальном платье, в ожерельях и бантах, та, что выставлена на витрине супермаркета, мерцающая в свете рекламы. На третьем звездолете, в красном платье, распустив волосы, великолепная, на высоких каблуках, стояла женщина, которая летела к своей дочке, неся в руках букет маков. Были космические корабли с пассажирами в виде кошек, лошадок. На одном размещался стол с вазами и блюдами, на которых сияли арбузы, дыни, виноградные гроздья и еще какие-то неведомые плоды, созревающие на других планетах. Один рисунок поразил Садовникова больше остальных. Его нарисовал мальчик Сережа с хохолком, на который нежно дунул Садовников.

В небесах, озаренный лучами синей звезды, летел остров. На острове сиял храм с золотыми куполами, волшебными узорами и колоколами. Росли сказочные деревья, на которых сидели чудесные птицы. Под деревьями стояли люди, которые смотрели на птиц, говоря с ними на одном языке. Другие люди били в колокола. Третьи опустились на колени. И у всех вокруг голов золотилось сияние.

— Это что, Сережа? — спросил Садовников.

— Это рай.

— Откуда ты узнал о рае?

— Это вы рассказали. Люди, о которых вы рассказали, могут жить только в раю.

Садовников был взволнован. Не касаясь листа бумаги, провел над ним ладонью. И все краски налились пылающими цветами. Золото куполов и нимбов стало лучисто сверкать. Зелень деревьев стала изумрудной и сочной. Птицы засияли, как радуги. А голубая звезда обрела ту волшебную синеву, какая бывает в вершинах мартовских берез.

Перед тем как выйти из класса, Садовников оглянулся. Вокруг детской головки с хохолком, едва заметное, струилось сияние.

Они вернулись домой, когда еще было светло, и вечернее летнее солнце сквозь пыльные стекла освещало утлую комнату, верстак, воздевшего меч Николу. Садовников испытывал неловкость, оказавшись с Верой вдвоем. Не знал, чем ее занять. Не решался в ее присутствии предаться своему излюбленному занятию — путешествию в ноосферу, где перелетал из одной эры в другую, читая глиняные таблички Хаммурапи, арамейские тексты времен царя Ирода, надписи на античных алтарях в Микенах, берестяные грамоты, найденные в новгородских посадах.

— Вы не обидитесь, если я обращусь к вам с просьбой? — спросила она.

— О чем вы просите?

— Позвольте мне вымыть окна? Сразу станет светлее.

— Конечно, — согласился он. И вдруг испытал растерянность и смятение. Как волнистое отражение на бегущей воде, промелькнуло родное лицо жены. И он не знал, нарушает ли он тайную заповедь, которую дал после ее кончины. Не является ли появление в доме этой молодой женщины отрешением от обета, которому был верен долгие годы. Угодно ли жене это появление, и не страдает ли ее душа, видя, как рядом с ним колышется шелковое разноцветное платье, плещется черная волна волос.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

Утром Садовников снаряжался для встречи с шаманом Василием Васильевым, который пригласил его спасать священный дуб. Дерево было внесено в книгу мировых достопримечательностей, ему перевалило за пятьсот лет, и оно засохло. Дуб стоял на пути дорожников, которые вели автомобильную трассу, и его хотели спилить. Местные краеведы, экологи, а также язычники, поклонявшиеся дубу, устраивали демонстрации, утверждая, что дуб не засох, а лишь погрузился в сон и скоро проснется. Шаман Василий Васильев приходил к дубу и просил духов, чтобы они разбудили дерево. Дуб не про-

сыпался, и шаман обратился к Садовникову за помощью, зная о его чудесных способностях.

— Пойдете спасать дуб? — спросил Садовников Веру, когда они завершили завтрак, и сквозь вымытые свежие стекла лился свет чудесного летнего дня. — Может быть, потанцуете вокруг дерева, и древний великан проснется от прикосновения ваших танцующих ног?

— Я вчера не удержалась, простите. Я так люблю танцевать.

— Вы прекрасно танцуете. Первыми балеринами были жрицы, исполнявшие магические танцы. Шаман Василий Васильев принесет с собой бубен, и вы исполните вместе с ним языческий танец.

Шаман Василий Васильев прежде был молодым сотрудником научного центра, в котором разрабатывал принципы звездной навигации. Его телескоп, совмещенный с компьютером и рулями космоплана, управлял полетом, ведя корабль от звезды к звезде. Когда научный центр был разрушен, и угрюмые тягачи увезли с завода серебристый звездолет, многие инженеры и ученые переехали работать в Америку. Другие стали торговать китайскими плюшевыми игрушками. А молодой аспирант Василий Васильев вспомнил, что он из древнего шаманского рода, купил бубен и стал изгонять демонов из хворой плоти своих соплеменников, лечил ударами бубна от бесплодия и теми же ударами прогонял колорадского жука с картофельных огородов.

Теперь они втроем на "Волге" ехали к заповедному дереву. Садовников с удивлением замечал, как прибавилось число красных человечков на улицах города. Они уселись на крышах, оседлали водостоки, прицепились к фонарным столбам. Напоминали красные стручки перца, и от них исходило ядовитое излучение, жалившее тело сквозь корпус машины и одежду.

Они выехали по шоссе за город, свернули на проселочную дорогу, катили среди глиняных ухабов до пустынного, в белесых травах поля, за которым темнел лес, и остановились у огромного одинокого дуба, на котором не было ни единого листка. Его темные ветви утекали в небо, как черные окаменелые реки. Жилистые корни вцепились в землю, как громадные омертвелые руки. В сморщенном, напоминающем скальную породу стволе чернели пещеры и дупла. Он и мертвый связывал землю и небо, и казалось, если его повалить, то небо всей своей синевой улетит прочь от земли, и негде будет летать птицам, плавать облакам, загораться радугам.

— Вот, Антон Тимофеевич, это вещее дерево они хотели спилить. Прислали сюда рабочих с бензопилами, но пилы отскакивали от древесины, как от гранита. Тогда они прислали сюда взрывников, чтобы взорвать дуб. Но заряды взорвались в руках саперов, и те погибли. Духам не угодно, чтобы люди разрушили дуб. Значит, он не умер, а спит. Надо его разбудить. Тогда все увидят, что он живой, и книга, куда он внесен, будет ему охранной грамотой. — Говоря это, шаман Василий Васильев доставал из машины чехол с бубном, сверток с медвежьей шкурой, шапку из ястребиных перьев, ленточки с бубенцами. Он был великолепен в своем колдовском облачении, косматый, как лесной зверь, в пернатой короне, с голыми мускулистыми ногами и руками, на которых позванивали магические бубенцы. Вера смотрела на него с восхищением и нескрываемым страхом, уже веря в чудо, свидетелем которого ей суждено было стать.

— Этот дуб — прародитель нашего народа, и ему не триста, а тысяча лет. — Василий Васильев, звеня бубенцами, коснулся самой нижней, корявой ветки, черной, в мозолях и наростах, как огромная натруженная рука. — Бог Неба нашел на солнце золотой желудь и принес на землю. Когда из желудя вырос молодой дуб, Бог Неба отломал ветку и создал из нее человека по имени Вас. Поэтому в нашем народе многих называют Василиями. Наш прародитель Вас построил из дубовых ветвей чум, привел в него девушку, которая гуляла по берегу реки, и так появился наш народ. К этому дубу сходились на совет наши люди, когда решались вопросы войны и мира, выбирали предводителя, или Верховного Шамана.

Сюда приходили слепые, и дуб возвращал им зрение. Приходили бесплодные, и у них появлялись дети. В дубе есть дупло, из которого раздается

голос, предсказывающий человеку судьбу. Мимо дуба пролегала дорога, по которой в Сибирь гнали каторжников, и женщины из соседних деревень приносили им хлеб, рыбу, яйца и давали целебные желуди. Во время последней войны к дубу сошлись наши мужчины перед отправкой на фронт, и жены являлись сюда, чтобы услышать голос и узнать, кто из мужчин жив, а кто пал смертью храбрых. Если этот дуб спилят, наш народ умрет. Поэтому люди наказали мне приходить к дубу и не давать ему умереть. Я взываю к духам неба и земли, чтобы они разбудили дуб, но на нем не появляются листья. Я позвал вас на помощь, чтобы вы своими тайными знаниями помогли мне разбудить священное дерево.

Василий Васильев поднял кожаный, белый, как луна, бубен. Подпрыгнул на одной ноге, тряхнув медвежьей шкурой. Подпрыгнул на другой, колыхнув рябые ястребиные перья на голове. Бубенцы звенели, рассыпая в воздухе мелкое серебро. Он мощно ударил в бубен, посылая к дубу тугой, гудящий звук, который проник в деревянную толщу. Из черного дупла стали вылетать совы, одна за другой. Выпадали мягкими клубками, дико вспыхивали золотыми глазами, раскрывали крылья и летели к лесу, издавая тонкие печальные вопли.

Шаман скакал, отаптывая дуб, гудел бубном, окружая дерево звоном, от которого трепетала в ветвях синева. Из другого дупла вылетел рой диких пчел, закружился туманным облаком, вытянулся, как веретено, и умчался. Слабо пахнуло медом.

Шаман грохотал бубном, вращался на месте, ударяя пятками землю. Казалось, он ввинчивается в глубину, погружается в сплетенья корней, уносит во тьму свое косматое облачение. Там, где он только что был, темнела рыхлая яма. А сам он опустился в подземное царство, где обитали духи тьмы. Огромные слепые кроты. Бесцветные студенистые черви. Безглазые рыбы подземных озер. Шаман призывал их звоном, гортанными криками, будил подвластные им стихии. Кроты и черви рыхлили под дубом почву. Рыбы гнали волны подземных озер, омывали иссохшие корни. Садовников видел, как влага поднимается по иссохшему дереву, умягчает кору, стремится достичь сморщенных почек, где притаились омертвелые листья.

Но сил колдуна не хватало. Воды отступали, уходили из дерева.

Шаман вылез из ямы и, сотрясая бубен, взлетел в небо, к духам света, выкликая их из лазури. Прозрачных птиц со стеклянными крыльями. Сверкающих бабочек, похожих на радуги. Крылатых коней, покрытых зеркальными перьями. Вместе с шаманом они кружили над дубом, изливая на него потоки света, вонзая лучи в древесные морщины, окружая дерево зеркальными молниями. Но сил колдуна не хватало. Духи улетели, а Василий Васильев опустился сквозь омертвелые ветки.

Грудь его дрожала. Глаза закатились. По лицу лился пот. Казалось, он умирает. Но он продолжал скакать, бил в бубен, словно боялся, что вибрации мира умолкнут, дерево никогда не проснется, и его народ исчезнет с земли.

Садовников видел, как все это волновало Веру. Она трепетала. Порывалась кинуться на помощь шаману. Закрывала руками лицо. Что-то шептала. И когда Василий Васильев упал без сил, продолжая бить о колено бубном, и звуки раздавались все реже и тише, Вера, подхватывая умирающий танец, порхнула к дереву. Босая и белоногая, полетела, успев накинуть на сухую ветку прозрачный платок. Длинными летящими прыжками она обежала дуб, словно провела вокруг него невидимый круг. Взлетала, образуя вихрь воздуха, шелка, развеянных темных волос. Мягко опускалась, доставая волосами травы. Ее руки плескались, как крылья, и, казалось, она летит. Ноги упруго отталкивались, и она ныряла ввысь, в свет, в сплетение ветвей. А потом ее босые стопы скакали по древним корням, которые вздрагивали от ее нежных прикосновений.

Садовников хотел понять природу ее танца. Иногда это была пластика классического балета, и она выглядела балериной, танцующей среди золоченых лож театра. Но потом она начинала струиться, трепетать, превращаясь в пламя, как испанская танцовщица. И вдруг страстно, пылко, вращая бед-

рами, ударяя пятками в землю, становилась африканской жрицей, плесками рук и ног взывающей к божеству. Он любовался, восхищался. В этой измученной женщине, которую он вырвал из бездны, открылось столько жизненных сил, грации, красоты. Она пролетала мимо него, и он заметил, как на щеках у нее горит легкий румянец, а глаза закрыты, словно она танцует во сне.

Она устала, подбежала к дереву и приникла к нему, обнимая корявый ствол тонкими руками.

Садовников чувствовал, как бурлит вокруг дерева взволнованный мир. Как омывают его энергии подземной воды и небесного света. Но не хватало земных усилий, чтобы победить смерть и влить в омертвелую материю дух жизни вечной.

Садовников шагнул в стеклянные волны света. Приблизился к дубу и припал к нему, обнимая могучее дерево. Его солнечное сплетение касалось сухой коры.

Он чувствовал нежный ожог там, где материнская пуповина связывала его с плотью исчезнувшей матери. Теперь эта связь превратилась в живое, сберегающее материнское поле. Сочетало его со всем мирозданием, с мерцающим созвездием Льва и голубой звездой 114 Лео. Драгоценная тайна, сокрытая в тайнике сознания, возликовала, ощутив бирюзовое излучение звезды. Огромный, растянутый на тысячи световых лет волновод протянулся от созвездия Льва к Садовникову, который обнимал дуб, а вместе с ним к припавшей к дереву танцовщице. Могучие волны энергии понеслись из Космоса, врываясь в Садовникова и через него погружаясь в древесный ствол. Садовников сотрясался от мощных, прилетавших из мироздания волн. Окаменелые древесные соки плавились и текли в глубине ствола. Сухие уродливые ветки разбухали, становились гибкими, розовели от пропитавшей их влаги. Дуб рокотал и дрожал, в нем бушевали старинные ураганы и ливни, былые весны и зимы. Гудели голоса исчезнувших поколений, звучали молитвы и песнопения.

Садовников чувствовал бушующие силы, которые толкали его в глубь дерева. Своим телом, своим дыханьем, своим огненным грохочущим сердцем продирался сквозь древесные волокна, по которым текли животворные соки. Приближался к женщине, которая ждала его по другую сторону дерева, раскрыв объятья. Коснулся ее. Ощутил божественную сладость, невыразимую нежность, мучительное обожание, которое померкло в ослепительной вспышке, словно в дуб ударила молния.

Упал на траву бездыханным. Очнулся от ликующих криков. Шаман Василий Васильев скакал, бил в бубен и восклицал:

— Чудо! Чудо свершилось!

Над ним качалась дубовая ветка, покрытая молодыми листами. Все громадное дерево было полно изумрудного тумана, шелестело, дышало. Это раскрывались бесчисленные почки, выталкивая на свет крохотные резные листочки. Из неба прянула к дубу серебристая стая птиц. Расселась в вершине, оглашая окрестность счастливым свистом.

Вечером, когда за черными окнами полоскал дождь, громыхало, над рекой гуляли лиловые вспышки, Садовников под лампой зашивал рубаху, которую порвал днем, обнимая дуб. Вера в сторонке перелистывала учебник астрофизики, видимо, пытаясь понять, чем знаменательно созвездие Льва и голубая звезда 114 Лео.

Садовников чувствовал, как по голой спине бегают прохладные сквознячки. Не слишком умело орудовал иглой, пришивая отпавший лоскут. Рубашка была поношенной и линялой, выгорела во время многочисленных прогулок. Но Садовников дорожил рубахой, потому что помнил, как жена пришивала к ней оторвавшуюся пуговицу. Эта пуговица, чуть крупнее других, и теперь была на месте. И нитки, продетые в дырочки, помнили прикосновение любимых пальцев, дыхание весеннего вечера, когда цвела сирень, пели соловьи, и на столе в фарфоровой вазе благоухал пышный, в брызгах воды, букет сирени.

Садовников почувствовал, как на его голые плечи легли горячие руки. Вера неслышно подошла сзади и обняла его. Он замер, мгновение не шевелился, чувствуя за спиной ее дыхание. А потом резко сбросил с плеч ее руки, повернул негодующее лицо. Заметил, как наполнились ужасом ее темные глаза, как она, испуганная его резким движением, отшатнулась, сжалась, словно ожидала удара.

Повернулась, побежала к дверям, прошелестела по ступенькам босыми ногами и выбежала из дома в дождь.

Садовников, ошеломленный, сидел, держа на коленях рубаху. Дождь бил в стекла. Никола, трагически воздев меч, стоял на верстаке. А где-то в ночи, под дождем, босая, бежала Вера, и ее хлестало, гнало, опрокидывало. И это он, Садовников, выгнал ее из дома в ночь, его резкое восклицание, его негодующий взгляд.

Он сорвался с места, на бегу накинул рубаху, выскочил на крыльцо, где шумел ливень, качался в листве ошалелый фонарь, промчалась машина, раздувая огненные усы.

Бежал по улице, отыскивая Веру. Заглядывал во дворы. Звал, чувствуя, как ветер и дождь затыкают ему рот. Увидел ее на речном спуске, под кустом, куда она забилась, обессилев. По ней хлестали струи. Близкая река жутко вспыхивала огненной ртутью. Катились над городом угрюмые рокоты.

Садовников бросился к Вере, обнял, пытался вырвать из цепких веток куста.

— Не надо! — рыдая, отбивалась она. — Меня никто не любит! Я гадкая, мерзкая! Я хочу умереть!

Ее волосы слиплись. Рот кривился. В глазах блестел ужас. На нее надвигался кошмар, силы тьмы, которые никуда не уходили, а ждали случая, когда можно будет наброситься.

— Вера, Верочка, ласточка моя! Милая! Ты прекрасная, добрая, красивая! Прости меня, дурака! Ну, пойдем, пойдем домой!

Он поднял ее на ноги. Снял рубаху и держал над ее головой. Вел к дому, накрывая не рубахой, а покровом нежности, бережения, обожания.

Они вернулись домой. Он помог ей снять промокшее платье, стараясь не смотреть на ее наготу. Уложил под одеяло. Приготовил горячий настой из пустырника, зверобоя, сон-травы. Размешал в отваре ложечку меда. Дал ей выпить.

Постепенно она успокоилась. Держала его руку, как больной ребенок, боясь отпустить своего целителя. Заснула, всхлипывая во сне.

Садовников печально сидел, не зажигая огня. Слышал, как шумит дождь, и фонарь в мокром дереве кидал в окно зеленый порывистый свет.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

Садовников утром прокрался в комнату осторожно, чтобы не разбудить спящую Веру. Она спала, положив обе ладони под щеку, и казалась спящим ребенком. Никола стоял на верстаке, воздев меч, словно стерег ее сон. Садовников чувствовал смоляную крепость и мощь дерева, из которого был вырезан угодник. Изысканную силу резчика, создавшего из древесного ствола живой человеческий образ. Прилежное старание живописца, подобравшего алые, золотые, небесно-голубые цвета, чтобы расписать облачение, бороду и глаза святого подвижника. Истовость и огненную веру молитв, накопленных в древесных волокнах, как солнечная смола. Благоухание неземных цветов, исходящее от священной книги. Никола являл собой образ воина, закаленного в великих сражениях.

— Вы кто? — Садовников услышал за спиной тихий голос. Оглянулся. Вера все так же лежала, положив ладони под голову. Но глаза ее были открыты. Длинные темные ресницы дрожали, не моргая. — Кто вы? Спасли меня от безумия. Дунули мальчику Сереже на темя, и он нарисовал икону. Оживили засохший дуб. Вы кудесник?

— Как хорошо, что вы не разболелись, — радостно воскликнул Садовников. — Пустырник и сон-трава сделали свое дело.

— Я здорова, — сказала она.

— Вы лежите. Я ненадолго отлучусь. Мне нужно посетить колокольных дел мастера. Он отливает колокол и просил помочь.

— Нет, — разволновалась Вера, поднимаясь в постели. — Я с вами, — и он отвернулся, видя, как сверкнули белизной ее ноги.

Колокольных дел мастер Игнат Трофимович Верхоустин раньше работал на артиллерийском заводе, лил стволы для скорострельных зенитных орудий, стрелявших столь интенсивно, что стволы раскалялись и выходили из строя. Игнат Трофимович искал средство повысить выносливость стволов, изучая для этого рецепты древних оружейников. Он добавлял в глиняные формы овечью шерсть, еловую смолу, рыбью желчь, и эти странные добавки продлевали работу стволов почти в два раза. Американцы, взявшие завод под свое управление, приглашали Игната Трофимовича переехать в Америку, вывезли в Массачусетс технологию, разработанную оружейником. Но Верхоустин в Америку не поехал, а овечья шерсть и еловая смола, которую использовали американцы, не приносила пользы, и русский секрет так и остался не разгаданным.

Сейчас Верхоустин приглашал Садовникова на свой маленький литейный заводик, чтобы вместе отлить колокол. Его заказал олигарх Касимов, желая повесить на месте былого концлагеря, где трудились узники соляных копей. Теперь шахты, созданные мучениками, перешли в собственность олигарха, позволяли ему покупать дворцы в окрестностях Лондона, отели в Дубае, учить детей за границей. А колокол был данью, которую платил олигарх мученикам ГУЛАГа, создавшим его богатство.

Садовников и Вера приехали на окраину города, где громоздились свалки, склады, заброшенные производства, среди которых существовал преуспевающий литейный заводик. И тут, среди бетонных заборов, ржавых панелей, железнодорожных переездов успели появиться красные человечки. Кто-то неутомимый рассаживал их по всему городу, и возникало впечатление, что город захвачен, находится во власти маленьких красных оккупантов.

Верхоустин встретил гостей у ворот своего предприятия в момент, когда на грузовик подъемный кран грузил большой смуглый колокол с золочеными славянскими буквами и таким же золоченым Спасом. Было солнечно, и лик Спасителя драгоценно сверкал.

— Для Костромы. Заказали три колокола. Первый, благословясь, отгружаем, — и он перекрестил свой бугристый лоб, в который, казалось, въелись частички меди и олова.

Они шагали по цеху, где в ряд, похожие на странные грибы, стояли глиняные формы. Ждали, когда в них зальют металл. В углу хлюпала, озарялась плавильная печь, похожая на округлую баклагу, где клокотала огненная жижа.

— Почему же, Игнат Трофимович, американцы не сумели воспользоваться вашей технологией для своих корабельных орудий? — спросил Садовников, с интересом осматривая формы, похожие на перевернутые чашки сервиза.

— А потому, Антон Тимофеевич, что они добавляли в глину смолу и шерсть, и не знали, что я перед каждой заливкой читаю молитву: "Святый Боже, святый Крепкий, святый Бессмертный, помилуй нас!" Ведь я, Антон Тимофеевич, из рода священников. Наша церковь стояла в устье Вятки, где Вятка в Каму впадает. Меня бабушка научила молитвам, и я их читал, когда отливали пушки. Об этом ни наши "красные директора" не знали, ни американские господа. Только вам говорю, Антон Тимофеевич, потому что и вы молитвы читаете.

Вера опасливо смотрела на кипящую печь. Садовников исподволь наблюдал за ней, чувствуя ее слабость и уязвимость, хрупкость свода, заслонявшего ее сознание от черного инобытия.

— Уж вы простите, Антон Тимофеевич, что я вас от дел оторвал. Сегодня день, наилучший для литья. Луна в первой фазе. Давление и влажность

чуть выше нормы. И кипрей за рекой цветет. Пропустим день, и не тот звук получим.

— Вы, Игнат Трофимович, колокол льете, как космический корабль запускаете.

— Каждая молитва, Антон Тимофеевич, есть выход в открытый Космос. Если человек верит, то он космонавт.

Они остановились перед глиняной формой, готовой принять кипящий сплав меди, олова и серебра. На коричневой поверхности славянскими буквами была выведена надпись: "Претерпевших до конца Победа", и над ней — образ Богородицы с младенцем. Садовников неслышно повторил чарующие слова неизвестной ему молитвы.

— А как звучит колокол, который мы с вами отлили месяц назад для Тихоновой пустыни? Монахи довольны?

— Чистейший звук, Антон Тимофеевич. Монахи говорят, что слушать колокол приезжают за тысячу верст. Он своим звоном зрение слепцам возвращает. Которые в параличе лежат, те встают и идут. Он бесов изгоняет и людей к покаянию приводит. Один убийца слушал колокол, да как зарыдает: "Я человека убил!" И пошел сдаваться в полицию.

Явились помощники, два пожилых закопченных литейщика и совсем еще юный, с розовым лицом подмастерье.

— В церкви были? — строго спросил их Верхоустин.

— Были, — кивнули все трое.

— Причащались?

— А как же.

Рабочие отправились к печи, из которой вырывались огненные змеи, и слышалось липкое бульканье.

Сквозь пыльные окна в цех проливалось солнце. Глиняная форма с таинственной молитвой и Богородицей высилась в пятне света, словно и солнце было готово принять участие в сотворении колокола.

— Не у всякого колокола звон, — произнес Верхоустин, обращаясь к Вере, робко взиравшей на бурлящую печь. — Он с виду колокол, а звук у него, как у пилы. Или стучит, к примеру, как молоток. Или мяучит, как котенок. У колокола должен быть звук. Русский звук.

— А что значит русский звук? — спросила Вера, несмело глядя на мастера. Он был внушителен в своем рабочем фартуке, с бугристым лбом и копной седых волос, перехваченных тесьмой, с крупным носом и тяжелыми складками, напоминающими грубо застывший металл. И только глаза на этом прокопченном тяжеловесном лице сияли голубым восторженным светом.

— Звук — это не трясение воздуха, не ноты в альбоме. Звук — это глосс Божий, которым душа говорит с миром. У каждого народа своя душа и свой звук. У русского народа душа молитвенная, богатырская, удалая, мечтательная, покаянная, исполнена любви ко всему миру и горьких слез и тоски по Царствию Небесному, которое здесь, на земле, недоступно. Пока у русского человека в душе звук Божий, он человек великий и праведный, сильнее которого нет на земле. Он такое царство построил, которому равных нет. Он такие победы одерживал, какие другим народам не снились. Поэтому нас и хотят свалить.

Верхоустин не успел пояснить, кто хочет свалить. Рабочие подняли на цепях кипящую печь. Повлекли через цех. Стали наклонять над глиняной формой. И тонкий, золотой ручеек расплавленного металла скользнул в желоб, упал в глубину формы.

Садовников протянул руки к дрожащей огненной струйке, чувствуя, как раскаленный металл вливается в полость, наполняя ее литым жаром. В его душе образовалось пространство, какое бывает в просторном сосновом бору, где каждый ствол поет и звенит. Или в гулком храме, где звук, не угасая, долго летает под сводами, среди ангелов и евангелистов.

И как только стало возникать чувство космической гармонии и бессмертной благодати, за окнами потемнело. Солнце погасло. Наступил черный мрак. Страшно ударило, так что зазвенели окна, и руки мастеров дрогнули. На бетонный пол пролилась струя, превращаясь в колючие звезды.

— Глядеть, глядеть! — прикрикнул на рабочих Верхоустин. — Это бесы хвостами крутят! Не дают русскому звуку родиться!

Снова, заглушая его слова, грохнуло за окнами. Ударная волна выбила стекла, и Вера в ужасе закрыла руками уши.

— Работать, работать! — понуждал помощников Верхоустин, а сам крестился, читал молитву, отгоняя от колокола вражью силу.

Когда печь отдала колоколу весь металл, и последняя горячая струйка из переполненной формы пролилась на под и краснела там, остывая, Верхоустин положил на себя крестное спасение. Буря мгновенно утихла. Ветер опал. Тьма расточилась. И брызнуло радостное свежее солнце.

— Посрамление бесам. — Верхоустин отер пот с усталого лба, как пехотинец, отстоявший родной окоп. — Будем слушать, Антон Тимофеевич, русский звук.

Сквозь глиняную сухую коросту дышал жар невидимого колокола. Несколько дней он будет остывать. В нем будет созревать звук. Его повесят на звонницу, и многие русские люди услышат голоса умерших предков, омоются молитвенными слезами, преисполнятся обожанием к своей ненаглядной Родине.

Вечером Садовников и Вера сидели в сумерках, не зажигая огня.

— Кто вы? — спросила она. — Как вам удалось спасти меня от безумия? Почему мальчик, которому вы дунули на темя, увидел рай? Почему в ваших объятьях зазеленел дуб?

— Я ведь тоже о вас ничего не знаю. Даже фамилии.

— Я Молодеева Вера.

— Что с вами случилось? Кто вас обидел? Какое зло вы испытали?

— Вам интересно? Хотите, чтобы я рассказала?

— Хочу.

Она глубоко вздохнула, как вздыхают сказительницы перед тем, как начать долгий сказ. В сумерках ее лицо слабо серебрилось, будто на него падал свет невидимой луны. Садовникову вдруг показалось, что это уже было однажды, и он знает ее рассказ наперед, и куда устремится его жизнь и судьба после ее рассказа. И лучше бы ей молчать, лучше бы не менять его жизнь и судьбу. И он смотрел, как в сумерках серебрятся ее руки, словно из-за деревьев светит невидимая луна.

— Я с самого детства больше всего любила танцевать...

Был конкурс танцев, и среди жюри я увидела Андрея. Я танцевала лучше всех и знала, что он любуется мной. Когда я взяла приз "Хрустальный башмачок", он пригласил меня на заключительный танец. Мы танцевали болеро, и я почти не заметила, как кончился танец, и он подавал мне шубку, и мы целовались в синих московских снегах. Мчались на его автомобиле среди свежих огней куда-то за город, в леса, к нему на дачу, где горел камин, и он наливал мне в стакан горячий глинтвейн. Ночью, когда я просыпалась, я видела его закрытые глаза с большими ресницами и мерцающую в стакане сосульку, которую он принес с мороза. Утром он сказал, что занят постановкой мюзикла и пригласил меня на главную роль танцовщицы... Этот мюзикл был о радости, счастье, о героях, творцах и влюбленных. Кругом, в народе была беда. Люди бедствовали, теряли веру. Одни кончали самоубийством, другие превращались в зверей. На Кавказе шла война, и телевизор показывал изуродованные трупы. Нашим спектаклем мы хотели вдохновить людей, вернуть им надежду, чувство неизбежной победы, которую всегда одерживал наш народ. В нашем спектакле была чудесная лучезарная музыка, восхитительные песни, прекрасные костюмы. Андрей говорил, что спектакль должен совершить волшебство, и зрители, покидая зал, должны почувствовать себя братьями, наследниками тех, кто совершал великие открытия, перелеты через Северный Полюс, устремлялся к звездам. Мы репетировали дни и ночи. Андрей танцевал главную партию, был отважным летчиком, улетающим в Арктику. А я танцевала партию его невесты. Я и была его невестой. Мы решили, что после десятого представления поженимся. И в его доме, над нашей кроватью, висела афиша спектакля,

мое счастливое лицо на фоне краснозвездного самолета, и надпись: "Вера Молодеева"...

Ее душа переливалась дивными цветами. Была исполнена прелести, красоты. Явилась в мир, чтобы испытать блаженство. Просверкать, как утренняя росинка, на которую упало солнце, и она брызжет алыми, золотыми, голубыми лучами. Как в то майское утро, когда они с женой вышли на крыльцо, и весь луг сверкал, переливался, ликовал, и она сказала: "Никто не будет так счастлив, как мы".

— Спектакль шел великолепно. Зал был полон. Я танцевала с упоением, и к моим ногам бросали цветы. Андрей был в форме летчика, мужественный, героический, и зал вставал с рукоплесканиями, когда он садился в кабину самолета, и начинал звучать марш победителей. И вдруг, я помню этот момент, на сцене появляется танцор в черном трико и маске. Начинает танцевать рядом со мной, касается меня, ведет меня в танце. Его черное трико сверкает, как чешуя. Его мускулы играют. Его глаза сквозь прорези маски горят черным обжигающим огнем. Я была поражена, решила, что это задуманный Андреем экспромт, который вписывается в композицию спектакля. Так же думали и зрители, которые аплодировали мне и черному танцору. К его ногам упал букет алых роз. Он поднял его, поклонился залу, выхватил пистолет и стал стрелять в потолок. Музыка смолкла, и в наступившей тишине он прокричал: "Многоуважаемые зрители. Спектакль продолжается, но теперь по моему либретто". И снова стал стрелять в воздух. В зал сразу из нескольких дверей ворвались вооруженные люди в масках, и с ними несколько женщин с полузакрытыми лицами. В руках у женщин были пистолеты, а на животах пояса с карманами, из которых торчали провода. "Многоуважаемые зрители, — снова прокричал черный танцор. — Оставайтесь на местах, вы все заложники. При попытке к бегству вас расстреляют. Если вас попытаются спасти, весь театр будет взорван". И он кивнул на женщин, которые стали поворачиваться и демонстрировать свои пояса с проводами. Люди начали вскакивать, в панике бежали к выходу, но раздались автоматные очереди, и все вернулись на свои места. Освещенный зал, в красных креслах зрители с букетами. Актеры сбились в угол сцены. Андрей, сидящий в кабине краснозвездного самолета, и черный танцор, гибкий, ловкий, с горящими глазами, пританцовывая, расхаживает по сцене...

Садовников видел, как страшно побледнело ее лицо. Смоляные брови на белом лбу стали болезненно ломаться. В глазах появился ужас, словно тьма, отступившая от нее ненадолго, вновь приблизилась. Черное солнце жгло ее разум мрачным пламенем, и она готова была превратиться в прежнюю умалишенную.

— Эти женщины-смертницы были во всем черном, на животах у них были пояса, и они казались беременными. Они были беременны смертью. Их полузакрытые лица были бледно-жемчужного цвета, как морские светящиеся раковины, и у всех были одинаковые, длинные, как у оленей, чернильно-фиолетовые глаза. Они расселись в разных местах зала, чтобы взрыв накрыл всех зрителей. Их пальцы сжимали кнопки взрывателей, и я обратила внимание, какие у всех красивые холеные бледные руки. Андрей оставался в кабине самолета, а когда захотел вылезти, черный танцор ударил его рукояткой пистолета. Одна смертница поднялась на сцену и присела на какую-то тумбочку. На ней был черный шелковый платок, повязка, закрывавшая рот. Длинные оленьи глаза мерцали каким-то жгучим огнем, отражая люстры зала. В одной руке она сжимала пистолет, а другой теребила красную кнопочку взрывателя. И рука ее была белая, прекрасная, с розовым маникюром, и я не могла оторваться от этой прекрасной руки, теребившей смертоносную кнопочку. Шли часы, и нас никто не спасал. Вооруженные люди входили и выходили, слышался их отрывистый говор. Я подошла к смертнице и сказала: "Зачем вы это делаете? Здесь мирные люди, женщины, дети, ценители искусства. Там, в самолете, сидит мой жених. Мы любим друг друга. Хотим пожениться. Отпустите нас". Она посмотрела на меня каким-то особым ненавидящим взглядом, в котором сверкали слезы ненависти, и сказала: "У меня был муж, но ваши солдаты поймали его и кинули под танк.

У меня были дети, но ваши самолеты прилетели и разбомбили мой дом и моих детей. Я была преподавательницей в школе танцев, но ваши пушки расстреляли школу, и все девочки-танцовщицы погибли. Я пришла, чтобы никого из вас не осталось. Вместо свадьбы у тебя будут похороны". "Вы не сделаете этого", — сказала я. "Уйди, сучка, а не то застрелю"...

Садовников видел, как мрак потустороннего мира приближается к ней. Ее рассудок темнеет и меркнет. Защитный покров, сберегающий разум от вторжения непознаваемой тьмы, начинает истончаться и таять. И надо прервать ее исповедь. Так думал Садовников, но не смел ее прервать, чувствуя, как затягивает ее мрак в свою безымянную бесконечность.

— Ночь тянулась, и нас никто не спасал. В зале случались истерики. Кто-то начинал истошно кричать. Кто-то падал в обморок. Женщины вставали перед захватчиками на колени и умоляли о милосердии. Андрей хотел выйти из самолета, но в него направляли пистолет, и он оставался в кабине. Внезапно черный танцор, который был у них предводитель, обратился ко мне: "Давай потанцуем, а то я убью твоего летчика". Он приказал музыкантам играть, и те заиграли, сначала нестройно, но потом подхватили ту музыку, что была написана на тему советской песни: "Любимый город может спать спокойно". Мы стали танцевать. Мой напарник оказался великолепным танцором. Его пластика была изумительна. Его прикосновения были сильными и нежными. Его глаза в вырезе маски то хохотали, то смотрели с обожанием. На нас, затаив дыхание, смотрел зал. Смотрели женщины с бомбами. Смотрел Андрей из кабины самолета. "Не танцуй!" — крикнул он мне. Но черный танцор обнял меня, сильно, властно повел, и я подчинилась его воле, его ласковым прикосновениям, его поцелуям, которыми он стал покрывать мою шею, мои обнаженные руки. "Не смей танцевать!" — крикнул Андрей, выпрыгнул из кабины и кинулся на черного танцора. Тот выстрелил в него, и я видела, как Андрей падает, отброшенный страшным ударом. Я потеряла сознание. Не помню, как проходил штурм, как в зрительный зал напустили отравляющий газ. Я была отравлена. Меня лечили. Мои легкие были спасены, но мой разум был разрушен. В нем все время звучала музыка: "В далекий край товарищ улетает", и я видела, как падает убитый Андрей, и черный танцор в блестящем трико делает пируэт, держа пистолет, и из дула вьется синеватая струйка дыма...

Вера вскрикнула тонко и жалобно, не надеясь на милосердие мира, который сначала был майским сверкающим лугом, а потом опрокинул ее страшным ударом тьмы. Она падала, и Садовников подхватил ее, прижал к груди, гладил ей волосы, целовал виски, запястья, повторяя:

— Моя милая, чудная, ничего не бойся. Ты родная, прекрасная!

Она прижалась к нему, и он чувствовал, какие горячие у нее слезы.

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Несколько дней Вера была нездорова, вдруг начинала рыдать. Пряталась с головой под одеяло, словно хотела заслониться от черных, падающих на нее глыб. Садовников стоял на страже, помещал ее в хрустальную голубую сферу пасхальных молитв, божественных песнопений, волшебных фресок Дионисия, по которым бежала солнечная рябь озерной воды.

Ей стало легче. Она вставала, прибиралась по дому. Садовников с нежностью и состраданием смотрел на ее бледное красивое лицо с пугливыми глазами. Она вверила ему свою душу, эту стеклянную вазу с хрупкими астрами, и он принял драгоценный сосуд, радовался нежданным цветам. Никола, строгий и неподкупный, благословлял их священной книгой, оберегал воздетым мечом.

Ему позвонил давнишний знакомый Аристарх Пастухов, с которым когда-то работали в научном центре. Там Аристарх сочинял теорию идеальной организации, не подверженной конфликтам и разрушению, разумея под такой организацией само государство. После закрытия центра он устроился сторожем в мемориальный музей ГУЛАГа, созданный на месте бывшего ла-

геря. И там, среди бараков, сторожевых вышек и колючей проволоки продолжал сочинять свою теорию. Теперь он сообщал, что в мемориал привезли и повесили поминальный колокол, который был отлит якобы не без помощи Садовникова. И ни желает ли Садовников приехать и услышать колокольный звон. Садовников стал собираться.

— Вы куда? — разволновалась Вера. — Ведь вы меня не оставите?

— Хотел вас с собой пригласить. Колокол, который мы с вами отлили, уже на звоннице. Послушаем его русский звук.

Мемориал располагался за городом и являл собой отреставрированный, а по сути заново построенный лагерь с такой пугающей подлинностью и достоверностью, что возникала мысль, не ждет ли он новых заключенных. Такими добротными, крепкими были дощатые бараки, сторожевые вышки, изгородь колючей проволоки со своей продуманной геометрией, которая учитывала размеры человеческого тела и его стремление к свободе. И опять, как и в других местах города, здесь объявились красные человечки. Один сидел на сторожевой вышке. Другой у входа в барак. Третий на деревянных, опутанных колючкой воротах.

— Я замечала этих красных человечков повсюду. Что они означают? — спросила Вера.

— Не знаю. Чья-нибудь забавная шутка, — ответил Садовников, чувствуя исходящее от деревянных истуканов излучение.

— Недобрая шутка, — сказала Вера, зябко поведя плечами.

Навстречу им шел Аристарх Пастухов. У него было луновидное, белое, лишенное растительности лицо, острый нос и большие, как блюдца, глаза. Из-под мятой шляпы выбивались рыжеватые волосы, и он был похож на снеговика, у которого вместо носа морковка, а на голове кипа соломы.

— Я тебе, Антон, хотел показать модель организации, приближенной к идеальной, — едва кивнув Вере, Аристарх стал шарить по карманам жилета, какие носят фоторепортеры. Карманов было множество, из них торчали блокноты, тетради, карандаши и ручки. Не найдя нужной бумаги, Аристарх ухватил Садовникова за пуговицу, словно боялся, что тот убежит. — Видишь ли, ложной является посылка, утверждающая, что смысл организации заключается в результатах труда. Организация, созданная для получения материального продукта, не может быть идеальной. Идеальной организацией является та, которая обеспечивает производство добра. Люди собираются для того, чтобы сделать друг другу добро, доставить друг другу благо. Идеальной организацией является та, в основу которой положена заповедь: “Возлюби ближнего, как самого себя”. И одновременно — “Возлюби Отца Бога твоего”. Вот поэтому в основу моей социальной инженерии положено Священное писание.

— Но тогда самым видным социальным инженером является Христос — Садовников осторожно отнял у Аристарха свою пуговицу.

— Вот именно. Но Христос предлагает создать организацию “не от мира сего”. Переносит свой проект в Царствие Небесное. Именно эта модель получилась у меня, когда я ввел в параметры организации такие категории, как совесть, самопожертвование, милосердие, нестяжательство, справедливость. Благоговение перед младенцем, цветком, звездой небесной. И знаешь, что у меня получилось? — Аристарх вновь завладел пуговицей.

— Рай. Идеальной организацией является рай.

— Верно! Но почему тогда Академик не принял мою теорию?

— Потому что он готовил космическую экспедицию, а не переселение святых душ на небо.

— Вот в этом его ошибка! Надо ставить невыполнимые условия, чтобы выполнить задачу хотя бы наполовину.

Аристарх загорелся и был готов вступить в бесконечный диспут, приводя цитаты из священных текстов, формулы тензорного анализа, примеры из мировой и советской истории.

— Где они все, властители дум? Их как ветром сдуло. Это был коллектив великих людей, которые могли изменить ход мировой истории. Куда они все исчезли? Почему они оставили нас среди гниющих остатков?

— Быть может, их взяли живыми на небо, — произнес Садовников, извлекая пуговицу из вертких пальцев философа. И сокровенная тайна, спрятанная в глубине его разума, полыхнула, как дивная радуга, как росистый утренний луг. — Покажи поминальный колокол.

Между бараков размещался плац, на который выгоняли зэков, конвоиры с собаками обходили ряды одинаковых людей в бушлатах с серыми лицами, впалыми щеками и огромными голодными глазами. Теперь здесь стояла гранитная звонница с поперечиной, на которой висел колокол. Садовников издали узнал его. Смугло-коричневый, с золотым образом Богородицы и золотой надписью, колокол своим молчанием уже рождал звук. Вернее, предчувствие звука, в ожидании которого замерли синие заречные дали, остановившаяся в блеске река и сердце Садовникова, внимавшее несуществующему звуку.

— Организация, при создании которой был затоптан хотя бы один цветок, не может считаться совершенной, — продолжал философствовать Аристарх. — Этот затоптанный цветок рано или поздно обернется взрывом и превратит организацию в прах. Так было с Советским Союзом.

Садовников взял свисавшую веревку. Качнул кованый язык и ударил. Звук возник в чаше колокола, переполнил ее, излился наружу, стал расширяться, увеличивался, не отрываясь от рокочущей меди, которая продолжала питать его певучими силами. Оторвался и полетел в сияющие дали, за пустынную реку, в леса, где черные ели горят в сусальном золоте, в ореховых кустах прячутся волки с золотыми глазами, и хрустальные небеса трепещут в тихом ликовании.

Он бил в колокол, извлекая певучие звоны. Направлял их в лазурь. Туда, где исчезал голубой воздух, таяло серебро перистых облаков, и начинала трепетать ноосфера, плескались вспышки радуг, мчались лучистые, опоясывающие землю кольца.

Дома они сидели за столом, разделенные полосой красного вечернего солнца. Она спросила:

— Почему от ваших рук исходит целебная сила? Как вы получили этот дар?

— Не знаю. Это вышло само собой, — неохотно ответил Садовников.

— Не хотите рассказать? Я знаю, что в человеке заключены могучие силы. Но они запечатаны. Если их распечатать, человек обретает могущество. Андрей говорил, что танцем можно разбудить дремлющий мир, вызвать к жизни огромные энергии. Танцовщицы, ударяя ногами сухую траву, добыли для человечества огонь. Танцоры, водя хороводы, изобрели колесо...

Вы с шаманом Василием Васильевым своими танцами оживили дуб. Откуда в вас этот дар? Кто вам его передал?

Садовников молчал, глядя, как красная полоса легла на верстак, под ноги Николы, и казалось, перед святым постелили красный ковер. Садовников подумал, что со смертью жены у него исчез собеседник, и несколько лет он ни с кем не говорит по душам. Никому не может сказать, что полоса вечернего солнца похожа на прекрасный ковер. Что сегодня, слушая колокол, испытал невыносимую боль. Что вчера ему приснился сон, будто он медленно ступает в холодную воду, и мимо, касаясь его плавниками, скользят темные рыбы. И вдруг ему захотелось рассказать этой женщине, как в нем возник загадочный дар ясновидения. Как внезапно стало горячо его сердцу, и он понял, что смерти нет. Что в мире не существует врагов, и божественная жизнь дышит в крохотной горной былинке, в сером, исхлестанном пулями камне, и в нем, Садовникове, сжимавшем ручной пулемет. Ему захотелось ей обо всем рассказать, надеясь увидеть отклик в ее близких, темно-карих глазах.

— Это было в Афганистане, в горах, куда высадили нашу группу десантников.

— Вы были на войне?

— Я был молодым командиром, и нас высадили на двух вертолетах в горном районе, чтобы мы ударили в тыл моджахедам...

И снова с горячим свистом винты рассекали воздух. Зеленый борт с красной звездой. И солдаты прыгали на камни, бежали из-под винтов и ложились, направляя оружие на соседние склоны. Машины, одна за другой, взлетали, отваливали в сторону. И вдруг открылась сияющая пустота, пахнул душистый ветер вершин, полетел над пепельно-розовым склоном. И в небе, прозрачный, как облако, вознесся голубой ледник.

— Нас высадили на высоте, с которой мы должны были незаметно спуститься в долину и разгромить опорный пункт неприятеля. Но, видимо, недоглядела разведка, район, куда нас посадили, кишел моджахедами, и мы сразу же попали под шквальный огонь. С соседнего склона бил пулемет, и его вспышки напоминали зеркальные зайчики света, а удары пуль рассекали камни, и я помню, как брызнули крошки от соседней глыбы, и запахло расколотым кремнем. У нас сразу же появились потери, и пока мы меняли позицию, укрываясь в складках горы, двое солдат были ранены и один убит, маленький остроносый белорус, который смешно копировал крики фазанов, павлинов и пестрых кегликов. Мы отстреливались, били из гранатометов по склонам, я из ручного пулемета старался подавить огневые точки, легкие клубеньки дыма, из которых летели красные трассеры, и эти зеркальные мерцания, от которых гора трещала по швам. Я понял, что нас перебьют, и стал вызывать вертолеты, благо, они еще петляли где-то рядом, в горах. Передо мной лежал тусклый розовый камень, в который уже несколько раз ударяли пули. Около камня дрожала на ветру тонкая былинка с крохотным синим цветком. А вокруг, прячась в морщинах горы, укрывались от очередей солдаты. Я видел их серые панамы, подошвы ботинок, пульсирующее пламя их автоматов, и санинструктора, который бинтовал раненых, и убитого белоруса, его похожий на клювик остренький носик...

Садовников поразился, как сочно, во всей полноте, прошлое возвращает ему исчезнувшие картины и чувства. Страх за себя. Ужас от мысли, что вверенный ему взвод будет истреблен на горе. И то, что он живет на земле последние минуты. И тот высокий прозрачный ледник, и былинка с синим цветком, и расколотый пулями камень, — это последние в его жизни видения. И он направлял пулемет на соседнюю гору, по которой бежала цепочка враждебных стрелков.

— Послышался звук вертолетных винтов. Из-за вершины показалась одна машина, второй почему-то не было. Вертолет приземлился на узкую площадку, на самом краю откоса. Мы стали спускаться к ней, и я прикрывал отход. Погрузили на борт убитого, потом двух раненых, потом стали забираться солдаты. Несколько пуль ударили, продырявив обшивку. Летчик махал руками, давая понять, что погрузка закончена, что вертолет взял на борт избыточный вес, что он не взлетит в горах, где воздух разрежен, и падает подъемная сила винтов. На земле оставались я и сержант, здоровый саратовский парень с малиновым румянцем, которому через месяц возвращаться домой, и он говорил, что сразу сыграет свадьбу...

Вертолетный борт со звездой. Размытый блеск винтов. Летчик показывает грязный палец, и это значит, что только один может подняться на борт. Лица солдат, напряженно глядящие из темного проема дверей. Близкое белобровое лицо сержанта с мучительной складкой на лбу. Перебегает по дальнему склону цепочка врагов. И он толкает в плечо сержанта, направляя его к вертолету. Тот цепким сильным прыжком ныряет под винты, и солдаты из проема кидают на землю автоматные магазины, пеналы гранатометов, чтобы их командир мог еще отбиваться и жить, слыша, как удаляется звон вертолета.

— Я чувствовал, как с горы, откуда стреляли, и где скапливались моджахеды, — их шаровары, тюрбаны, долгополые облачения, — оттуда летела прозрачная мгла. Я знал, что это летела смерть, моя, моих солдат, вертолетчиков, и этой былинки с цветком, и голубого ледника, — все накрывала смерть, перед которой нужно отступить, побежать или пасть ниц. И я был готов бежать, но какая-то сила, из-под сердца, в которое летели пули, толкнула меня вперед, навстречу смертоносной тени. Я не кричал, не молился, не искал в небе Бога, а только всей своей жизнью отталкивал смерть. Я по-

чувствовал, как что-то полыхнуло вокруг, но не взрыв, а бесшумный всплеск света, который отбросил тень, наполнил меня легкостью и счастьем. Я вдруг ощутил свою бессмертную связь с этими молодыми, исцарапанными о камни людьми, с вертолетчиком в пятнистом комбинезоне, с голубым ледником, розовым камнем и безымянной былинкой. И даже с врагами, которые стремятся меня убить. Это длилось одно мгновение, но оно преобразило меня. Я оглянулся, и вертолетчик манил меня рукой. Я собрал оружие и залез в машину. Вертолет был перегружен, не мог взлететь. Моджахеды приближались, прыгая по камням, как козы. Летчик направил машину к обрыву, кинул ее в пропасть. Вертолет стал падать, снижался, достиг отметки, где воздух стал плотнее, и винты зацепились за этот плотный воздух. Вертолет полетел, и мы вернулись на базу. После этого я стал другим. Во мне открылись неведомые прежде возможности.

— А что это было? Как вы это объясните? — Вера жадно слушала, словно хотела сравнить переживания Садовникова со своими. Его чудесный опыт с ее душевными откровениями.

— Не знаю, как это объяснить, — ответил Садовников. — Я рассказал об этом отцу Петру, архиерею Покровского собора, что на речном спуске. Он прочитал мне слова апостола Иоанна: "Несть больше той любви, аще кто положит душу свою за други своя". Сказал, что я исполнил эту заповедь, и она, мною исполненная, изменила меня.

— А как вы узнали, что стали другим? — Вера выспрашивала, стараясь проникнуть в его сокровенные тайны. И это не пугало, не раздражало его. Он говорил об этом однажды с отцом Петром, сидя в его маленькой келейке, спрятанной в глубине колокольни. А прежде — с женой, когда она качалась в гамаке, между двух берез, и ее ноги чуть касались розовой земли, и по ней бежали волнистые тени.

— Это было через неделю после случившегося, когда наша группа снова ушла в горы. Мы шли козьими тропами, стараясь не потерять высоту, потому что, когда долго идешь в горах и ужасно устал, и хочется пить, возникает соблазн выбрать ту, чуть заметную тропку, которая ведет не к вершине, а вниз. Впереди шел капитан, с ногами, сильными, как у лося. Огромный мешок с боекомплектом и продовольствием, ручной пулемет, труба гранатомета. Я слышал его дыхание, будто работал насос. Группа растянулась по склону, уже смеркалось, и соседняя вершина стала красной, будто на нее повесили рубиновый фонарь. И вдруг меня что-то толкнуло, будто кто-то толкнул меня в грудь и сказал: "Стой!". Я крикнул капитану: "Стоять!", он обернулся и продолжал идти. Я чувствовал, что приближается нечто ужасное. Кинулся бегом к капитану, догнал и сказал ему: "Стой". "Ты что, с ума сошел?" Он оглянулся, продолжая шагать. Я повис на нем, повалил на тропу, мы барахтались, он чертыхался, а я видел, что рядом с нами, пересекая тропу, трепещет тонкая серебристая струнка. "Растяжка", о которую задевает нога, выдергивает кольцо гранаты, и человек попадает под взрыв. Капитан увидел растяжку и замер. Она была у самого его локтя. Поднялся, отступил: "Обойдем стороной. За мной!" А во мне прозрение, будто кто-то мне вставил другие глаза.

В сумерках темный склон стал как будто стеклянный. И в этой прозрачной земле по сторонам от тропы я вижу закопанные мины. Каждая окружена красноватым сиянием. "Итальянки", ребристые, похожие на ананасы. Противопехотные, плоские, припорошенные пылью. Фугасы из артиллерийских гильз. Как корнеплоды на грядке. Я их вижу сквозь землю и чувствую, как у меня из глаз исходят лучи. Мы обошли стороной минное поле, и потом капитан все допытывался: "Как ты в темноте увидал?" А я не мог ему объяснить.

— А что это были за лучи? — спросила она. Он не ответил. После того ночного похода он больше не чувствовал этих лучей, хотя дар ясновидения сохранился. Впрочем, однажды, когда они только что познакомились с женой и сидели в избе на большой деревянной кровати, и он смотрел с восхищеньем на ее чудесное смуглое лицо, она вдруг сказала: "Я вижу, как из твоих глаз исходят лучи".

— А что было еще на войне?

То извилистое ущелье в горах, с обеих сторон сбегают разноцветные осыпи, прилепился к горе кишлак, бурлит на камнях пенистая звонкая речка, и в каждом распадке, на каждом повороте дороги притаилась смерть, невидимый стрелок ведет мушкой по твоему лбу, и тебе кажется, что между бровей у тебя ползет божья коровка.

— Мы сопровождали колонну грузовиков с реактивными снарядами для "Ураганов". Два "бэтээра" шли впереди колонны, один "бэтээр" и скорострельная зенитка замыкали колонну. Я сидел на головной машине, на броне, и вокруг меня четыре солдата. Автоматы на взводе, глаза шарят по склону, ожидая засады. Рядом со мной, у башни сидел прапорщик, который славился тем, что построил в гарнизоне баню с бассейном, выложив дно изразцами разрушенной мечети. Я не раз погружался в этот бассейн с лазурным дном, на котором были начертаны стихи Корана, и мне было не по себе, словно я совершаю святотатство. Колонна шла по ущелью, и засада случилась тогда, когда мы уже перестали ее бояться. Как это бывает, заработали с горы пулеметы, полетели горящие головешки гранат, задолбила зенитка. Бой, суматоха. Одна мысль: не взорвались бы снаряды, а то снесут половину горы. Прапорщик бил с брони наугад, и когда менял магазин, в наш "бэтээр" угодила граната. Не пробила броню, а скользнула вверх, рванула за уступом "бэтээра", и взрывная волна задела прапорщика. Оторвала ему кисть руки. Не совсем, а отсекла сустав, и я видел, как болтается его пятерня, словно висящая на ремешке перчатка. Не знаю, почему, по какому побуждению, я бросил в люк автомат, схватил оторванную кисть и приставил к руке. Сжал ладонями место разрыва. Из-под моих пальцев хлещет кровь. Прапорщик без сознания от болевого шока. Мы уходим из-под огня, останавливаемся в расположенье полка, где был медсанбат. Я продолжаю стискивать руку и отпускаю ее только тогда, когда к "бэтээру" подбежали санитары с носилками. Тогда я убрал ладони и увидел, что кисть приросла. Будто не было рваной раны, а только тонкий, с запекшейся кровью надрез. Хирург не поверил. Сделали рентген, все кости, все жилы целы. "Что мне тебе сделать, колдун, за то, что ты руку мне спас?" — "Убери из бассейна изразцы. Там святые стихи". И ведь убрал, а изразцы отнес мулле в соседний кишлак.

— Так вы и вправду колдун? — тихо спросила Вера.

— У нас в части работал полковник генерального штаба. Он был из совсекретного отдела, изучавшего психику человека во время экстремальных условий боя. Он узнал обо мне. Отозвал из действующей армии и перевел в Москву, в свой отдел. Но это уже совсем другая страница.

Они сидели в сумерках, не зажигая огня. Из-под ног Николы убрали красный ковер.

ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Утром, когда Вера подавала завтрак, и Садовников нахваливал гренки, зажаренные в молоке, она сказала:

— Я, должно быть, уеду. Вам спасибо за все. Мне уже лучше. Теперь я могу обходиться сама.

— Куда уедете? — испугался он.

— К тетушке в Москву. У меня там тетя живет.

— Разве вам плохо здесь? — Садовников был испуган, смущен. Не понимал природу своего смущения и испуга.

— Нет, мне очень у вас хорошо. Вы столько сделали для меня. Но вы привыкли жить один. Ваши мысли постоянно обращаются к вашей жене. А я вам мешаю.

Она стояла перед ним, опустив руки и наклонив голову, и была в ней беззащитность перед жестоким и страшным миром, в который она собиралась от него уйти, где ее поджидало терпеливое и неотступное зло. А он вдруг с острой мукой представил, как опустеет его комната, и он будет один си-

деть перед утлым верстаком, на который вечернее солнце постелет красный половик. И некому будет сказать, что эта малиновая полоса так похожа на кабульские ковры, которые торговцы стелили прямо на проезжую часть, и по ним, разминая бугры и складки, катили рикши, цокали ослики, шагали пешеходы. И он ступал своими грубыми солдатскими башмаками по черноалым узорам ковра.

— Вы еще очень слабы. За вами нужен уход. Доктор Зак поручил мне ухаживать за вами.

— Я бремя для вас. Мешаю вашим занятиям.

— Ну, какое же бремя? Вы мне помогаете. Как вы чудесно танцевали возле дуба, и он распустил свои листья.

— Вы хотите, чтобы я осталась?

— Хочу.

Она мыла чашки, вытирала их полотенцем, и он видел, что она печальна, иногда покусывает губы, словно ее не отпускают горькие мысли.

Он решил совершить прогулку по городу и исследовать места, в которых появились загадочные красные человечки. Их обилие внушало тревогу, а их природа и назначение составляли загадку. Он посадил Веру в машину, и они стали колесить по улицам и площадям, отмечая скопления красных истуканов.

Они усеяли все главные трассы, свесив ноги с крыш, примостившись на фонарных столбах, присев на лавочки троллейбусных остановок. Целыми подразделениями они окружили правительственные учреждения, почтамт, телецентр, здания администрации и думы, и казалось, что они взяли под контроль все центры управления городом, и город находится во власти неведомых завоевателей. Их было много у зданий, где прежде размещались заводы и лаборатории, а теперь расположились автомобильные салоны, товарные склады, развлекательные центры. Целая армия окружала супермаркет "Ласковый мир", принадлежащий олигарху Касимову. Истуканы стояли у входа, будто осуществляли фейс-контроль покупателей. Плотно усеяли крышу, а двое прицепились к неоновой надписи. По периметру здания, на соседних улицах, на парковке машин виднелись красные, сколоченные из брусков фигуры, словно расставленные патрули. Прежде в супермаркете размещался секретный научный центр, в котором работал Садовников, и скопление деревянных пришельцев вызвало в нем беспокойство. Сберегаемая в глубине сознания тайна заволновалась, как эмбрион, проснувшийся в чреве матери.

Садовников чувствовал исходящие от истуканов волны враждебной энергии, пытливые, шарящие повсюду лучи.

— Какие странные куклы, — сказала Вера, разглядывая истуканов. — В детстве бабушка водила меня в парк, и там, на стволах старых кленов, было множество. Целые полчища, но они были безобидные, а от этих у меня болит голова.

Они остановились у сквера, где не было деревянных пришельцев, и на гранитном постаменте стояла пушка — памятник фронтовикам и героям тыла, одержавшим победу в войне. Ствол пушки целился вдаль, словно всматривался в туманное прошлое, где гремели бои, горели европейские столицы, и русские артиллеристы "из сотен тысяч батарей, за слезы наших матерей" вели свой праведный огонь.

Возле пушки стоял худенький мальчик с рыжей челкой, щедро посыпанный веснушками, в скромном пиджачке и галстуке, который, быть может, надел в первый раз.

— А вот и юный артиллерист, — сказал Садовников, подходя к орудию.

— Я не артиллерист, — ответил мальчик.

— А кто же ты?

— Я Коля Скалкин. Нам задали сочинение написать про эту пушку. А я ничего не знаю.

— Что ж тут знать-то. Гаубица, калибра 152 миллиметра, расчет из десяти человек, скорострельность 4 выстрела в минуту, скорость передвижения по шоссе 40 километров в час, длина ствола 3700 миллиметров.

Все это Садовников произнес, как по-писаному, глядя на пушку, выкра-

шенную в зеленый цвет. Коля Скалкин с изумлением выслушал Садовникова, но потом сказал:

— Мне про цифры не надо. Мне про то, как эта пушка стреляла, и какие люди рядом с ней воевали.

Рыжеволосый мальчик тронул орудие, словно надеялся, что пушка отзовется на его прикосновение и поведает свою историю. Но пушка молчала.

— Она говорит, но ты ее не слышишь. Хочешь ее услышать?

— Хочу.

— Тогда положи руки на ствол и постарайся ни о чем не думать, только о пушке. Как будто она живая, и у нее есть душа. Закрой глаза и слушай. А что услышишь, тихонько пересказывай. А мы будем записывать. Согласен?

— Согласен.

Мальчик положил тонкие ладони на стальной ствол. Закрыл рыжие солнечные глаза. Глубоко вздохнул, словно переносился в мир сновидений. Садовников достал блокнот и ручку, передал Вере, а сам, не приближаясь к орудию, повел рукой по воздуху, словно оглаживал ствол, колеса, лафет и стоящего рядом мальчика. Пространство вокруг оделось в стеклянный свет. Тяжелый ствол и колеса стали прозрачными. Над головой мальчика образовался прозрачный столб света, который уходил высоко в небо и там сливался с прозрачной солнечной синью. Садовников убедился, что тяжелое, утомленное орудие превратилось в бестелесный образ, который вознесся в ноосферу и слился с хрустальной пушкой, что витала в нематериальных мирах. И оттуда, по стеклянному световоду, потекли голоса и гулы, рокоты канонады, неумолчные звуки войны, и мальчику казалось, что он спит, и ему снится история пушки. И он говорил:

— Пушка проехала много километров, сначала по России, потом по Польше, а потом по Германии. В Берлине артиллеристы белой краской писали на снарядах: “За Родину” и стреляли по врагу. Когда орудие приблизилось к рейхстагу, командир надел все ордена и сам наводил орудие и бил по врагу. Он стрелял метко, так что отстреливал головы стоящим на крыше статуям. Он зарядил снаряд, но война окончилась, и пушка так и не успела сделать последний выстрел. Артиллеристы целовали свою пушку.

Последний снаряд так и остался в пушке, и его в стволе заварили электросваркой. Потом пушку погрузили на платформу и отвезли в наш город, где поставили на площадке у сквера. Сначала у нее дежурили пионеры, а потом их не стало. Вместо них стал приходить один старик с ведром и щеткой. Он чистил пушку и тер ее мылом. Но потом и он пропал. Теперь она стоит, и вокруг нее играют дети. Говорят, ночью в небе над ней иногда появляется пушка из звезд. Учитель сказал, что эти звезды из созвездия Льва.

Тут мальчик проснулся и перестал пересказывать историю, которую принесли ему волны прозрачного света. Стеклянный ствол, к которому прикасались ладони мальчика, померк и снова стал железным. Погас хрустальный световод, уходящий в небеса. Коля Скалкин открыл глаза и сказал:

— Я запомнил лицо командира, который стрелял по рейхстагу. Я его где-то видел.

— Его звали гвардии майор Федор Скалкин. Это был твой прадед, — сказал Садовников.

Остаток дня они провели дома. Садовников рассматривал астрономическую карту, соединял линиями звезды в созвездии Льва, стараясь обнаружить контуры пушки. Вера вздыхала, тихо ходила по комнате, о чем-то порывалась спросить Садовникова. Подошла к Николе и сняла с меча висящую на шнурке красную стеклянную бусинку, амулет, доставшийся Садовникову от жены. Смотрела сквозь рубиновую ягоду на свет. А потом спросила:

— А кем была ваша жена? Вы постоянно думаете о ней. Она присутствует в вашем доме. Должно быть, она была чудесная женщина.

Садовников замер, как будто к груди подступил горячий бурлящий сгусток, готовый ворваться в сердце и растерзать его слепой болью.

— Она была чудесная женщина, — кивнул он.

— А чем она занималась?

— Мы работали вместе в секретном научном центре.

— Над чем вы работали?

— Она была филологом, знатоком фольклора. А также изучала храмовое действо, таинство литургии.

— А разве это секретно?

Садовников умолк, прислушиваясь к туманной глубине сознания, где пряталась тайна, тихо мерцал невидимый миру бриллиант. Тайна дремала в коконе, дожидаясь часа, когда ослепительной бабочкой вырвется в светлый мир.

— Все, кто пел в народном хоре протяжные русские песни, знают, как с первых же звуков душа начинает двигаться по таинственным кругам, все выше и выше, преисполняясь все большей красотой, входя в гармонию с земными и небесными силами. И внезапно, на десятом или двадцатом куплете, подхваченная другими душами, она коснется ослепительной высоты, из которой хлынет в нее могучий свет радости и любви. И ты знаешь, что смерти нет, что миром правит любовь, и в центре мира сияет благодатный Творец. То же происходит в храме, когда твоя молитва, вместе с молитвами других, возносится в бестелесную высоту, к благодатному Богу. И он вдруг услышит твою молитву и ответит на нее дивной благодатью, через которую ты сочетаешься с живыми и мертвыми, преисполнен всеведения, знаешь обо всем мироздании от робкой былинки до далекой звезды. В эти мгновения душа достигает границ нашего мира и соприкасается с соседним миром негасимого света, неземной мудрости и бессмертия. Это касание происходит в одной только малой точке, и длится миг единый, после чего душа опадает в наш затемненный и затуманенный мир. Но одной капли света, которую душе удается зачерпнуть в тех божественных сферах, хватает на то, чтобы превратить пепел в алмаз, претворить вино в кровь Христову, преобразить грешника в праведника. В научном центре исследовали эту энергию, искали способ увеличить ее приток на землю. Создавали установку, в которой эта энергия переносит человека из одной вселенной в другую, побеждает тепловую смерть "черных дыр", преображает несовершенный мир людей в идеальный союз творцов и спасителей. Этим и занималась моя жена.

Садовников вспомнил, как они с женой пели в поморской деревне. Синие блеклые глазки старух. Бело-розовые половики. За оконцами серебряное тихое море с черной лодкой. И когда они взмыли всей силой и радостью ввысь, и темная изба стала вдруг золотой, а старушечьи лица стали молодыми и дивными, он вдруг увидел, как по морю, мимо окна идет мама, в своем сиреневом платье, не касаясь вод. Прошла и исчезла в млечной дали, куда вслед за ней улетела песня. И в рождественскую ночь, когда он нес крест, а она, шагая рядом по хрустящему снегу, несла золотую книгу, и на крыльце храма, под звездами, священник восторженно восклицал: "Христос воскресе!", он увидел отца, совсем молодого, и отец держал маленькую стеклянную рыбку, какую вешают на еловую ветку.

Теперь он вспомнил об этом, глядя на темноволосую молодую женщину, в пальцах которой мерцал стеклянный амулет жены.

— А как она ушла? — спросила Вера, боясь, что вопросом преступает запретную грань. — Простите, если я не то спросила.

— Она погибла при испытании той самой установки, которая должна была накапливать энергию света. Эта установка была еще несовершенной, напоминала церковь, расписанную фресками. Жена пела в этой церкви великопостный канон Андрея Критского. Но я не сказал вам, что сфера божественного света соседствует с антимиром, где господствует мрак. То ли неверный расчет в конструкции, то ли чья-то злая воля, но пролившийся в установку божественный свет вдруг смешался с энергиями тьмы. Произошел раскаленный взрыв, в котором испарилась живая и неживая материя.

Он вдруг почувствовал такую пустоту, словно земля потеряла воздух, и нечем стало дышать. Эта пустота разрасталась вглубь и вширь, и в ней останавливалось сердце, мерк разум и переставал сверкать таинственный брил-

лиант, превратившись в пепел. Погасло созвездие Льва, и в нем исчезла голубая звезда. Умолкли все стихи, все песни, шум дождя и ветра, и он, неприкаянный, навеки одинокий, сидел у верстака, чувствуя пальцами шершавое дерево.

Вера подошла, положила ему руку на голову, стала гладить, как ребенка. И он сидел, сотрясаясь плечами, и рыдал.

ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

Утром он проснулся, лежал в своем спальном мешке и знал, что она не спит. Она не издавала звуков, не было слышно ее шагов, но он знал, что она не спит. Вышел из чуланчика и увидел, что Вера сидит за столом, лицо ее в утреннем солнце задумчивое и печальное.

— Вы сказали вчера, что была установка, накапливающая энергию света. Но ведь такой установкой является церковь. Я хочу пойти в церковь, исповедаться и причаститься. Можно?

— Конечно, — ответил Садовников, взглянув на часы. — Еще не началась утренняя служба. Мы можем поехать в Покровский храм к отцу Павлу. Он вас исповедует.

Вера благодарно встрепенулась, стала убирать под платок свои густые волосы.

Белый собор был в утреннем теплом солнце, с синими куполами, окруженный деревьями старого кладбища, от которого сохранилось несколько расколотых надгробий.

Храм был закрыт, у ограды собирались сонные нищие, кормили голубей, беззлобно переругивались. На ступеньках сидела старушка, — круглая голова покрыта платком, черная долгополая юбка напоминала подрясник, большие башмаки стоптаны в паломнических странствиях. Лицо с множеством мелких морщинок, намотанных крест-на-крест, как на клубочек. Среди этих трещинок и морщинок сияли наивные синие глазки, которые она подняла на Веру и Садовникова, когда они подошли к ступеням. И сразу же, словно ждала их прихода, стала говорить, перебирая цепкими пальцами деревянные четки:

— А в писании сказано, что скоро состоится восьмой нечестивый собор, и на этом нечестивом соборе все, какие ни есть на земле веры, соединят в одну веру, и не станет никакой. И придет конец православию. Спутают все времена, чтобы православный человек не знал, в какой час, в какой день за кого молиться. Церковный язык, на котором говорят ангелы, поменяют на людской, которым говорят в магазинах и на рынках. Из церкви уйдет благодать, и в нее нельзя будет ходить, нельзя будет молиться и отпевать покойников. Поэтому лучше сейчас помереть, тогда еще успеют отпеть. А потом, если умрешь, то и похоронят без отпевания, и не будет на тебе благодать. Отойдет от России Покров Пресвятой Богородицы. Тогда начнется страшная война. Сейчас молитвами Богородицы Россия заслоняется от ненавидящего ее врага. Кончится благодать, опадет Покров, и враги со всех сторон нападут на Россию. И тогда будет война и большая кровь. Но тот, кто на этой войне падет за Россию и омоется кровью, к тому благодать вернется, и он будет спасен...

Старушка говорила, будто читала. И не первый раз, и не первым слушателям. Казалось, она шла в своих стоптанных башмаках от города к городу, от прихода к приходу, и разносила весть, которой народ предупреждался о грядущих напастях. Вера слушала ее жадно, с болезненным вниманием, будто каждое слово касалось ее, должно было объяснить ее мучительную жизнь, ее тревожное будущее.

— Станут ходить по домам, отбирать паспорта и вручать пластиковые карточки, которые будут вместо денег и на которых начертано число зверя. Кто карточку возьмет, тот станет безблагодатным, и у того на челе обозначатся три шестерки — число зверя. Кто карточку не возьмет, тот не сможет ничего купить и никуда поехать. И не взявшие карточку станут помирать от

голода. Поэтому надо теперь заранее закупать продукты на полгода, а то и на год, чтобы не умереть с голоду. Кто карточку не возьмет, тот станет мучеником и подвергнется гонениям, как было при язычниках и при большевиках. В ледовые края пойдут эшелоны, в которые посадят тех, кто не взял карточки. Но первый эшелон мучеников весь спасется. Потому что идет потепление климата, и там, где сейчас льды, будут цвести вишни и яблони. После великих гонений, когда многие русские люди умрут за веру, наступит просветление, и в России будет царь, будет возрождение православной веры. И будет много верующих, особенно среди молодых. Но доброе время продолжится не долго, потому что через три года царя убьют. К этому времени в мире воцарится антихрист. Он будет повенчан на царство в Иерусалиме в еврейском храме. Хоть того храма сейчас нет, он будет возведен в три дня, потому что для храма уже все заготовлено. Патриарх, который приедет на венчание антихриста, увидит, что у того вместо ногтей когти. И громко об этом скажет, за что и будет убит. Всем надо молиться за патриарха…

Садовников внимал старушечьей проповеди, зная, что ее устами говорит тихая вековечная Русь, которая не принимает жестокого безбожного мира. Терпит от этого мира мучения, прячется от этого мира то в учение Аввакума, то в молитвенные слова Нила Сорского, то в стихи Есенина, то в тюремные трактаты Даниила Андреева. Это говорит другая Россия, отвергающая скверну и беззаконие во все века, от первых русских святых до новомучеников. Тех, кто выстоит, сбережет совесть и доброту, сердоболие и благородство, отзывчивость и чистоту помыслов. Кто примет муку за свою высокую веру и будет наречен святыми XXI века. “Претерпевших до конца Победа”.

— Когда начнутся гонения, и людям станут вручать пластиковые карточки с числом зверя, множество народа повалит в монастыри. В монастырях велено всех принимать. Потому обители заводят хозяйства, пашут землю, пасут коров, чтобы прокормить тех, кто придет к ним спасаться. Многие будут виноваты перед Господом, но Он простит тех, кто покается. В конце концов, Господь всех простит. Потому что Он милосерден, и имя Его — любовь.

Старушка умолкла, поморгала васильковыми глазками и полезла в котомку за горбушкой хлеба. Стала жевать, словно забыла о Садовникове и Вере. Оповестила их, исполнив предначертание.

— Неужели все так и будет? — спросила Вера, когда они отошли от ступеней храма. — Неужели не ждать радости, счастья, благополучия? Неужели мне больше не суждено танцевать, испытывать легкость и восхищение? Вы спасли меня, отогнали от меня мрак. Для чего? Для новых неизбежных мучений?

Она умоляюще смотрела на Садовникова, словно будущее было в его руках, и он способен своим чудесным даром отвести прочь все напасти, подарить ей хоть немного, хоть с опозданием, мгновения творчества, обожания и любви, на которые она уповала.

— Вы будете танцевать. Люди станут восхищаться вами. Вас будут любить. Вы будете окружены обожанием, — сказал он, видя, как просветлело ее лицо, и на нем засияли ее верящие глаза.

— Так и будет. Ведь вы можете все, я знаю.

К ним навстречу шел отец Павел, высокий, худой, в темном подряснике, перепоясанный в талии ремнем, по-стариковски бодрый, с военной выправкой. Его седая с чернью борода косо лежала на груди. Из-под косматых бровей грозно и весело смотрели глаза тем взглядом, каким полководец осматривает свое стройное, готовое к сражениям войско. Отец Павел был фронтовик, с боями дошел до Берлина.

— Благословите, отче. — Садовников шагнул к отцу Павлу, готовясь поцеловать его коричневую, с фиолетовыми венами руку. Но священник руки не подал, а троекратно расцеловался с Садовниковым, окружая его лицо своей колючей бородой. Вера робко подошла под благословение, и старец, сложив длинные пальцы щепотью, перекрестил ее трижды.

— Давно вас не видел, отец Павел. Как ваше здоровье?

— Жду, когда Бог к себе призовет. А он велит жить дальше. Значит, не все его задания выполнил.

На церковный двор собирались первые прихожане, немолодые женщины в чистых платках, пожилые мужчины, крестившиеся на синие купола. Нищие расселись у ворот, положив на землю шапки и картонные коробки. Отец Павел грозно хмурил брови, весело, чуть насмешливо поглядывал на прихожан. Излагал Садовникову свое учение, добытое в сраженьях, в лазаретах, в сокровенных молитвах, в изучении книг, а также в той неписаной мудрости, что рассеяна по русским городам и весям, звучит в людской молве, запечатлена в народном богословие.

— Так что, Антон Тимофеевич, Святую Русь и православную русскую империю изглодали масоны и жиды, которых государь Петр Алексеевич запустил на русскую землю. Он в Европу окно прорубил, а через форточку сатана и влетел на Русь. Они-то, масоны и жиды, знали, что военной победы им не одержать, пока на Руси крепка православная вера. И они нашу святую веру стали подтачивать исподволь, распуская масонскую заразу среди дворян, среди поэтов и офицеров, среди мещан и среди духовенства. Так что последний Государь император был предан масонами, засевшими в генеральном штабе и Синоде, в Государственной Думе и в самом близком государевом окружении. Царя-мученика повели на голгофу и там умучили и, захватив без всякого боя власть, принялись убивать русский народ, в котором еще жива была православная вера. Казаков и священников, крестьян и честных мещан. И Россия, Антон Тимофеевич, оказалась в когтях жидов и масонов, исповедующих тайну беззакония...

Садовников видел перед собой шевелящиеся в бороде губы отца Павла, но звук и смысл его слов улавливал не он сам, а спрятанная в глубине сознания бриллиантовая звезда, сокровенный кристалл, который откликался драгоценными переливами света. Золотые, алые, темно-фиолетовые, голубые лучи, как таинственная цветомузыка, изливались из волшебного кристалла. Эта была грозная музыка истории, творимой не людьми, а самим провидением. Лучи божественного света, невыносимого для глаз в своей ослепительной вспышке, именуемой Чудом.

— Так что, Антон Тимофеевич, жиды изводили русских людей, расстреливали, закапывали в землю живьем, предавали страшным казням, расчищая в России место для создания иудейского царства. И в окровавленную Россию повалили евреи со всего мира, занимали все видные места, когда что ни начальник, то еврей, что ни генерал, то еврей, что ни писатель, то еврей, а русский у них в денщиках, а тех, которые православную веру в себе сохранили, тех обмотали колючей проволокой. И не стало слышно на Руси православных молитв, не стало видно крестов, а только одни иудейские пентаграммы и серпы, которыми Русь под корень косили, и молотки, которыми гвозди в русские ладони вколачивали. И не было бы на земле такого государства, как Россия, и такого языка, как русский, а только один иврит. Но Бог смилостивился над Россией...

Ударил колокол. Голуби шумно взлетели. Служитель отворил двери храма.

— Заговорился я тут, — заторопился отец Павел. — Пора надевать облачение.

Служба шла медленно и торжественно, неуклонно наполняясь таинственной красотой. Так зацветают сады. Вначале голые темные ветки, сквозь которые сочится синева. Потом ветвистая крона становится розовой и малиновой от прихлынувших соков. Затем все дерево обрызгано прозрачным изумрудом проснувшихся почек. И внезапная, как бесшумный взрыв, белизна, могучая сила, вся в цветах, благоухает, гудит золотыми пчелами, и дерево в лазури под солнцем, как дивная Богородица, о которой ликует молитва: “Богородица Дева, радуйся. Благодатная Мария, Господь с тобой”.

Садовников стоял в стороне у столпа, а Вера ушла вперед, к алтарю, ее заслонили прихожане, и лишь иногда становилось видным ее бледное лицо и гибкие поклоны, а потом она словно исчезала, и вместо нее в высоком подсвечнике горели свечи.

Садовников слышал высокие страстные возгласы молодого священника, читавшего озаренную свечами книгу, и рокочущий голос отца Павла из глу-

бины алтаря: “Благословен Бог наш и ныне, и присно, и во веки веков, аминь!”. Сладостные воздыхания хора, в котором женские голоса напоминали золотое шитье. Видел, как солнце растопило золото алтаря, и он отекает медом. Дьякон кружил по храму с кадилом, развешивая сизые струйки дыма, перед которыми склонялись головы в светлых платочках, похожие на полевые цветы. Он чутко, с молитвенным замиранием сердца внимал волшебному языку, в котором, помимо слов, присутствовала неизречимая тайна, доступная не разуму, а только открытому сердцу. Его мысль то следовала за молитвой: “Слава Тебе, Господи, слава Тебе!”, и ему казалось, что перед ним струится тончайшая золотая нить. То эта нить исчезала, и он погружался в рокочущий и пьянящий гул, в котором реяли безымянные силы, клубились сладкие дымы, проносился молниеносный луч, зажигая на темной доске алое крыло, голубой хитон, золотистый воздетый перст.

“Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя!”

Его молитвы, возносясь к Творцу, захватывали своим порывом образы дорогих людей, с которыми он расстался здесь, на земле, но которые продолжали жить в бессмертных мирах, посылая ему на землю свою неземную любовь.

Он молился о бабушке, видя ее чудное лицо, карие сияющие глаза, слыша умиленный голос, когда она обращалась к нему: “Ангел души моей!”. И сама эта мысль о бабушке, его стремление увидеть, обнять, поцеловать ее седую голову уносила его к Творцу. Вера в то, что она жива, видит его, и им уготована встреча, — эта вера раскрывала над ним лучистый, уходящий ввысь коридор. Он летел по этому коридору, окруженный лучами, обнимал бабушку, которая все так же, как и в земной жизни, сидела в маленьком креслице, в тихой дремоте.

“Тебе поем, Тебе благословим, Тебя благодарим, Господи!” Храм наполнялся людьми. Ставили свечки, припадали губами и лбом к чудотворной иконе. Служка обносил прихожан медным блюдом, на которое падали деньги. Горбатая старушка снимала с подсвечников огарки и складывала в картонную коробку. Хор тянул свою золотую пряжу. А Садовников думал о маме, как она возвращалась домой с работы, и ее енотовый воротник пахнул снегом и тонкими духами. Он любовался ее прекрасным лицом, принимал ее шубку, на которой таял снег. И его детское сердце ликовало, — мама опять была дома, опять им предстоит чудесный вечер, и она станет читать ему Пушкина: “Мосты повисли над водами, вечнозелеными садами ее покрылись острова”. И “лоскутья сих знамен победных, сиянье шапок этих медных, насквозь простреленных в бою”. И сразу же, при мысли о маме, у его глаз возник прозрачный световод, улетающий сквозь своды храма в негасимый свет, где мамино лицо казалось иконописным лицом, и он припадал к нему шепчущими целующими губами.

Священники удалились в алтарь, и там, за резными вратами, на престоле, начиналось таинство, в котором небо сходило на землю, а земля устремлялась в лазурь. Материя преображалась в дух, пшеничный хлеб в божественное тело, алое вино в багряную кровь. И в этом претворении участвовало все мироздание, от крошечной, летящей в мирах пылинки, до ангельских вестников, трубящих в золотые трубы.

Таинство в алтаре продолжалось. Душа Садовникова в предчувствии чуда страшилась и ликовала, мучилась и благоговела. Звезда, тайно горевшая в глубине сознания, была той серебряной звездой, что лучилась в голубой Вифлеемской ночи. Садовникову вдруг начинало казаться, что идет снег, и подсвечник с огнями стоит среди снежной поляны. Ему чудилось, что вокруг туманятся осенние золотые леса, и нимбы святых неотличимы от сияющих берез и осин. Доносилось благоухание незримых весенних ландышей, и он слышал весенние переливы соловьев. А потом к его голове склонялась летняя ветка с тяжелыми алыми яблоками.

В эти минуты ожидания, когда в храме многоголосо разносилось: “Отче наш, сущий на небеси, да святится имя Твое”, Садовникову являлись те, о ком он не вспоминал многие годы. Учитель словесности с острым подбородком, седыми висками и серыми насмешливыми глазами, когда он декламировал вслух стихи Маяковского. Лейтенант из соседнего взвода, с которым

пили спирт из алюминиевых кружек, и к вечеру, пробитый крупнокалиберной пулей, он лежал в морге, и рана пламенела на голом запыленном теле. Садовников не молился о них, но чувствовал, что они, слушая пение, ожидают своего воскрешения.

По стенам храма побежали прозрачные волны света, словно за окнами было море, и храм плыл, как ковчег.

Внезапно Садовников ощутил бесшумный удар света, который понесся по храму, как весенняя буря. Этот свет зажигал тусклые лики икон, серебряное шитье на синем облачении священника, глаза прихожан. Этот свет вдруг коснулся Веры, которая стала на секунду серебряной и прозрачной, словно это была ее душа, и эта душа была драгоценна, прекрасна. Садовников испытал обожание, нежность, свою с ней божественную связь. Благодарность Господу, который ее вручал ему на бережение и любовь.

Царские врата растворились, и отец Павел, величавый, торжественный, вынес дары. Свершилось чудо преображения, материя превратилась в дух, не подвластный смерти.

Вернулись из храма домой, и день казался Садовникову нескончаемо прекрасным, он смотрел на Веру, будто она явилась ему в новой красоте, открылась ее чистая и такая драгоценная душа. В ней было все пленительно. Темные, со стеклянным блеском волосы, в которых вдруг возникал таинственный отлив, как в крыле лесной птицы. Белая жемчужная шея, на которой билась беззащитная голубая жилка, и ее хотелось накрыть ладонью. Вишневые глаза, в глубине которых дрожала солнечная искра, и ему хотелось поцеловать эти глаза и почувствовать, как щекочут губы ее ресницы. Когда она двигалась по комнате, за ней кружился рой бесчисленных разноцветных пылинок, и это были крохотные планеты, реющие в мироздании. Когда она садилась у открытого окна, он чувствовал, как восхитительно пахнут на клумбе белые и фиолетовые флоксы. Когда солнце светило на ее платье, то сквозь прозрачную, напоенную солнцем ткань он видел ее гибкое тело, в котором было столько танцующей грации, очаровательной легкости, что казалось, она вот-вот полетит.

Его зрение стало столь острым, что он различал за рекой, на туманном лугу хоровод бабочек-белянок. Его слух был столь чуток, что он слышал, как поет птица в синей листве языческого дуба. В преображенном мире все пело, благоухало, было исполнено жизни.

Он увидел, как деревянный Никола, стоящий на верстаке, осторожно опустил к ногам свой отточенный меч, поднял обеими руками священную книгу и осенил его и Веру крестным знамением, и под его деревянными веками радостно и влажно вспыхнули синие глаза.

Они пообедали, она вымыла посуду и вытирала полотенцем фарфоровую, с ромашками, кружку. Поймала на себе его обожающий взгляд:

— Сегодня в церкви я почувствовала, что окончательно выздоровела. Мне было так хорошо стоять среди этих молящихся женщин, чувствовать, что я одна из них, и все мы молимся об одном и том же. Чтобы на земле были мир и любовь. Чтобы те, кто нас на время покинул, знали, как мы любим их. И чтобы Господь даровал нам счастье. Когда я на вас посмотрела, я вдруг увидела, как из ваших глаз исходит чудесный свет. Он коснулся меня, и мне стало так хорошо.

— Милая вы моя, — тихо сказал он.

Когда кончился багряный августовский вечер, и сразу стало темно и звёздно, и городская окраина, где было мало фонарей и беспокойных отсветов, погрузилась в бархатную темноту, Садовников сказал Вере:

— Вы помните, шаман Василий Васильев говорил о созвездии Льва и одной, мало заметной звезде 114 Лео, координаты которой он вводил в космический навигатор? Об этой звезде Иннокентий Анненский писал: “Среди миров, в мерцании светил одной звезды я повторяю имя”. Ее таинственную музыку слышал Лермонтов: “И звезда с звездою говорит”. На нее, окруженную другими светилами, в предчувствии неизбежных утрат, смотрел Гумилев: “И гаснет за звездой звезда, истаивая навсегда”. Хотите, я покажу вам голубую звезду 114 Лео?

— Хочу, — сказала Вера.

Садовников повел ее в чуланчик. Отдернул штору, закрывающую одну из стен. Открылась узкая крутая лестница, ведущая к потолку, в котором виднелся закрытый люк. Он стал подниматься, увлекая ее за собой. Сквозь люк они проникли на чердак. Садовников включил свет, и они оказались в помещении под крышей, где стоял утлый диванчик, старые, уставленные книгами полки. Висели застекленные гербарии трав и цветов. Были разложены на столе окаменелые раковины, куски кремния с отпечатками древних папоротников. Лежал отшлифованный, с просверленным отверстием каменный топор. И среди этих ветхих предметов и природных раритетов сиял стеклом, сталью, драгоценными сплавами телескоп, — чудо оптики, электроники, вычислительной техники, — спасенный Садовниковым от уничтожения, укрытый в этом старом, на окраине, доме, где было мало ночных огней, и ночами над утлыми крышами текли и переливались созвездия.

— Вы астроном? — ахнула изумленно Вера. — Я догадывалась, что вы звездочет.

— Этот телескоп благодаря лазерному наведению и уникальной оптике способен проникать в самые отдаленные туманности, а компьютеры едва заметную пылинку превращают в звезду.

Он усадил Веру на диванчик. Сам разместился перед телескопом в поворотном кресле. Нажал кнопку, отчего крыша стала бесшумно раздвигаться. Выключил свет. И в нагретое за день чердачное помещение хлынула душистая ночная прохлада, и звезды, белые, бриллиантовые, разноцветные, потекли, задышали, и чердак, окруженный звездами, стал покачиваться, словно это была ладья в океане.

Компьютер выбрал на карте звездного неба созвездие Льва, труба телескопа бесшумно шарила среди туманностей и галактик. И на Садовникова из черной бездны вдруг прянул бриллиантовый зверь, разбрасывая могучими лапами звезды, сверкая ликующими алмазными глазами. Душа Садовникова возликовала в ответ. Космический Лев направлял ему летучие лучистые силы, и кровь счастливо звенела, омытая небесным потоком, и каждая кровяная частица была крохотной звездой, звенела и мчалась среди небесных светил.

Компьютер управлял окулярами, увеличивал мощь телескопа, и в звериной гриве, полной звездной пыли, обнаружилась пушка, усыпанная звездами, — ее ствол, лафет и колеса драгоценно переливались, и в недрах ствола туманился снаряд, которому было не суждено ударить в рейхстаг. Тут же зыбко мерцало зданье рейхстага, и на его стенах серебрились подписи, оставленные русскими пехотинцами. Садовников смотрел на пушку. Это она из небес рассказала свою историю юноше Коле Скалкину.

Компьютер растворял одни за другими небесные врата, открывая зрачку Садовникова бесконечные глубины неба, пока не распались серебристые туманы, не раздвинулись лучистые волокна, и не явилась во всей своей прозрачной красоте и великолепии голубая звезда 144 Лео. Она была окружена едва заметным сиянием. В ней трепетала и пульсировала таинственная сердцевина, из которой синева выплескивалась, как влага из животворного источника. Это был источник, плодоносящий в глубине Вселенной, и влага, которая из него изливалась, орошала Вселенную живой водой, зажигала погасшие светила, возвращала к жизни умершие планеты. Садовников с благоговением смотрел на звезду, и ее синева напоминала небо, какое бывает в вершинах мартовских берез, цвет ангельских плащей на иконе рублевской Троицы, и тот восхитительный синий луч, который загорался в утренней росинке, когда он мальчиком вышел на крыльцо.

Звезда дышала, звала. Она видела Садовникова, любила его. Говорила, что он не случаен в мироздании. Мироздание знает о нем и любит. В ответ в Садовникове молитвенно отзывалась каждая кровинка, каждый вздох и удар сердца. Отзывалась сокровенная тайна, которую он прятал в сердцевине разума, и которая восхищенно откликалась на зов голубой звезды. Эта тайна была такой же голубой звездой, и обе эти звезды говорили, передавали одна другой свою любовь, свое упование на пленительное счастье, свою весть о бессмертии.

Садовников почувствовал, как на плечи его легли легкие руки. Вера подошла сзади, и он ощутил на плечах ее тонкие пальцы. Голубая звезда бесшумно полыхнула и утонула в черной глубине среди жемчужных россыпей и серебристых туманов. Не оборачиваясь, он положил ладони на ее пальцы. И она говорила:

— Я не знаю, кто вы. Но знаю, что вы добрый, могучий, отважный. Вы всем желаете блага и ко всем спешите на помощь. Вы спасли меня в самый страшный час мой жизни, кинулись и заслонили от черных лучей. Я хочу служить вам, быть рядом с вами, ухаживать за вами. И если вдруг вам станет худо, и в вас вопьются черные лучи, я брошусь и заслоню вас, как это сделали вы.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Между тем, город П. переживал нелегкое и странное время, отмеченное многими напастями. И напасти эти были как-то связаны с человечками, буквально наводнившими город. Целые россыпи деревянных истуканчиков усеяли крыши зданий. Многочисленные ватаги красных пришельцев скопились у административных зданий, узлов связи, полицейских казарм. Казалось, город П. оккупирован загадочным иностранным легионом, и патрули в красной оккупационной форме контролируют улицы, учреждения, резиденции влиятельных граждан.

Жители, которые вначале отнеслись к появлению красных человечков как к чьей-то забавной затее, постепенно стали замечать вредное воздействие этих с виду безобидных кукол. Если к ним приближались слишком близко, вокруг истуканчиков создавалось едва заметное желтоватое свечение, и иногда проскакивал электрический заряд, причинявший боль любопытному. Обитатели домов, на крышах которых угнездились пришельцы, жаловались на головную боль, потерю сна, внезапный беспричинный страх.

Над городом, никогда не знавшим смога, образовалась прозрачная темная дымка, как во время солнечного затмения. Из-за нехватки света стали вянуть цветы на клумбах, из города улетели птицы, кошки и собаки выражали высшую степень тревоги, словно накануне землетрясения.

В ветхих домах, сохранившихся на окраине, наблюдался массовый исход тараканов. Насекомые выстраивались в тысячные колонны, двигались лавой по дворам, тротуарам и мостовым. Автомобили давили их, а тараканы, как завороженные, продолжали уходить из города, как уходят беженцы, спасаясь от нашествия.

Клиники были переполнены пациентами, которые жаловались на душевное расстройство, уныние, депрессию, желание покончить собой. В психиатрической лечебнице случился бунт больных, которым показалось, что больница горит, и они рыдали в палатах, бились о стены, пытались выброситься сквозь решетки, уродуя себя, пока догадливый врач-психиатр не вызвал пожарную машину, и та поливала здание, а врач ходил по палатам, убеждая больных, что пожар потушен.

В колонии строгого режима, что располагалась неподалеку от города П., произошло восстание заключенных. Отчаянные рецидивисты и уголовники разоружили охрану, спалили бараки и вырвались на свободу. С автоматами грабили зажиточные коттеджи, насиловали женщин, и их предводитель нарядился во все красное, назвался Пугачевым и объявил себе вожаком всех красных человечков, приказав губернатору Петуховскому явиться к нему на поклон. Однако был убит в перестрелке с ОМОНом.

Среди обычных правонарушений и преступлений были зафиксированы вопиющие. Дети младших классов, мальчики и девочки, связали старенькую классную руководительницу, облили бензином и подожгли, фотографируясь на фоне кричащей учительницы, а потом выложили снимки в интернете. Музыкант местной филармонии, тихий и благопристойный человек, повесил на кухне свою жену, сел у ее ног и играл на виолончели Моцарта и Брамса.

И сразу в нескольких городских районах объявились людоеды. Обглоданные ими людские кости находили в парке и на берегу реки.

Участились выкидыши. Причем женщин постигало несчастье в момент, когда они находились вблизи красных человечков. Так, служащая банка, проходя мимо стоящего в вестибюле красного истукана, вскрикнула, села на пол и лишилась плода, истекая кровью. Другая женщина, ранее страдавшая бесплодием, но приходившая к священному дубу, чтобы, наконец, зачать, неосторожно приблизилась к красному человечку, и ее плод был иссечен из нее лучом лазера.

И ужасным показалось зрелище, когда жители города утром вышли на набережную и увидели, что по всей реке брюхом кверху плывет дохлая рыба. Большие, малые, совсем крохотные мальки качались на волнах, покрывая реку, словно вверху по течению случился ядовитый сброс в воду. Хотя там не было никаких предприятий, и рыба подохла под воздействием таинственных излучений.

И тогда началось массовое бегство из города. Люди, одержимые страхом, продавали по бросовым ценам квартиры и уезжали куда глаза глядят. Газеты запестрели статьями о чудовищном эксперименте, который губернатор Петуховский поставил на гражданах города, чтобы добиться победы на предстоящих выборах. О федеральной службе охраны, которая перед визитом Президента якобы наводнила город боевыми роботами. О пришельцах из Космоса, которые захватили город и избавляются от его обитателей. Город П. замер в предчувствии катастрофы. Над ним стояла тусклая дымка. Трава на газонах пожелтела. Розы на клумбах осыпали свои лепестки. И повсюду — на крышах, у подъездов, на папертях храмов, на кладбищенских плитах — восседали молчаливые красные человечки.

Губернатор Степан Анатольевич Петуховский укрылся от изнурительных забот на своей загородной, потаенной вилле. Уже встал из благоухающей ванной. Отер свое немолодое мясистое тело махровым полотенцем, с удовольствием разглядывая в зеркало розовые пятна здоровья, появившиеся на плечах и груди. Причесал гребешком влажные, начинавшие редеть волосы. Не преминул взглянуть на свою большую белую ладонь, прослеживая на ней линию жизни, которая спускалась до самого запястья, суля долгие безбедные годы, прибавление богатства и славы, скончание века в неопределенном туманном будущем, от которого его отделяло множество благополучных и насыщенных дней.

Он вышел в гостиную, обставленную золоченой мебелью, которую выполнил для него известный краснодеревщик из Праги. Среди китайских ваз, африканских масок, индийских бронзовых танцовщиц едва заметный, на ампирном столике, стоял телефон цвета слоновой кости, без циферблата, с советским старомодным гербом. Соединял губернатора с Кремлем, откуда иногда раздавался вкрадчивый, мурлыкающий, как у кота, голос, услышав который Степан Анатольевич вытягивался во фрунт.

В гостиной губернатора дожидался помощник, который собирался сделать доклад.

— Ну, ты чего, покоя мне не даешь? Кто я, Сталин или Наполеон, чтобы с утра до вечера работать? Может у меня быть досуг, или вы меня круглые сутки будете терзать, собаки вы эдакие?

— Вы сами, Степан Анатольевич, велели остаться и доложить о тревожной обстановке в городе. Как бы нам перед визитом Президента не нажить неприятностей.

— Ну говори, что у тебя, — Степан Анатольевич со вздохом утомленного государственного мужа опустился в золоченое кресло.

— Отчетность по происшествиям в связи с размещением в городе красных человечков. Число самоубийств увеличилось в шесть раз. Число немотивированных преступлений — в восемь раз. Число массовых уличных драк — в четыре раза. Число психических расстройств — в двенадцать раз. Число уезжающих навсегда из города — в три с половиной раза. — Помощник многозначительно посмотрел на губернатора, гордясь своей осведомленностью. — Страхи, Степан Анатольевич, которые распространяются в городе,

привели к появлению слухов, достоверность которых трудно проверить. Так, в сводках дорожно-транспортных происшествий упоминается, что два красных человечка угнали с платной стоянки "Лендкрузер", гоняли на большой скорости по ночному городу, пока не врезались в витрину универсама, повредив магазин и машину. Якобы трое красных человечков учинили дебош в ночном клубе "Хромая утка", где открыли стрельбу из травматического оружия, ранив двух посетителей. Группа красных человечков совершила налет на кассу супермаркета и похитила дневную выручку. И, наконец, два красных человечка напали на учительницу музыки, которая возвращалась домой по вечерней улице, и жестоко ее изнасиловали. Все это вызывает ропот в городе и грозит нарушить социальную стабильность, которой вы добивались с такими усилиями. И мы можем столкнуться с волнениями как раз накануне визита Президента.

Помощник умолк, и Петуховскому показалось, что тот тайно злорадствует, упрекает губернатора в неспособности управлять губернией. Ждет приезда Президента, который подпишет указ о недоверии, и место уволенного Петуховского займет его конкурент и соперник, глава областной думы Дубков Иона Иванович.

— Как же звали этого прохиндея, который расставил на всех углах эти крашеные деревянные чурки? Откуда взялся? Кто привел?

— Этого господина зовут Виктор Арнольдович Маерс.

— Еврей? Кто позволил? Кто допустил?

— Я вам доложил, Степан Анатольевич, что этот господин ссылался на Владислава Юрьевича. Вот вы его и приняли.

— Мало ли какие есть на свете Владиславы Юрьевичи! — заносчиво воскликнул Петуховский. И тут же осекся, посмотрев на правительственный телефон. Вспомнил мурлыкающие, вкрадчивые интонации, от которых пугливо замирало сердце. — Пора с этим кончать. Все чурки убрать и сжечь. Этого Маерса выпроводить из города, а перед этим снять показания в полиции. Можешь быть свободным, иди!

Степан Анатольевич отпустил помощника, испытывая раздражение, был готов перевести его в гнев и обрушить на кого угодно.

Он услышал тихие шаги, и в гостиную вошел человек в длинном, до пола балахоне с остроконечным капюшоном, какие бывают у католических монахов. Человек остановился перед Степаном Анатольевичем, опустил капюшон, и Петуховский узнал Маерса. Невзрачное одутловатое лицо. Маленькие тусклые глаза. Белесые брови. Лысеющий череп. И на бледном лбу яркое, как лепесток мака, пятно, словно со лба содрали лепесток кожи.

— Вы? Маерс? Как вы сюда попали? Вас пропустила охрана? — изумился Петуховский.

— Но вы же сами, Степан Анатольевич, послали за мной. Я бросил все дела и приехал. Хотелось рассказать, как идут приготовления к празднику. Поверьте, это будет нечто грандиозное. Президент будет в восторге. Не сомневаюсь, вас ждет повышение.

— Вы что, издеваетесь? — Петуховский побагровел, видя, как весело заблестели глазки Маерса под белесыми бровями. — Вы уставили весь город своими чертовыми чурками, от которых свихнулась половина населения, бабы рожают уродцев, женихи и невесты сразу после венчания идут на мост и кидаются в реку, а мой министр культуры повесился в кабинете, потому что в его окно смотрел этот красный гном.

— Но, Степан Анатольевич, все это наветы. Вы же современный человек. Я работаю во благо города и вас лично. Когда президентский кортеж появится на центральной площади, где будет возвышаться огромная деревянная скульптура красного цвета...

— Молчать! — взревел Петуховский, видя, как из глаз Маерса полетели смешливые лучики. — Молчать, я вам говорю! — крик его был истошен, щеки стали свекольного цвета, на кулаках взбухли и затрепетали синие вены, так что Маерс, боясь удара, отвернулся и заслонил лицо балахоном.

— Дурите русского человека, маерсы, баерсы! Сколько же вас расплодилось на русском теле! В унитаз загляни, и оттуда какой-нибудь Маерс выгля-

дывает! Уже ни одной русской песни не услышишь, ни одной русской картины не увидишь. Везде ваши еврейские штучки, от которых душу воротит. Ведь эти твои красные гномы, это же черти, которые пришли за русской душой! Я, конечно, не сталинист, но понимаю Сталина, который вас, маерсов, гонял. Да не догонял, вы же его и уморили!

Петуховский гневно расхаживал вокруг согбенного Маерса, прятавшего лицо в капюшон. Ему хотелось пнуть его, поддеть под ребро, услышать жалобный крик.

— Я же за твои мерзкие выходки могу тебя упечь лет на десять. Могу тебя в соляные шахты отправить, и ты станешь, как соленый огурец. И будет у нас по этому поводу праздник. И вся Европа приедет смотреть. А мы тебя будем показывать и деньги брать в областной бюджет. Вот такая рыба фиш получается! Чего ж ты молчишь?

Петуховский испытывал наслаждение, чувствуя, как жалобно склонился Маерс, как страшится он этих грозных слов, как бурлит в нем гнев, который он понесет в своей набухшей от негодования груди в свои начальственные покои.

— Ну, чего ты, Мойша, молчишь?

Маерс медленно распрямлялся, боясь показать разгневанному губернатору свое несчастное лицо. Выпрямился, сильным движением сбросил блеклый балахон. И перед изумленным Петуховским предстал морской офицер в белоснежном кителе, в золотых эполетах, с золоченым парадным кортиком, с набором орденских колодок, среди которых на пурпурной шелковой ленте красовалась сердцевидная медаль. Лицо офицера было властным, презрительным. Нижняя губа оттопырилась, выражая брезгливость. Ордена, позументы, золоченый кортик сияли, и на лбу офицера пламенел лепесток мака.

— Позвольте представиться. Виктор Маерс, коммандер, офицер американской военно-морской разведки "Неви Энэлайзес". Глава секретного отдела НАСА по вопросам инопланетных цивилизаций. Магистр парапсихологии Йельского университета. Профессор богословия в Гарварде. Прибыл в город П. по договоренности с правительством России и с согласия русских специальных служб для проведения специальной операции в интересах США и России.

Все это Маерс произнес чеканно, с командирскими интонациями человека, привыкшего повелевать и ожидающего от других безоговорочного подчинения. Петуховский вначале был ослеплен великолепной формой, обилием наград и титулов. Но его минутная робость сменилась еще большим негодованием, ибо перед ним стоял лицедей, чьим ремеслом были обман и шарлатанство.

— Как ты сказал? Каких собачьих наук ты магистр? Каких межпланетных сортиров ты богослов? На какой толкучке купил свои бляшки? Я тебя сейчас отправлю в изолятор к уголовникам, и они тебе вставят космический зонд и отправят в другую галактику.

Маерс повел голову туда, где на ампирной тумбочке стоял телефон правительственной связи. И телефон зазвенел тем требовательным нетерпеливым звоном, который заставил Степана Анатольевича опрометью кинуться и снять трубку. И в гладкой, цвета слоновой кости трубке мягко зарокотал, замурлыкал голос с едва заметной насмешкой, которая приводила в трепет губернаторов и министров.

— Слушаю вас, Владислав Юрьевич! — благоговейно произнес Петуховский, вытягиваясь во фрунт.

— Степан Анатольевич, — с ласковыми кошачьими интонациями мурлыкал голос, но Петуховский не обманывался, зная, как молниеносно и беспощадно бьют когти пушистой и ласковой лапы. — У вас там какие-то неприятности? Уж будьте добры, постарайтесь справиться с ними до визита Президента. Этот визит готовит мой личный представитель Виктор Арнольдович Маерс. Оказывайте ему максимальное содействие. Его полномочия подтверждает Президент и наши спецслужбы. Кстати, современное искусство является оружием, которое может разрушить или спасти государство.

Я знаю вас как крепкого руководителя и верного государственника. Желаю удачи.

В трубке, которую сжимал кулак Петуховского, угасал звук. Белоснежный мундир американского морского офицера сверкал эполетами, орденами, полученными в неизвестных Петуховскому сражениях. Острые глаза из-под белесых бровей смотрели спокойно и повелительно. Пламенел на лбу лепесток красного мака. Петуховский, ошеломленный, растерянный, искал слова, чтобы повиниться перед могущественным визитером.

— Не беспокойтесь, Степан Анатольевич, ваша реакция на мое появление вполне предсказуема. Все мы немножко антисемиты, и все мы имеем в друзьях несколько симпатичных евреев. Давайте приступим к делу. Надеюсь, что буду понят.

— Так точно, Виктор Арнольдович! — Петуховский хотел было щелкнуть каблуками, но на ногах его были восточные чувяки, и голые пятки, ударив одна о другую, не произвели желанного звука.

— Быть может, глядя на эти боевые награды, — Маерс указал на свои орденские колодки, среди которых пылало "Пурпурное сердце", — вы поймете, что я приехал в город П. не для того, чтобы проводить художественный фестиваль и удивлять ваших обывателей заморскими фокусами. Я приехал сюда в связи с чрезвычайными обстоятельствами. Делегирован не только российской ФСБ и генеральным штабом, но и начальником объединенных штабов США, Госдепартаментом и специальными службами. Среди последних — мало кому известная Служба космической безопасности. Эта служба противостоит угрозе столкновения земли с крупным метеоритом. Но в еще большей степени она готовится отразить атаку внеземных цивилизаций. И эта атака ожидается в ближайшее время, и объектом атаки выбран ваш город.

Степан Анатольевич, оглушенный метаморфозой Маерса и телефонным разговором с мурлыкающим богоподобным существом, плохо понимал услышанное. Улавливал звук, а не смысл. Его волновало красноватое пятно на лбу Маерса, напоминавшее смотровой глазок в асбестовой печи крематория, куда он однажды заглянул, совершая инспекцию городских коммунальных служб. В печи бушевал огонь, пламя охватывало гроб. Теперь Степан Анатольевич мучительно гадал, не увидит ли он, если приблизит свой глаз ко лбу Маерса, раскаленный добела свод печи и гроб, из которого вылетает огненный факел.

— Атака приурочена к визиту в ваш город Президента России и имеет целью захват Президента. Незыблемость российской власти, обеспеченная парламентскими технологиями, силовыми средствами, манипуляциями типа "Тандем", а также ужасающим положением народа, — эта незыблемость разрушается внезапной атакой из Космоса и изъятием центральной фигуры власти. Вслед за этим власть переходит к космическому правительству, которое начинает формировать другое общество, основанное на космических ценностях. Эти преобразования коснутся не только России, но и всего человечества, и сулят разрушить весь уклад, который складывался на земле за последнюю тысячу лет. Америка со своей технической и военной мощью, достижениями в области парапсихологии и космологии предпринимает действия для отражения атаки. Поэтому я здесь. И вы поступаете в мое распоряжение.

Петуховский, наконец, стал понимать смысл услышанного, и это понимание не испугало, а развеселило его. Театрализованное представление продолжалось. Перед ним был все тот же актер, но играющий новую роль. Игра, которая ему предлагалась, напоминала компьютерную. Не слишком увлекала его, была тиражирована. После нескольких голливудских фильмов, снятых на эту тему, космические пришельцы могли волновать только школьников младших классов. Он же, утомленный хозяйственными заботами и политическими интригами, предавался другим играм. Играл в другие куклы, одна из которых, милая, синеглазая, ожидала его в полутемной спальне на розовых простынях.

— Космические, говорите, пришельцы? Да ведь народ считает ваших красных человечков пришельцами из Космоса. От них волосы дыбом встают.

Уж вы, будьте так добры, Виктор Арнольдович, уберите этих чертенят из города.

— Вы думаете, с вами шутки шутят? Всю жизнь занимаетесь канализацией, и лень в небо взглянуть! Вам не известно, что последние двадцать лет ваш город является объектом космического наблюдения? Что в небе над городом регулярно появляются космические разведчики?

— Да ведь это брехня! Бабьи сплетни! По пьянке мужикам какие НЛО не привидятся!

— Тупица! Грязная развратная тупица! — Маерс с отвращением глядел на Петуховского, и тому казалось, что в смотровом глазке на лбу Маерса бушует огонь. — Я бы с наслаждением оторвал тебе башку, но в этом городе некем тебя заменить, идиот на идиоте. Смотри сюда!

Маерс подпрыгнул, повис на мгновение в воздухе, начертав в пустоте прямоугольник, который наполнился млечным свечением, как экран плазменного телевизора. Плеснул на экран ладонью, словно стряхивал незримые брызги. И на экране возникло изображение. Над крышами города в ночном небе слабо покачивалось небесное тело, напоминавшее голубоватую медузу. Светящийся полупрозрачный пузырь, окруженный волнистой бахромой, по которой пробегали внезапные конвульсии. И тогда в глубине пузыря начинало что-то темнеть, и на город, на крыши, на остроконечный шпиль, на высокую арку, на колоннаду падали призрачные голубоватые отсветы.

Петуховский узнал место, над которым появилась медуза. Эта была улица Комсомольская, переименованная в проспект Гайдара. Шпиль возвышался на Дворце пионеров, где теперь размещался банк. Арка стояла у входа в городской парк, теперь закрытый для посещений — он был отведен под строительство элитных коттеджей. Колоннада вела в Аллею героев, застроенную сегодня торговыми лавками.

— Дальше! — Маерс снова плеснул рукой.

Над площадью, где возвышался супермаркет, кружилась карусель машин, вспыхивали вечерние фары, в малиновой заре виднелись огненные ромбы. Их отточенные кромки казались расплавленными. Они слабо трепетали, словно удерживали себя в небе. Затем стремительно метнулись все в одну сторону, и вся эскадрилья исчезла вдали, оставив после себя мерцающий след. Петуховский узнал площадь, которая когда-то носила имя Ленина, а теперь звалась площадью Свободы. Но происхождение загадочных ромбов, улетевших со скоростью светового луча, было неясным.

— Дальше! — Маерс брызнул рукой.

Открылась река с мостом, главы собора, вершины деревьев, и в пустоте небес замерцали тонкие пунктирные линии мертвенного зеленоватого цвета. Они складывались в геометрические фигуры, в цифры, иероглифы, будто кто-то старался объясниться с жителями Земли, направлял им послание, ждал ответа. Линии собрались в ослепительную точку, которая умчалась, оставив над городом мерцающее облако, как след фейерверка.

— Это лазер? Комбинированные съемки? — Петуховский чувствовал, что мозг его вяло колышется, как бесформенный студень, и мысли в нем — как рыбы в заливном…

— Это съемки сделаны нашей агентурой. Их обработали в аналитическом центре НАСА. Это образы, которые при дешифровке оказались календарными датами Второй мировой войны, ее Восточного фронта. Битвы под Москвой, Сталинградом, Курском, операция “Багратион”, взятие Берлина. Эти послания предназначались для космического подполья, которое законспирировано в вашем городе. Красные человечки, что вам так досаждают, — это разведывательные аппараты, выявляющие космических подпольщиков.

Голова Петуховского напоминала эмалированную миску, в которой застыла рыба, и этой рыбой был он сам, окруженный студнем, и у рыбы были два остановившихся белых вареных глаза.

— Вы говорите, подполье? Зачем оно?

— Оно готовит площадку для космического десанта. С их помощью будет осуществлен захват Президента. Мои разведывательные аппараты выявили подпольную сеть, и вам надлежит арестовать подпольщиков. Вот персо-

нальный список. — Маерс извлек из кармана листок бумаги и стал читать: — Лодочник затона по прозвищу Ефремыч. Врач психиатрической лечебницы Зак Марк Лазаревич. Директор детского приюта Анна Лаврентьевна. Шаман Василий Васильев. Колокольных дел мастер Игнат Трофимович Верхоустин. Сторож в мемориальном комплексе Аристарх Пастухов. Ученик средней школы Коля Скалкин. Архиерей Покровского собора отец Павел Зябликов. Все эти лица должны быть немедленно арестованы. Ордера на их арест уже подписал Генеральный прокурор.

Петуховскому казалось, что его морочат. Над ним издеваются. Его разговор с Маерсом записывают, чтобы потом, в разгар избирательной кампании, опубликовать и объявить его сумасшедшим. Но пламенело на груди Маерса "Пурпурное сердце", отливал костяным блеском телефон правительственной связи, и у рыбы в прозрачном холодце был выгнут хвост.

— Но как вы будете спасать Президента?

Маерс холодно и жёстко посмотрел на Петуховского:

— Вам не следует знать детали операции. Над вашим городом, на высоте нескольких сот километров разгорится грандиозная битва. Эскадра звездолетов станет приближаться к земле, и корабли один за другим начнут взрываться, попадая в заградительное поле, которое мы установим на их пути. Это будут взрывы громадной мощности, озаряющие Солнечную систему. Салют, который будет виден во всей Галактике. Мы рассчитываем последствия этих взрывов. Они изменят наклон земной оси, что приведет к климатической катастрофе и, возможно, к затоплению части Европы. На этот случай разработан план "Аркаим" по переселению европейцев на территорию России, где установится климат Средиземноморья. В результате этих взрывов на Луне появится вода и первичная атмосфера, что сделает ее пригодной для обитания. Запаситесь, Степан Анатольевич, закопченными стеклышками, чтобы наблюдать ослепительный фейерверк.

Маерс сухо засмеялся, и Петуховскому снова показалось, что над ним издеваются, зло разыгрывают, и он ответил на насмешку насмешкой:

— И что же, Виктор Арнольдович, привезете из Америки в наше захолустье свои антиракеты? Развернете здесь новый позиционный район? Как вы станете сбивать этих опасных пришельцев? Концертными гитарами под английские песенки?

— Вы очень проницательны, Степан Анатольевич. Именно гитарами и английскими песенками. Ваша проницательность дает мне право рекомендовать вас на кафедру космологии, где вас ждет блестящее научное будущее. — Маерс не взорвался, не накричал на Петуховского, а, казалось, был склонен к вразумлению. — Новая космология учит, что наша Вселенная соседствует с двумя другими, отделяет их друг от друга. Вселенная Света и Вселенная Тьмы. Каждая основана на различных видах энергии, которые, соприкасаясь, производят взрыв, способный уничтожить мироздание.

— А для чего эти эстрады, эти концерты, эти гитары и английские песенки? — пролепетал Степан Анатольевич.

— Эстрады, на которых будут круглосуточно проходить концерты, — это генераторы, производящие энергию Зла. Именно они повесят над городом непроницаемый защитный покров, в котором будут сгорать и взрываться звездолеты. Мы постараемся, чтобы в городе в эти дни совершались злодеяния, которые с помощью магической музыки будут транслироваться в ближний космос, где разразится космическая битва. Вам, господин Петуховский, надлежит участвовать в одном из концертов. В каком — вам будет указано. Теперь же немедленно приступайте к аресту подпольщиков.

Петуховский слушал, как околдованный. Смотровой зрачок на лбу Маерса трепетал оранжевым светом. Петуховский, как в лунатическом сне, стал приближать свой глаз к тугоплавкому стеклышку. Увидел бесцветный от жара свод печи. Распадавшийся, охваченный языками пламени гроб. Кипящего мертвеца, который поднимался из гроба. Уродливо выгибал руки, выдувал из оскаленного рта огненный факел. И этим сгоравшим покойником был он, Степан Анатольевич Петуховский. Его тело отекало горящим жиром, и сквозь сгоравшее сало и мясо лезли черные кости.

— Кстати, Степан Анатольевич, пришельцы, о которых мы говорили, — не такие уж и пришельцы. Они имеют прямое отношение к бывшему научному центру, который располагался в вашем городе и занимался секретными изысканиями. — Маерс повернулся на каблуках и направился к выходу в своем белоснежном кителе, на котором светились награды за военные подвиги и пламенело "Пурпурное сердце".

Петуховский видел в окно, как Маерс садится в машину, и водитель, похожий то ли на араба, то ли на цыгана, открывает перед ним дверцу.

ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ

Баня, как всегда, была великолепна. Стены и лавки в парной были выскоблены и чуть слышно звенели. Булыжники в каменке казались седыми, и над ними витал бесцветный жар. Вода из ковша, падая на раскаленные камни, шумно взрывалась, и огненные языки лизали голые животы и спины, глаза на мгновенье выпучивались, рты стенали и охали, а розовые тела становились стеклянными от пота. А потом все сидели среди горячего, пахнущего эвкалиптом тумана, свесив носы, и считали падающие с них капли. Ошалев от жгучего пара, шумно вываливались из парной, падали в ледяную воду бассейна, орали, хохотали, вылезали, как из проруби, хлюпали босыми ногами по кафелю, шатаясь, шли к столу, где блестели бутылки, нарядно и разноцветно лежали на тарелках закуски. Чокались, жевали, закутанные в простыни, как патриции, и казалось, над их головами летают светлые духи.

Они обсуждали тему, которую навеяли последние события в городе. Город оккупировали красные человечки под командованием американского полковника Маерса, которому губернатор Петуховский передал свои властные полномочия. Это было неприемлемо для русских людей. И они, русские люди, собравшись в бане, готовили восстание. Готовили народную войну. Возглавить народное сопротивление надлежало председателю областной Думы, лидеру местного отделения правящей партии Ионе Ивановичу Дубкову, который находился тут же, среди заговорщиков. Его глаза, вареные от жара, мокрые от выпитого виски, вяло катались под белесыми бровями от одного говорившего заговорщика к другому.

Помимо Ионы Ивановича в банном заговоре участвовал вице-губернатор Находкин, тонкий, с узкими плечами и маленькой змеиной головкой, на которой таинственными изумрудами мерцали маленькие зеленые глазки. Главный полицмейстер, полковник Михаил Федотович Денежкин, среди друзей просто Мишенька, с открытым крестьянским лицом, пшеничными волосами и торсом силача, на котором поигрывали плотные мускулы. И областной прокурор Груздь, в кругу друзей — Гриб, с коричневой кожей, несимметричным лицом, на котором вдруг появлялась отрешенная, не к месту, улыбка, заставлявшая трепетать подследственных.

— Но прошу вас, други мои, не умалять предстоящие трудности и опасности, — предостерегал вице-губернатор Находкин, мерцая чуткими изумрудными глазками. — Этот Маерс награжден медалью "Пурпурное сердце" за участие в иракской войне. Говорят, он лично изловил Саддама Хусейна и лично набросил ему на шею петлю. Те страшные кадры с места казни Саддама сделаны Маерсом. Нам нужно быть крайне бдительными.

— Я сам накину петлю на шею этому Маерсу и вздерну его именем народного трибунала. — Прокурор Гриб своим коричневым морщинистым лицом и впрямь напоминал сморчок. Но лунатическая улыбка, внезапно озарившая подслеповатое земляное лицо, придавала ему сходство с болезненным мечтателем и сочинителем садистских стихов. — А заодно повесить губернатора Петуха, как повесили генерала Власова за сотрудничество с Гитлером. Петух совсем оборзел, крысятничает, обещал мне землю под коттедж в Священной роще и кинул меня.

— Здесь у нас не Ирак, а Россия, — весело поигрывал мускулами полковник Мишенька. — Там ему дали "Пурпурное сердце", а здесь мы ему вырвем сердце и посмотрим, какое оно — пурпурное или цвета говна. Я ему

ДТП устрою, и его кости в полиэтиленовый мешок соберут. Я ему снайпера на маршрут посажу, и он ему черепушку просверлит. Он в Россию своими ножками притопал, а обратно его ногами вперед понесут. А Петух оказался сволочью, мне бизнес перекрыл. Отнял развлекательный центр и бабе своей передал. Пора Петуха менять.

— Нет, други мои, — не соглашался с предложенной тактикой вице-губернатор Находкин. — Надо русский народ поднимать. Надо собирать ополчение. Мы, русские, терпим, терпим, а потом и взыграем. Сперва отступаем. Москву отдаем, а потом перекрестимся и вперед. Гоним их обратно до Варшавы, до Парижа и до Берлина. А сейчас, други мои, отступать некуда, за нами Урал. Надо клич кинуть, шапку по кругу пустить, кто сотню положит, а кто миллион. А вождь у нас один, Иона Иванович. Его народ любит. За ним и партия, за ним и братва. Веди нас, Иона Иванович. Сбросим иго, ощиплем Петуха, и тебе быть губернатором!

Все дружно взялись за рюмки, стоя чокались с Ионой Ивановичем. А тот остался сидеть, мутно озирая собравшихся, играл желваками, и было видно, как в нем закипает лютая злоба, столь необходимая в ходе народной войны.

— Американцы совсем обнаглели, — полковник Мишенька напряг бицепс и, скосив глаза, любовался на свою перевитую жилами выпуклость. — Чуть что не по ним, бомбят. Но русский человек не араб, его не забомбишь в неолит. Мы их палками будем сбивать, сковородками по башке глушить. А Маерс этот в руке мне попадет, я ему в зад кол вставлю, стану над огнем вертеть и жир из него вытапливать. Он мне скажет, кто его мама и папа.

— Они по всему городу эстрады сколачивают, говорят, для концертов, — на коричневом лице прокурора играла мечтательная улыбка садиста. — А это они эшафоты для русских людей сколачивают. Хотят головы русским людям рубить. Ан нет, для себя, для своих голов сколачивают. Я этому Маерсу собственной рукой башку отсеку. В американский флаг замотаю и в Белый дом отошлю. Дескать, знай наших. Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет.

— Нет, други мои, не с этого начнем, — урезонивал их вице-губернатор Находкин, истинный теоретик восстания. — Прежде всего, этих красных человечков надо с крыш поснимать. Это боевые роботы спецподразделения полковника Маерса. Именно они уничтожили бен Ладена, убили Каддафи, совершали вторжение в сектор Газа. Один из них, капрал Шалит, был захвачен палестинцами в плен. Они разобрали капрала и обнаружили микрочип, управляющий налетами израильской авиации. Мы должны обезвредить этих красных лазутчиков и уберечь наш город от американских бомбардировок. Но пуще всего мы должны беречь нашего лидера Иону Ивановича от возможного покушения, от террористического акта, имеющего целью обезглавить наше восстание.

— Твое здоровье, Иона Иванович! — воскликнул прокурор Гриб, поднимая рюмку.

— Здоровье, Иона Иванович! — вторил ему полковник Мишенька.

— Будь здоров, Иона Иванович! — подхватил прокурор. И эти дружный возгласы заставили Дубка разомкнуть уста, разъять крепко сжатые челюсти и сделать долгий выдох, через который излилась его лютая ненависть:

— Бляха-муха, русского человека мнут, гнут, в узлы вяжут. А русский человек распрямится да и жахнет дубиной по Америке и Европе… Маерсы, баерсы, как клопы изо всех дырок лезут. Русского человека совсем задвинули, за шестерку держат. Россию, как девку, под себя подложили, а она, Россия, нам матушка. Мы за нее горло рвать будем! Мой дед в штрафбате Кенигсберг брал. Мы хоть и братаны, и сроки отбывали, а Родину не продавали, и за нее яйца хоть кому отобьем. Наш город раньше ракеты делал, в Космос летал, а теперь американосы нас снова в лапти обули. Но мы, бляха-муха, лаптями их закидаем! Надо народ поднимать, брать власть! Ты, Мишенька, раздай народу оружие! Ты, Гриб, эти полешки с крыш посшибай! Ты, порт Находка, арестуй Петуха и этого Маерса. Петуха без суда с моста в реку! Маерса судить и живьем в землю! Кол сам буду вбивать! Мы еще "Варяга" споем! Мы еще на американской могиле попляшем, бляха-муха!

Он опрокинул в открытый зев рюмку виски, и казалось, внутри у него зашипело, из мокрых губ вылетел прозрачный синий огонь.

Сидели, жевали закуску, чокались, крепя фронтовое братство.

— Слушайте, мужики, анекдот. — Вице-губернатор Находкин, заранее хохоча, содрогался узким телом. — Американцы сбросили на Россию атомную бомбу. Погибло три миллиона человек. Россия сбросила на Америку резиновую бомбу. Погибло двадцать миллионов человек. Бомба продолжает прыгать.

И все грохнули хохотом, крутили головами, били кулаками по столу.

— Вот если бы жив был наш друган Рома Звукозапись, царство ему небесное, — произнес Иона Иванович, — уж он бы этому Маерсу засунул в одно место паяльник, записал на диктофон его свинячьи визги, а мы бы их потом по радио передали.

Дверь в предбанник отворилась, мелькнуло растерянное лицо банщика, и вслед за ним в предбанник вошел человек. Вид его был ужасен. Весь в земле, с разложившейся плотью, из которой выпадали синие распухшие внутренности. Мясо с лица отекало, как жидкая известка, и обнажались кости черепа, оскаленные зубы с золотыми коронками. В глазных яблоках шевелились черви. В руке он держал испачканный землей мобильный телефон, на пальцах были видны длинные, отросшие в могиле ногти. И несмотря на ужасный вид мертвеца, Иона Иванович узнал этот узкий лоб, продавленную переносицу, сутулую походку. Это был Рома, вставший из могилы и пришедший на зов закадычного друга.

— Рома, братан, ты пришел? — Дубок протрезвел, с его распаренного тела исчезли малиновые пятна, он стал белый, как мел, и рука потянулась ко лбу, собираясь совершить крестное знамение. Остальные оторопело смотрели. Вице-губернатор Находкин пытался накрыться простыней. Полковник Мишенька шарил на голом бедре в поисках пистолета. Прокурор Гриб перестал жевать, и кусок колбасы торчал у него изо рта. — Что ты хочешь, братан?

Мертвец покачивался на нетвердых ногах. Поднес телефон к глазам, в которых кишели черви. Длинным ногтем стал набивать клавиши, которые загорелись призрачным синим цветом. И в ответ на вешалке, где висел пиджак Ионы Ивановича, зазвучал мотив “Мурки”, и Иона Иванович стал клониться, теряя сознание, а его друзья повскакивали, собираясь кинуться в бассейн.

Мертвец вдруг выпрямился на окрепших ногах. Длинным жестом от паха к горлу расстегнул невидимую “молнию”. Сбросил с себя оболочку с трупными пятнами, и Виктор Арнольдович Маерс, голый, розовый, в длинных звездно-полосатых трусах, выпрыгнул, приплясывая и хохоча:

— Ну, как я вас, господа? Посмешил, не правда ли? А вы тут, небось, о серьезном? Об американском заговоре, о народном восстании, о том, как бы этому американскому еврею Маерсу в задний проход паяльник засунуть? Полно, господа. Я вас всех люблю, уважаю. Обойдемся без паяльника, право.

Он радостно смеялся, усаживаясь за стол, тесня остальных своим упитанным розовым телом. Голубые глазки его счастливо блестели, и заговорщики постепенно приходили в себя. Начинали ему подхихикивать.

— Вот уж действительно, шутка!

— Да я и не испугался совсем!

— А ведь вылитый Рома Звукозапись. И телефон его, перламутровый, сам ему в гроб положил.

Иона Иванович дико водил глазами, глядя на сброшенную, земляного цвета хламиду, на трусы Маерса, сшитые из американского флага, на хохочущее, шаловливое лицо полковника с родимым пятном на лбу, на мобильный телефон в его кулаке. В голове Дубка мешались виски, страх, ожидание неизбежной для себя катастрофы и мучительная, щемящая вера в возможность ее избежать. И его паническая, ищущая спасения мысль нашла лазейку, ведущую к спасению.

— Виктор Арнольдович, господин полковник, да никакого тут заговора, никакого восстания! Мы только рады, что вы у нас появились. Ждали вас

с хлебом, с солью. Спросите у мужиков, они подтвердят. Я говорил, что нам без американцев нельзя. Скорее бы они в Россию пришли и своего коменданта поставили. А то мы в своем дерьме захлебнемся. Вы наш комендант, а эти красные человечки, — мы понимаем, — это морские пехотинцы, морские котики, и у каждого "Пурпурное сердце"!

— Ну, что вы, дорогой Иона Иванович, — добродушно ответил Маерс. — Америка никогда не вмешивается во внутренние дела других стран. Мы за полный суверенитет России. У вас своя самобытность, а не дерьмо, как вы говорите. Вы сами найдете свой путь в истории, как это всегда бывало.

— Нет, нет! — страстно воскликнул Дубок. — Мы, русские, руками собственное дерьмо едим и нахваливаем. Нам без иностранцев нельзя. Наши князья от Рюрика немцами были. И цари немцами была. А дворяне французы. А Сталин грузин. С ними кое-что получалось. А если наш брат, русский, дорвется до власти, то одно людоедство и срам.

— Ну, нет, Иона Иванович, русские очень работящий, прилежный народ. Русские умеют работать.

— Кнут нам нужен, тогда и работаем. К башке пистолет приставят, тогда зашевелимся. А чуть убрали пистолет, спрятали кнут, и опять в подъездах мочимся, водку жрем и в домино режемся. Сталин ученых на цепь посадил, кормил раз в два дня, вот они и изобрели ракеты и бомбу.

— Ну, нет, Иона Иванович, вы слишком самокритичны. У России большая культура. Толстой, Достоевский, Чехов. Как прекрасны сцены из "Дяди Вани". "Многоуважаемый шкаф!". Или Братья Карамазовы: "Бога принимаю, а мир, им созданный, не принимаю!". Или Толстой: "Сколько земли человеку надо". О, эта великая русская культура!

— Матерное слово на заборе — вот наша культура. У нас половина заксобрания соплей о землю шибает. Вы спросите меня, какую я музыку слушаю. "Мурку" слушаю, а другого мне не надо. Американцы придут и нас культуре научат. Скорей бы вы, Виктор Арнольдович, свой фестиваль начинали. Я братве приказал на все концерты ходить.

— Нет, Иона Иванович, вы несправедливы к себе. Я Россию изучал. Русские — народ верующий и отмеченный благодатью Божьей. Избранный Богом народ.

— В черта мы верим, а не в Бога. Мы иконы на лучины рубили, колокола на медные копейки переливали. Мой дед по окрестностям своими руками десять церквей разрушил. Не благодатью мы отмечены, а чертовой метой. Тысячу лет нас черт калечит, вот мы и вышли народ-калека. На меня посмотрите, Виктор Арнольдович, кто я? Калека, урод. Мать умерла, не пошел хоронить, а пропьянствовал. Лучшего друга киллеру заказал. Деньги из казны ворую. Все ненавижу, иной раз от скуки готов целый мир взорвать.

— Не наговаривайте на себя, Иона Иванович. Русская душа всемирная. Открыта миру и готова любить весь мир.

— Я, Виктор Арнольдович, вам на это скажу. Я бы этот мир аккуратно, как салфетку, сложил. Разорвал на кусочки да и подтерся им. Вот как я люблю этот мир. А я так и сделаю, если на меня ошейник не надеть. Так что мы рады вам, Виктор Арнольдович, господин полковник. Владейте нами, дураками и идиотами, и учите уму-разуму.

Чем благодушнее и возвышеннее были суждения Маерса о России и русском народе, тем больше распалялся Дубов в своем отрицании и самоуничижении. Это самоедство и самобичевание казались ему средством спасения не только от всемогущего американца, но и от себя самого. От своей удушающей тоски, беспричинной ненависти, яростной страсти ломать и крушить. Он возражал Маерсу, наливая глаза безумной синевой, выворачивая шею с набухшими жилами, как бурлак на известной картине. Тащил посуху тяжелую баржу, готовый упасть и изойти дурной кровью. Его товарищи вторили ему, подверженные тому же неистовому отрицанию.

— Ну нет, господа, ну постойте! — разводил руками изумленный Маерс. — Мои преподаватели в разведшколе учили меня тому, что русские — самый честный, самый искренний, простодушный народ!

— Это мы-то честный народ? — смеялся над его неосведомленностью

прокурор Гриб. — Да мы всю Россию разворовали и по дешевке вам продали. Вы только попросите: "Дескать, украдите баллистическую ракету". Украдем. "Украдите атомную бомбу". Украдем. "Украдите Сибирь-матушку". И ее украдем, и вам не продадим, а подарим. Потому что нам с Сибирью не справиться. Берите ее, пока китайцы не сцапали.

— Но простите, друзья, разве вы станете отрицать, что русские — это народ-герой, готовый, как пелось в сталинской песне, "на подвиг, на муки, на смертный бой". Я взываю к "национальной гордости великороссов". Ведь так, кажется, называлась известная статья Владимира Ленина.

— Герой, а всегда под горой, — сказал прокурор, и на его сморщенном, коричневом, как у египетской мумии, лице просияла потустороння улыбка.

— Ну, хорошо, — не уступал Маерс. — Но вы согласитесь со мной, что русским, как ни одному другому народу, свойственны коллективизм, взаимопомощь, способность отдать последнее ближнему своему.

— Да что вы, господин полковник! — Полицмейстер Мишенька с сожалением смотрел на Маерса, которого Бог знает чему учили в разведшколе. — Русский на русского волком смотрит, завидует, норовит ножку подставить. Вот кавказцы или евреи, те дружные, выручают друг друга. А русский, если увидит, что его сосед в реке тонет, он его еще палкой по башке шарахнет. Наш коллектив — это три человека, которые вокруг бутылки сойдутся. С нами жестче надо, господин полковник. Жестче, жестче! Русский человек плетку любит!

— Вы меня обескураживаете, господа, — смущался Маерс. — Мне всегда казалось, что русский человек обладает космическим сознанием. Его взор устремлен в небо. Например, к созвездию Льва, к звезде 114 Лео.

— Позвольте вам возразить, Виктор Арнольдович, — деликатно заметил вице-губернатор Находкин, из вежливости совершая змееобразные движения телом. — Уже широко известно, что Юрий Гагарин никогда не летал в космос. Его полет проходил на студии "Мосфильм", как и полеты всех остальных космонавтов. Наши коллеги из отдела рекламы ездили в Казахстан, чтобы побывать на Байконуре. Так там ничего нет, чистое поле, только коза пасется. Русский человек в землю смотрит, надеется кошелек найти с тысячью долларов, чтобы на халяву попить, погулять. Вот и весь русский космизм.

Маерс, благодарный за урок русского национализма, выпил виски. На его трусах, под стать американскому флагу, струились красные и белые полосы, на синем поле пестрели звезды, и вице-президент Находкин поймал себя на том, что испытывает к трусам американца благоговение.

— Да, друзья, — произнес Маерс. — Вы представили мне Россию как царство зла. Над ней сомкнулся незримый покров, сквозь который не проникнет ни один луч благодати, не прорвется ни один вестник из царства добра и света, ни один инопланетный корабль из созвездия Льва. И здесь, в вашем чудесном городе П. мы станем отбивать атаки пришельцев. Их корабли, использующие энергию света, столкнутся с покровом русской тьмы и превратятся в бесцветный пар.

Это замечание Маерса не было до конца понято его собеседниками, но они на всякий случай чокнулись рюмками с американцем.

— А что, господа, вы действительно такие злодеи, какими себя рисуете? Или это только поза, красное словцо? Могли бы вы каждый рассказать о своем злодеянии, и тогда я уверую в то, что русские — это народ-злодей? Предлагаю основать Орден Тьмы, куда принимаются только истинные злодеи! — Маерс весело смотрел своими маленькими синими глазками, поощряя собеседников. — Ну, смелее, друзья, смелее! Я жду рассказов!

— Тогда, если позволите, я расскажу, — прокурор Гриб еще больше стал походить на коричневую египетскую мумию, и его странная мечтательная улыбка обнажила голубоватые фарфоровые зубы. — Завели мы дело на одного банкира, который деньги банка крал и выводил в оффшорную зону. Разорил и банк, и вкладчиков, пока, наконец, не попался. Допрашиваю банкира. Красавчик, обаятельный, верткий. Выкручивается, вывертывается, но я его прижал, и он говорит: "Признаюсь, была схема, по которой деньги уходили на Каймановы острова. Что толку, если вы меня отошлете в зону?

Лучше я вам дам триста тысяч долларов. Вы меня отпускаете, я уезжаю из России, и мы с вами, быть может, встретимся в Лондоне на Пикадилли и чинно раскланяемся". "А как же я оформлю хищение денег?" — спрашиваю. "А есть у нас в банке бухгалтер, женщина молодая, неопытная. Она за все и ответит". — "А почему она ваш грех на себя возьмет?" — "А потому что любит меня, и у нее от меня восьмилетняя дочь растет". Пригласил я на допрос эту женщину. Красавица, кольцо с бриллиантом. Кожа вся светится. "Так и так, говорю. Возьмете на себя вину? Любимого человека спасете. А я обещаю, что вас судить будут мягко, дадут два года условно, и вы сразу после суда с любимым человеком и с дочерью хоть в Америку, хоть в Израиль". Говорит: "Согласна. Очень я его люблю, и он меня очень любит. Спасибо вам за вашу благородную помощь". Банкира я выпустил, он мне триста тысяч передал и уехал, концов не оставил. А женщину судили и дали ей двенадцать полных лет в колонии. И любовник ее, банкир, даже записку ей не послал. "Как же так? — спрашивает меня. — Ведь вы обещали". — "Обещанного двенадцать лет ждут. А друг ваш сердечный вас подставил и укатил без следа. Вот и весь мой ответ". Женщину в камеру отвели, она и повесилась. Дочку ее в приют передали.

Прокурор, продолжая улыбаться своей лунной фарфоровой улыбкой, смотрел на Маерса, ожидая похвалы.

— Восхитительно! Вы настоящий злодей! Принимаю вас в Орден Тьмы! Своим рассказом вы подтверждаете, что русские — истинные злодеи. О, горе вам, пришельцы из Космоса! Вас, неразумных детей Света, поглотит русская Тьма! Кто следующий?

Полковник Мишенька обратил к Маерсу свое простодушное крестьянское лицо, на котором цвели чудесные васильковые глаза, какие бывают у обитателей "страны березового ситца".

— Разрешите доложить, господин полковник?

— Докладывайте, — не возражал Маерс.

— Я ведь в начальники вышел из народа, без всякой мохнатой лапы. Мы от сохи, и звания себе добывали, харкая кровью. Я в первую чеченскую с ОМОНом стоял под Ведено. На блокпосты становились. Зачисткой занимались. Пару раз в горы на боевые ходили. А был у нас в отряде капитан, "Рыжий" звали, потому что голова была рыжая и глаза зеленые, как у кошки. Отношения с ним были нормальные, выручали друг дружку, под огонь попадали. Раз ведем зачистку в селе. А дома у чеченцев хорошие, не чета нашим деревенским, где гнилушки да деревяшки. У чеченцев — кирпич, ворота железные, крашенные зеленым или синим. Ковры, газовые плиты, посуда дорогая. Вхожу в дом, хозяев никого, попрятались. И вижу, стоит телевизор "Панасоник", новенький, с большим экраном. А я давно о таком телевизоре мечтал, да не было денег купить. Только собираюсь брать, чтобы в "бэтээр" загрузить, входит Рыжий с тремя бойцами. "А ну, говорит, поставь. Я его раньше тебя заметил". "Уйди, говорю. Вещь моя. Ступай в другие дома". А он автомат к моему животу приставил. Глаза злые, зеленые, как у рыси. Волосы рыжие торчком. Вижу, сейчас выстрелит. И другие, которые с ним, пальцы на спусковые крючки положили. "Черт с тобой, бери. Недолго будешь смотреть". И такая во мне была обида, такая к Рыжему ненависть, что пожелал я ему смерти. Ладно, проехали. Воюем дальше. А был у меня знакомый чеченец Ахмат, который иногда в часть приезжал, овощи привозил. Я ему помаленьку патроны сбывал, пару гранат, пачку пластида. Он хорошо платил. Куда он потом их девал, не мое дело. Раз посылают группу, в которой Рыжий был старшим, на спецзадание, домик один в соседнем селе проверить, по наводке, будто бы там один полевой командир укрылся. Группа должна уйти завтра, а вечером ко мне Ахмат заявился, привез огурцы, помидоры. Я ему говорю: "Заплачу тебе не деньгами, не патронами, а информацией". И рассказал о спецзадании Рыжего, указал маршрут, состав группы. Утром группа ушла, а через час по рации Рыжий просит поддержки. Группа попала в засаду, оба "бэтээра" подбиты. Меня посылают на помощь. Не скажу, чтобы я торопился. Когда приехал на место, на трассе два "бэтээра" дымятся, кругом бойцы лежат, у каждого в голове дыра, так

они раненых добивали. А на броне "бэтээра" стоит отрезанная голова Рыжего. Волосы торчком, зеленые глаза открыты, а в них огоньки блестят. "Что, капитан, телевизор смотришь? Хорошая марка "Панасоник".

Мишенька тихо смеялся, и казалось, его голубые глаза видят не обугленные, лежащие на дороге тела, а ржаное поле с чудесными васильками.

— Прекрасно! — хлопал в ладони Марс. — Еще один безупречный рыцарь Ордена Тьмы. Вам слово, сударь мой, — обратился он к вице-губернатору Находкину. — Надеюсь, вам есть что рассказать.

— Уж не знаю, достопочтенный Виктор Арнольдович, сумею ли я соответствовать высоким требованиям, открывающим дорогу в аристократический орден. — На узкой змеиной головке Находкина открылся ротик, и быстрый язычок облизнул сухие губы, а изумрудные глазки вдруг полыхнули рубином. — Был у меня один случай, когда я работал в инспекции по землеотводам и ездил на своей подержанной "Ниве", — не чета сегодняшнему "Мерседесу", — ездил по нашим бедным селам, где уже не осталось людей, а только одни гнилушки. Под вечер, на лесной дороге, пробило у меня сразу два колеса. Одно сменил на "запаску", а другое кое-как подкачивал и с грехом пополам доехал до деревушки. Не деревушка, а одна избенка, а рядом с избенкой церковь, деревянная, высокая, с шатром. Постучался в избушку. Открыл старик с бородой, в подряснике, лицо худое, истовое, какие на иконах пишут. Оказался священник, который один живет и лет десять эту церковь возводит, бревно к бревну. У него оказалась такая же "Нива", и он мне запасное колесо одолжил, чтобы я потом вернул. Была уже ночь на дворе. Отец Василий, так его звали, меня в дом завел, ужином угостил и историю свою рассказал. Десять лет назад жена у него умерла, которую очень любил, и в память о ней решил он церковь поставить. Верующих никого, последняя старушка три года назад съехала на погост. А он все церковь строит. "Не для себя, говорит, а для Бога. И в память о ненаглядной жене". Уложил он меня за печь, на теплое место, накрыл, сам перед лампадкой молится. А меня что-то жжет, не дает уснуть. И какая-то ярость во мне, ненависть к отцу Василию. Он здесь подвиг вершит, из последних сил венцы строгает, окна в церкви стеклит, чтобы восславить Бога и памятник жене воздвигнуть, а я за всю свою жизнь ни одного доброго дела не сделал, людей обсчитывал, взятки брал, начальству угождал, жил, как червяк. И он своим подвигом мне укоризна. Он герой, подвижник, Богу угоден, а я слизняк, ничтожество, всем людям противен. Так не заснул всю ночь, проворочался, как на углях. Утром отец Василий перекрестил меня, пожелал ангела-хранителя и проводил в дорогу, а сам пошел в церковь молиться. Я еду, а самого ненависть жжет, будто кто-то в меня вселился и скребет когтями. Развернул машину, подъехал к церкви, вынул канистру. Плеснул бензин и поджег. Она загорелась сразу, вся смоляная, горючая. Факел до неба. Я на машину — и гнать. Оглянулся и вижу, что из пламени, огромный, красный, до неба, встал человек с бородой, перекрестил меня и улетел вместе с огнем за лес. Потом я узнал, что отец Василий сгорел в церкви. Может, он в это время за меня молился. А мне легче стало, больше некому меня укорять.

Вице-губернатор Находкин растворял свои узкие губы, и в них трепетал змеиный язычок.

— Ну, вы, батенька, всем нам урок преподали, — восхитился Маерс. — А ведь тот, кто в вас той ночью вселился, он и теперь в вас живет. Он-то и есть магистр нашего Ордена Тьмы. В вашей душе, батенька мой, находится престол сатаны. — Маерс шутливо поклонился Находкину, и у того из глаз брызнули красные лучики.

— Ну а ваша история мне известна. Чудесная, скажу вам, история. — Маерс похлопал Иону Ивановича по голому плечу. — И вы, мой прекрасный рыцарь, приняты в Орден Тьмы. Все мы с вами — цветы Зла, собранные в великолепный черный букет. Мы должны окончательно вырваться из рабства добра и света. Но для этого проследуем в парилку.

Маерс стянул с себя звездно-полосатые трусы и важно, покачивая жирной грудью и рыхлым животом, отправился в парилку, увлекая за собой остальных членов ордена.

Тесно уселись на лавке, касаясь друг друга голыми плечами и бедрами. Маерс схватил ковш, черпнул из деревянной баклажки воду:

— Господи благослови! — ловко, как заправский банщик, плеснул ковшом на пепельно-седые камни. Последовал шумный взрыв, туманный вихрь пронесся под потолком, ударил в стену, метнулся к полу, вновь взмыл к потолку, попутно овевая голые животы и спины. Охали, крякали, крутили головами, наслаждаясь бодрящими ожогами.

— А не поддать ли еще? — Маерс озорно крякнул, черпнул ковшом. — Али мы не русские? — и плеснул сверкнувшую воду на камни, которые жахнули, как пушка. Раскаленный змей полетел по бане, жаля голую плоть, которая издавала стоны, тонкие вскрики, болезненные вопли. Ерзали на лавке, сгибались, прикрывались руками, а огненная змея жалила их под мышки, в пах, в спину, и на месте укусов выступали красные пятна.

— Что-то стало холодать, ни пора ли нам поддать? — воскликнул Маерс, берясь за ковш.

— Пожалейте, Виктор Арнольдович, невмоготу! — взмолился вице-губернатор Находкин, слабый телом и духом.

— Отставить разговоры! — прикрикнул на него Маерс. — Опустили носы. Начали считать капли. Будем, как сказал великий Чехов, вытапливать из себя по капле раба.

Все наклонили головы, свесили носы, на которых выступали капли пота, падали на деревянную доску между раздвинутых ступней, образуя темные лужицы.

— Слава России! — патетически крикнул Маерс, метнул ковш, на мгновение пропадая в раскаленном облаке, и вновь появляясь, бодрый, бравый, веселый, с багровым пучком лучей, бьющих изо лба. Смотрел, как хлюпают ягодицами ошпаренные члены ордена. Иона Иванович с ужасом взглянул на мучителя, который черпал очередной ковш, и сквозь розовый туман заметил, как вокруг Маерса поблескивают и переливаются ледяные кристаллики, защищая от пара его полное тело.

— Спаси и сохрани! — и снова грохот, свист пара, вопли истязуемых. Иона Иванович почувствовал, как кто-то приподнял его с лавки, сильным пинком под зад выкинул из парилки, и он, пролетев мимо бутылок и рюмок, плюхнулся в бассейн, издав нечеловеческий вопль. Все остальные падали в бассейн, остужая обожженные чресла, как кидаются в озеро звери, спасаясь от лесного пожара.

Шатаясь, отекая водой, покрытые красными пятнами, сходились к столу. Жадно пили пиво, опасливо поглядывали на повелителя, который, пренебрегая простыней, приятно тешился холодным напитком.

— Теперь, господа, когда мы вырвались из рабства добра и света, и нас связывают орденские отношения, позвольте каждого из вас попросить о любезности.

Члены ордена выглядели, как ошпаренные туши. Глаза, полные рыбьей слизи, умоляюще смотрели на Маерса.

— Вам, господин прокурор, следует незамедлительно выписать ордер на арест семи заговорщиков, планирующих захват власти. Вам, господин полицмейстер, надлежит произвести аресты и вместе с моими людьми произвести тщательное расследование по методикам Гуантанамо. Вы, господин вице-губернатор, проследите за ходом строительства концертных эстрад, рассматривая их не как театральные подмостки, а как стартовые позиции систем противоракетной обороны, способные отразить атаку из Космоса. Вам же, Иона Иванович, исходя из ваших связей с преступным миром, предстоит взорвать священный дуб, который казался засохшим, но потом вдруг распустился и весь покрыт желудями.

— Но это может вызвать волнения, Виктор Арнольдович, — возразил Иона Иванович. — К дубу стекается множество язычников и православных. Многие исцеляются, воскрешение дуба рассматривается как чудо.

— Вот и хорошо, что будут волнения. Надо сделать больно и язычникам, и православным. Пошлите вашего наперсника Федю Купороса с мешком взрывчатки, и пусть он взорвет дуб.

Рыцари Ордена Тьмы послушно пили пиво, остужая ожоги третьей степени.

ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ

Андрей Витальевич Касимов, губернской богач, владелец соляных копей и неутомимый собиратель бабочек, приблизил свое утонченное, с внимательными глазами лицо к стеклянному куполу, под которым на влажной ткани лежала бабочка. Пойманная Андреем Витальевичем в Кении на одиноком цветке, розовевшем среди вялой саванны, она завершила свою жизнь в сачке, когда ловкие пальцы Касимова сломали ее хитиновую грудку. Лежала на ладони с трепещущей спиралькой хоботка, и, глядя на ее темные, с алыми и синими пятнами крылья, Касимов видел близкий розовый опустевший цветок, белесую до горизонта саванну и голубой снег на Килиманджаро. Все это таинственным образом запечатлелось на крыльях бабочки, как на слайде, и Касимов вновь переживал тот упоительный миг.

Он приподнял прозрачный колпак, и на него пахнуло легким тленом, как из раскрытого стеклянного саркофага. Бабочка лежала на влажной пелене, усыпанная мельчайшей росой, и ее увлажненные, ставшие мягкими крылья чуть приоткрылись, и угадывался волшебный узор. Касимов благоговейно, с религиозным обожанием взял пинцетом бабочку, держал у глаз, мысленно целуя эту драгоценную икону, на которой изысканный живописец начертал житие африканского божества.

Стальная булавка напоминала голубоватый тончайший луч, и он окунул ее в зазор между крыльями и вонзил в хитиновую спинку, которая слабо хрустнула, пропуская тонкую сталь. Сжимая чуткими пальцами булавочную головку, он перенес бабочку на липовую расправилку. Деревянное ложе хранило следы множества проколов, разноцветную пыльцу, оставшуюся от других, побывавших на расправилке бабочек. Касимов дорожил этой старой расправилкой, над которой провел упоительные часы, когда бабочка, словно мерцающий слайд, возвращала ему видения саванны, джунглей, цветущий ущелий и благоухающих долин. И теперь точными движеньями хирурга он раскрывал пинцетом сложенные крылья, как раскрывают складень. Закреплял их отточенной сталью, и бабочка во всей первозданной красоте, с влажными синими и алыми пятнами, с хрупкими усиками и пушистым ворсом на тельце, возвращала ему тот чудесный африканский день, сладкий душистый ветер, розовый дрожащий цветок и голубой ледник, мерцавший на великой горе.

Он накладывал на крылья полоски папиросной бумаги, как бинты на мумию, чтобы время не стерло черты африканской царицы. Смотрел на восхитительные узоры, погружаясь в их бездонную красоту, как погружаются в наркотический сон.

Его медитацию прервал управляющий шахтами, которому он назначил встречу. Управляющий сообщил, что состояние одной из них достигло критического уровня, при котором возможен обвал штолен и человеческие жертвы. Необходимо срочно приступить к реконструкции шахты.

Касимов был раздражен вторжением управляющего, прервавшего мистическое созерцание.

— Я все это знаю. Но у меня сейчас нет свободных средств. Все вложено в строительство отеля в Дубае. Сдам отель, и займемся шахтой.

Следом появился управляющий непрофильными активами и просил позволения продать аварийный теплоход “Оскар Уайльд” скупщику металлолома по очень подходящей цене.

— У меня другие намерения. Мы переоборудуем теплоход в ресторан и гостиницу, вернем ему прежнее название “Красный партизан”, и он будет утолять тоску людей по утраченному советскому времени и приносить немалый доход.

Начальник службы безопасности сообщил, что на шахтах кто-то расклеил листовки с призывом: “Смерть олигархам”. Среди шахтеров усиливается недовольство, которое может привести к волнениям.

— На случай волнений у нас, слава Богу, есть ОМОН. А чтобы людям было веселей, устройте бесплатный концерт какой-нибудь московской певицы. Земфиры или Лолиты, если это не одно и то же.

Отпустив помощников, Касимов вновь был готов погрузиться в созерцание, напоминавшее сон с открытыми глазами, когда мозг дурманят разноцветные дымы наркотического кальяна. Ему начинало казаться, что у бабочки появляется смуглое, с фиолетовыми глазами лицо, крохотные сиреневые груди, и она становится танцовщицей, раскрывшей в танце свое разноцветное покрывало. Она превращалась в тореадора с отточенной шпагой, плеснувшего в изящном повороте цветастым плащом. Принимала образ восточной царицы с крохотной бриллиантовой короной и пышной мантией из раскрашенных мехов. Цветные дымы опьяняли его, и бабочка становилась то ангелом, реющим в лазури, то воином, воздевшим стальную пику.

Его фантазии были прерваны появлением Маерса, который вошел в кабинет с тревожным лицом.

— Прошу простить меня за вторжение, — произнес незваный гость и, не дождавшись приглашения, уселся на диван. — Поверьте, Андрей Витальевич, только чрезвычайные обстоятельства побудили меня нарушить этикет и осуществить это бесцеремонное вторжение.

— Я рад вам, Виктор Арнольдович, — не без тайной досады произнес Касимов, — Я знаю о вашей занятости, о той кипучей деятельности, которую вы развернули в нашем городе. Американский флаг на здании вашего представительства позволяет мне догадываться о важности вашего визита.

— Простите, что при первом знакомстве я утаил от вас мой статус и сферу моих интересов. Но того требовали обстоятельства. Теперь же вы знаете истину, и вас не должно удивить мое сообщение.

— Весь внимание, Виктор Арнольдович.

Гость казался возбужденным, его полное лицо было розовым от волнения. Родимое пятно на лбу напоминало крылышко малиновой бабочки.

— Я пришел сообщить вам, что город находится накануне коммунистического восстания. Все эти годы, при попустительстве властей, у них под носом существовало коммунистическое подполье, копилось оружие, создавались боевые отряды, и близится время, когда эти отряды осуществят коммунистический переворот.

— Именно в нашем городе? — изумился Касимов.

— Предполагается поднять восстание в ряде уральских и приуральских городов с тем, чтобы оно потом перекинулось на Москву и Петербург. Так было, заметьте, в период Пугачевского бунта, когда бунтари, овладев Приуральем, планировали поход на Москву.

— Вы всерьез полагаете, что коммунисты могут взять реванш?

— Ваши спецслужбы привыкли париться в банях и крышевать мелкий и средний бизнес. Только вмешательство подведомственных мне агентов ФБР позволило раскрыть заговор. Как вы понимаете, Америка не может остаться в стороне от событий. Не для того мы затратили грандиозные усилия и разгромили Советский Союз, чтобы допустить реставрацию коммунизма в самых свирепых кровавых формах.

— Вы ожидаете эксцессов, подобных пугачевским?

— Вы когда-нибудь заглядывали в глаза вашим шахтерам? Вы когда-нибудь слышали, как отзываются о вас вдовы и матери засыпанных под землей горняков? Нет такой казни, которой бы они вам не желали. Вы, утонченный эстет, распинаете здесь африканскую бабочку, а они будут распинать вас на площади, вгоняя в ладони ржавые гвозди.

— Но ведь время революций прошло. В России все эти нелегкие годы не было восстаний. Народ покорный, смиренный.

— Не обольщайтесь, дорогой Андрей Витальевич. Русский народ удавалось удержать на грани бунта, используя разработанную мной технологию, которая легла в основу проекта “Цепенящий ужас”. Только реализация этого проекта удержала Россию от революции, от массовых избиений и казней, спасла жизни многих достойных людей, в том числе и вашу, Андрей Витальевич.

— В чем же суть проекта "Цепенящий ужас"? — удрученно спросил Касимов, боясь взглянуть на прекрасную бабочку, которая казалась волшебной мечтой среди жестокого страшного мира.

— Восстают люди, исполненные гнева и ненависти. А люди, исполненные горя и отчаяния, не восстают, лежат ничком, и по их спинам можно ходить и ездить. Мой проект позволил накинуть на Россию покров Тьмы, укутать ее горем и страхом, от которых души людей цепенели, а их воля мертвела. Мы расстреляли из танков парламент, и в чудовищном костре сгорела воля к сопротивлению. Мы взорвали атомную лодку "Курск", и в ее черных отсеках погибла вера в великую державу. Мы утопили в океане космическую станцию "Мир", и русские перестали ощущать над собой сверкающий Космос. Мы провели теракты в "Норд-осте" и Беслане, и сотни изувеченных детей и женщин вызвали в России безутешные рыдания и вопли. Все эти годы чуть ли ни каждый день падали самолеты, тонули корабли, разрушались электростанции, падали в реки мосты. Это выглядело как восстание машин, среди которого не было места восстанию людей. Люди ложились спать и не знали, проснутся ли они живыми. Мы подожгли русские леса, и возникло ощущение, что сама природа восстала на Россию, и в народе поселился реликтовый ужас и ожидание конца света. Эта методика себя оправдала, и мы повторим ее в вашем городе, где заговорщики готовят восстание.

— Что вы хотите сделать? Какую роль вы отводите мне?

Маерс смотрел на Касимова жестоким стальным взглядом, и тому показалось, что из глаз его скользнули два тонких голубоватых булавки, и он, подобно бабочке, распят на липовой расправилке.

— Вы должны сдетонировать толчок в аварийной шахте, чтобы рухнул свод и засыпал шахтеров. Это вызовет всплеск горя, похороны, надгробные рыдания. Горе превратит гнев и ненависть в тоску и безнадежность. И ОМОН не понадобится. Еще вы должны предоставить аварийный теплоход "Оскар Уайльд" детям из приюта, чтобы устроить праздник на воде. Теплоход поплывет мимо набережной и на глазах всего города утонет вместе с детьми. Жители испытают невыносимый болевой шок, и им будет не до восстания. Так, на примере вашего города, мы осуществим технологию "Цепенящего ужаса".

— Это невозможно! — воскликнул Касимов. — Это преступление против человечности! За такое будут судить в Гааге, как до этого судили в Нюрнберге!

— Андрей Витальевич, не будьте сантиментальным. Разве не совершили вы преступление против человечности, когда приватизировали шахты, построенные узниками ГУЛАГа, присвоили труд рабов и мучеников, основали личное благополучие на костях расстрелянных и замученных? А когда вы бились с конкурентами за собственность, разве не по вашему приказу было застрелено восемь человек из числа конкурентов, и их трупы выступили из-под снега, как "подснежники"? И разве не вы организовали схему, по которой уже многие годы уклоняетесь от уплаты налогов, и все ваши деньги оседают в оффшорах? И не вы ли коррумпировали губернатора и его правительство, когда добывали помещение научного центра под ваш супермаркет? Не мне вам устраивать страшный суд, Андрей Витальевич, его вам устроят пришедшие к власти коммунисты.

Касимов мучился. Ему предлагали совершить злодеяние, от которого шарахалась его утонченная душа, склонная к эстетическим наслаждениям и магическим созерцаниям.

— Я не могу этого сделать, Виктор Арнольдович. Я принадлежу к тому же народу, что и эти несчастные дети, и эти бедные шахтеры. Я виноват перед ними, но не стану усугублять мой грех. Я не враг моему народу.

— Вы говорите о русском народе? — Маерс захохотал, красное крылышко бабочки, приставшее к его лбу, стало прозрачным, и наружу, как из проектора, брызнул пучок лучей. Обжег Касимова, и ему казалось, что множество тонких иголок вонзилось в его нервные центры, остановили в нем жизнь, погрузили в летаргическое сновидение. Маерс, закутанный в темный плащ с синими и алыми пятнами, вознесся на вершину Килиманджаро, ок-

руженный голубыми снегами, а Касимов стоит перед розовым опустевшим цветком и внимает гулким, как гром, летящим над саванной словам. — Вы говорите, русский народ? Но его давно уже нет. То, что называлось русским народом-богоносцем, мессианским народом, теперь превратилось в редеющее население, сбитое с толку, запуганное, во власти животных инстинктов, не способное на подвиг и труд, уныло и смиренно ждущее своего исчезновения. Мы провели блестящую операцию, которая эффективней ядерных ударов, и отсекли сознание русских от тех источников, что питали русский народ утопиями и мечтаниями. Русские забыли о своем особом пути, отказались от русской идеи, не предлагают миру свою русскую альтернативу, больше не берутся спасать человечество. Русские, как вечный источник мирового возмущения, вечный соблазн переделать мир на основах божественной справедливости, эти русские перестали существовать. Их сменило унылое скопище, не интересное миру и Богу, и мир, и Бог от него отказались. Они больше не будут проповедовать теорию безумного старца Филофея о Третьем Риме. Больше не будут восхищаться ересью Патриарха Никона, построившего под Москвой Новый Иерусалим как космодром, на который опустится Христос во время Второго пришествия. Они, в конце концов, отвернутся от "красного мифа" о совершенном человечестве, о царстве Добра и Света. Всего этого больше не будет. Русские уйдут навсегда, освободив эту землю для других, угодных Богу народов.

Слова гулко летели над саванной, словно вырывались из поднебесной трубы. Пророк, укутанный в разноцветный плащ, стоял на вершине священной горы, и Касимов, приведенный к подножью, внимал грозным речам.

— Андрей Витальевич, делайте выбор. Либо вы с перхотью, которая превратит и вас в перхоть. Либо вы с нами, которые "соль земли, теин в чаю, букет в благородном вине", как говорил русский революционер Чернышевский. — Пророк, раскрыв разноцветные крылья, как на дельтаплане, спланировал с горы и опустился на розовый цветок. Покачивался среди лепестков перед глазами Касимова, и тот, понимая, что это бред отравленного сознания, воздействие иглоукалывания, сопротивляясь изнурительной пытке, пролепетал:

— Не могу. Не просите.

Не было цветка, саванны, голубого ледника африканской горы. Маерс стоял перед изнемогшим Касимовым, указывал пальцем себе в лоб, на родимое пятно, которое было маленькой заслонкой. Маерс отодвинул заслонку, приглашая Касимова заглянуть в замочную скважину:

— Загляните сюда, — Касимов приблизил лицо. От Маерса пахло чем-то кислым и едким, как уксус. — Загляните, не бойтесь.

Он прижался глазом к замочной скважине и увидел Красную площадь, многоглавый собор, кремлевские башни, розовый брусок мавзолея. На площади бурлила толпа, краснели транспаранты и флаги, повсюду виднелись надписи: "Смерть олигархам", "Миллиардерам петля", "Людоедов — к ответу". На брусчатке, окруженная солдатами, высилась виселица, струганые столбы, перекладина, веревки с петлями, под каждой петлей табуретка. Касимов видел узлы на веревках, блеск солдатских штыков, расхаживающего под виселицей человека в кожаной безрукавке с татуировкой на могучем плече. Неразборчиво, в звоне и рокоте, вещал мегафон. Сквозь толпу, за мерцающими сигналами полицейской машины, медленно въезжал грузовик с длинной металлической клеткой. В ней, держась за прутья, стояли люди. И Касимов различал их знакомые лица. Здесь были все те, кто недавно владел нефтяными полями и газовыми месторождениями, торговал алюминием и никелем, возглавлял корпорации и банки. Некоторые были в костюмах и галстуках, видимо, их арестовали прямо в офисах. Другие были в пижамах и нижнем белье, их подняли с постелей. Некоторые были в пляжных и спортивных костюмах, их схватили на курортах, в тренажерных залах или захватили на яхтах. Одного за другим их выводили из клетки, и силач в кожаной безрукавке сильным рывком поднимал их на табуретку, запрыгивал следом и надевал им на шею грубую петлю. Казалось, некоторое время палач и жертва заключают друг друга в объятья, но потом палач спрыгивал на

землю, а приговоренный оставался стоять, соединенный веревкой с перекладиной. Касимов видел рыжую голову знаменитого реформатора, лысое темечко того, кто обанкротил страну, ухоженную эспаньолку обладателя царских сувениров, толстенького, как поросенок, банкира, бородатую песью мордочку владельца футбольного клуба. Все они стояли на табуретках, окруженные ненавидящей толпой, красными флагами, рядами солдат, среди которых стояли барабанщики, готовые в момент казни загрохотать в барабаны. Одна табуретка оставалась пустой, и Касимов гадал, кому она предназначена. Он находился в толпе, прячась за спины, скрытый от палача, радуясь, что некому его опознать. Внезапно затих мегафон, толпа умолкла, все взоры обратились куда-то вверх. Касимов обратил глаза в ту же сторону. В небе, медленно взмахивая разноцветными крыльями, планируя, огибая шпили Исторического музея, летела бабочка. Приглядевшись, Касимов увидел, что это человек в белом кителе, парадной фуражке, с бриллиантовой звездой на груди. У человека были усы, рыжеватые брови, прищуренные глаза. Сталин опустился на мавзолей и сложил за спиной крылья, так что они были почти не видны. Толпа ликовала, кричала здравицы. Сталин улыбался, махал рукой, а потом стал показывать пальцем в толпу, и все старались понять, на кого он показывает. И Касимов старался понять, со страхом разглядывая белый китель, золотые погоны, бриллиантовую звезду, пока вдруг не понял, что Сталин указывает на него. И другие поняли, схватили его и с ненавидящими криками потащили сквозь толпу к виселице, туда, где стояла пустая табуретка. Палач с силой воздел его наверх, вскочил следом, набрасывая ему на шею веревку, и Касимов чувствовал, как пахнут смоляные столбы, пенька веревки и палач, издавая едкий уксусный запах. Палач спрыгнул, разбежался, готовый ударить по табуретке, и Касимов издал предсмертный вопль:

— Я согласен, согласен!

— Впрочем, нет. Я не настаиваю. Довольно с вас теплохода "Оскар Уайльд", — рассмеялся Маерс.

Касимов очнулся. В кабинете никого не было. Африканская бабочка драгоценно сверкала на расправилке.

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Джебраил Муслимович Мамедов уложил в сейф пухлый пакет денег, который принес наркоторговец Ахмат, вернувшийся с "северов", где он заложил сеть героиновых торговых точек. Настроение у Джебраила Муслимовича было добродушное. Он восседал на восточной резной скамеечке, облаченный в пестрый халат, из которого выглядывало круглое брюшко. На голове его красовалась шитая бисером шапочка, и он походил на сказочного лягушонка с выпуклыми глазками, растопыренными пальчиками и розовым языком, который вдруг прыгал из длинногубого рта, как будто хватал пролетающего комара или муху.

Не было ни комара, ни мухи, а перед Мамедовым стоял поэт Семен Добрынин, похожий на огромного косматого медведя, и заискивающим голосом, слишком писклявым и тонким для обладателя могучей плоти, выпрашивал:

— Ну, Джебраил Муслимович, ну, вы же обещали. Позарез нужны двадцать тысяч для поэтического сборника. Там все стихи о России. Два стиха посвятил лично вам. Один начинается: "Россия-мать, пусть родом сын с Кавказа...". И второй: "Он сочетал в себе Урал с Кавказом...". Джебраил Муслимович, позарез нужно двадцать тысяч.

Мамедов маслянистыми ласковыми глазками оглядывал стоящего перед ним русского великана, и круглый животик под расстегнутым халатом сотрясался от неслышного смеха.

— Дам, Семушка, сегодня же дам. Но ты мне прежде скажи, неужели тебе не противно, русскому богатырю, поэтическому, можно сказать, гению, стоять с протянутой рукой перед каким-то черножопым? Перед чуркой поганой, и выпрашивать подаяние?

— Ну, что вы, Джебраил Муслимович, мы, русские националисты, считаем так, — кто любит Россию, тот и русский. А вы Россию любите так, что иному чистокровному русскому далеко.

— А я тебе признаюсь, Семушка. Если бы русские националисты какого-нибудь черножопого, вроде меня, замочили, я бы только обрадовался. Сколько же вы, русские, будете терпеть на своем горбу всяких нацменов?

— Нет, Джебраил Муслимович, мы, русские, открытый всему миру народ. Это еще Пушкин сказал. Нету худых и добрых народов. Все народы великие. Вот вы помогаете, мне, русскому поэту, значит, вы вносите вклад в русскую культуру поболее, чем наш губернатор Петуховский, который нас, поэтов, на голодный паек посадил.

— Семушка, а что, если деньги, которые я тебе дарю, сделаны на русских слезах и страдании? Если русские девушки и юноши жизнями своими платят, чтобы ты сборничек своих патриотических стишков выпустил?

— Это вы про слухи говорите? Что будто вы наркотиками торгуете? Да этому разве кто верит? Вы честным трудом зарабатываете и от сердца помогаете русской культуре. Нам, поэтам. Ансамблю балалаечников. Пожертвовали на реставрацию памятника Ермаку. Народ вам благодарен.

— Ты, Семушка, чистая душа, за это тебя и люблю.

За дверью кабинета раздались удары барабана, яростные всплески музыки. Это начинала работать дискотека "Хромая утка". Мамедов с удовольствием прислушался к этим ритмичным, возбуждающим звукам и готов был направиться к сейфу, чтобы отсчитать Добрынину обещанные двадцать тысяч.

Но дверь в кабинет растворилась, и вошел офицер в камуфлированной форме американского морского пехотинца, с наградными колодками, с оранжевой ленточкой раненого в боях героя. Он был подпоясан тяжелым ремнем с кобурой, из нагрудного кармана выглядывала портативная рация, а на лбу, под беретом краснел лепесток мака, будто офицер пробирался по маковому полю где-нибудь в районе Кандагара, где прилежные пуштуны выращивают наркотический мак. И Мамедов в госте тотчас узнал Маерса, о котором уже несколько недель говорил весь город.

Джебраил Муслимович спрыгнул со скамеечки, издав булькающий звук, какой издает прыгающая в пруд испуганная лягушка. Он подбежал к Маерсу, пухленький, согнувшись в поклоне, растопырив пальчики, и поэт Добрынин изумленно отступил при виде американского военного и присел в уголке.

— Виктор Арнольдович! Или нет, простите, господин Маерс! Или нет, простите, господин полковник! Какая честь, какое, поверьте, счастье! Все говорят о вас. Наконец-то в нашем городе установилась настоящая власть. Придет конец воровству, беззаконию, торговле наркотиками. В ваш первый визит я уже понял, с кем имею дело. Я уже заказал шелковый американский флаг, и завтра он будет висеть над этим зданием. Ну, слава Богу, что вы, американцы, пришли.

Маерс спокойно, холодно и, казалось, высокомерно смотрел на Мамедова сверху вниз, на его пеструю шапочку, распахнутый халат, волосатую грудь и толстый живот с фиолетовым пупком. И этот холодный повелительный взгляд офицера пугал Мамедова.

— Должен вам доложить, в ожидании вас я не сидел сложа руки. Я внедрился в местную наркомафию, и теперь знаю ее изнутри. Можно сказать, я добровольный агент, действующий в одиночку, на свой страх и риск. Если бы вы знали, сколько я пережил и как рисковал. Меня подкупали, хотели убить, но я выжил, и теперь мы вместе их уничтожим. Мы можем разгромить наркомафию. Это, прежде всего, цыганский барон Рома, поставляющий крутой героин. Чеченец Ахмат, который контролирует таджиков, доставляющих афганский героин. Это Химик — интеллигентный мерзавец, который отравляет русских мальчиков и девочек метадоном. С ними заодно генерал наркоконтроля, главный полицейский по кличке Мишенька. Отчисления идут губернатору Петуховскому и главе заксобрания Дубкову. Я знаю все адреса, все имена. Это директоры вузов и школ, хозяева рынков и даже один священник, который в кадило добавляет экстази, и верующие нюхают дым, как кальян. Мы их всех возьмем, всех накроем, господин полковник!

Маерс безмолвно смотрел на Мамедова, рация в его кармане тихо пиликала, кобура раздувалась от спрятанного пистолета. И Мамедову казалось, что Маерс выхватит оружие и застрелит его тут же, под звуки ударников и фоно, раздававшихся из дискотеки. Как это делают агенты ФБР, когда им в руки попадают колумбийские наркоторговцы. Или, в лучшем случае, его закуют в кандалы и отправят в тюрьму, как панамского президента Норьегу.

— Господин полковник, помилуйте! Все отдам, все сбережения! Вам лично в руки, никто не узнает. Нет, нет, это не подкуп должностного лица. Хотите, пожертвую в фонд борьбы с наркоманией, или в фонд больных СПИДом, или в Международный валютный фонд! — Джебраил Муслимович бросился было обнимать ноги Маерса в пятнистых брюках и тяжелых армейских бутсах. Но Маерс властно остановил его, указал пальцем на резную скамеечку:

— Садитесь, Джебраил Муслимович, — произнес Маерс. — Я не агент ФБР. И не представитель Госдепа. И не военный, хотя имею боевые награды. Я ученый, изучаю теологию, физику новых энергий, антропологию, лингвистику и магию. Я приехал сюда по особому поручению Университета Беркли, секретного департамента НАСА и правительства Соединенных Штатов, чтобы сообщить вам, Джебраил Муслимович, что вы приглашаетесь в Беркли профессором на кафедру нейролингвистического программирования, награждаетесь высшей наградой Америки за совершенный вами героический поступок и получаете американское гражданство. — С этими словами Маерс извлек из кармана американский паспорт, коробочку с орденом. — Поздравляю вас, Джебраил Муслимович, теперь мы с вами граждане одной страны, и вы — выдающийся ее гражданин.

Маерс прикрепил к халату Мамедова орден с пятью лучами, каждый из которых имел вид ласточкиного хвоста, а орденская лента переливалась шелком.

Мамедов был ошеломлен. Скосив глаза, смотрел на орден. Гладил и подносил к носу американский паспорт. Порывался броситься к Маерсу и обнять его ноги. Оставался на месте, стараясь вобрать животик, чтобы не казаться комичным.

— За что, Виктор Арнольдович? Не понимаю!

— Во время нашей первой встречи я предложил вам отведать новый возбуждающий препарат, который в виде зеленоватых гранул находился в стеклянной пробирке. Вы сначала не решались, боясь отравиться, боясь умереть во время эксперимента. Но потом употребили препарат, пережив целый спектр состояний, среди которых были цветовые и звуковые галлюцинации, перемещения в пространстве и времени, небывалой силы оргазмы. И, в конце концов, вы погрузились в кромешную тьму, в непроглядную бездну ужаса и страдания. В этом и был конечный эффект препарата. Вы, рискуя жизнью, готовясь умереть, совершили полет в царство Тьмы, побывали на темной стороне вселенной, вернулись живым и доставили на землю квант Тьмы. Вы первый человек, побывавший в мироздании Тьмы. Вы астронавт Непроглядного Мрака. Добытый вами квант Тьмы доставлен в Ливерморскую лабораторию и помещен в подземное хранилище, защищенное в большей степени, чем форт Нокс с золотым запасом. Этот квант Тьмы признан за единицу измерения Тьмы и назван вашим именем — "Джебраил". Отныне Тьму будут измерять в джебраилах. Десять джебраилов Тьмы, сто джебраилов Тьмы, миллион джебраилов Тьмы. Вы увековечили себя, испытав на собственном организме действие этой мало изученной формы энергии. Так Пастер испытал на себе сыворотку, рискуя погибнуть. За этот подвиг вы удостоены высшей награды. За научное достижение вам присвоено звание профессора, и, открою вам секрет, нобелевский комитет США намерен выдвинуть вас на соискание Нобелевской премии в области физики.

Мамедов был ошеломлен. Он помнил восхитительные состояния после того, как проглотил несколько зеленоватых корпускул. Невиданные разноцветные солнца, всплывавшие над незнакомой планетой. Божественной красоты озера и лагуны с розовыми скалами и чудесными цветами и травами. Тот непередаваемый всплеск вожделения, когда перед ним предстала несравненной красоты женщина…

Все помнил Джебраил Муслимович, но относил к действию нового наркотика, не предполагая, что он совершает переворот в мировой науке, и теперь его жизнь преображается во что-то великое, планетарное, всечеловеческое.

— Я понимаю, горжусь, служу Америке! — Мамедов от волнения сбивался, отдавал честь, прикрывал халатом животик, опять порывался обнять Маерсу колени. — Но что теперь будет? Мне нужно перебираться в Соединенные Штаты?

— Напротив, — успокаивал его Маерс. — Вам нужно утвердиться здесь в еще большей степени. Решением правительства США на базе вашего заведения "Хромая утка" решено создать Институт Тьмы с соответствующим финансированием и программой научных и военно-технических разработок. Вы становитесь во главе Института, а я назначаюсь его куратором со стороны министерства обороны США и ряда научных центров.

— Не понимаю, — еще больше разволновался Джебраил Муслимович. — Моя дискотека... Институт Тьмы... Вы куратор? В чем интерес министерства обороны?

— Тьма — это оружие нового поколения, которое обесценивает ракетно-ядерные средства. С помощью Тьмы разрушают не просто города и военные базы, но саму эволюцию человечества от Тьмы к Свету. Сгустки Тьмы обращают эту эволюцию вспять, от Света к Тьме. От человека к животному. От животных к бактериям. От бактерий к минералам. От минералов и электромагнитных полей, лежащих в основе нашей Вселенной, к другой Вселенной, Вселенной "черных дыр", куда провалится Вселенная Света. Мы научимся добывать Тьму, и сгустки Тьмы станем использовать против наших врагов. И тогда на месте Ирана возникнет "черная дыра", на месте Китая — "черная дыра", быть может, на месте России — "черная дыра". И тем ослепительней будет выглядеть "земля обетованная", где останемся мы, "золотой миллиард" человечества. "Хромая утка" — прекрасное кодовое название для секретной фабрики Тьмы.

— Как же мы станем среди этих полоумных юнцов добывать Тьму? — Джебраил Муслимович приходил в себя, его лягушачье личико приобретало осмысленное выражение. Выпуклые, как черная смородина, глазки остро блестели.

— Мы будем предлагать вашей замечательной молодежи препарат либо в виде таблеток, либо в виде сладкого курева, либо в виде напитка. Возбужденные танцами, молодые люди охотно станут употреблять препарат, который будет возносить их к самым границам Вселенной, где начинается область Тьмы и цветут черные цветы Зла. Танцоры, как пчелы, станут собирать с этих цветов черный нектар и возвращаться на землю, неся в своих душах толику добытой Тьмы. Мы станем извлекать из них души, отбирать Тьму и накапливать ее в хранилищах. Ваша дискотека "Хромая утка" будет подобна атомному реактору, который нарабатывает боевой плутоний. Сгустки Тьмы — тотальное оружие в будущей войне. Полет к границам мироздания, пребывание на темной стороне Вселенной требуют сил и свежести, которых в избытке в вашей замечательной русской молодежи.

— Великолепно! — воскликнул Джебраил Муслимович, с восхищением, раболепно глядя на могущественного покровителя, который, понимая состояние Мамедова, молча позволял ему любоваться собой.

— Господа! — из темного угла поднялся поэт Семен Добрынин, который все это время что-то писал на бумажке. Зачеркивал и снова писал. — Я слышал ваш разговор, господа. И он навеял мне стих. Слушайте! — Добрынин выставил на свет листочек бумаги, расставил ноги, воздел руку, как юный Пушкин, читающий Державину "Воспоминания в Царском селе":

Мы дети Тьмы, сыны чертополоха.
Я погасил последнюю свечу.
Мне нужен мрак, мне при лампаде плохо.
Передо мною бездна. Я лечу.

Маерс аплодировал:

— Вы, молодой человек, продолжаете традиции русского Серебряного века. Это русское чувство бездны, над которой человек гасит последнюю свечу. Дайте мне этот стих, я опубликую его в нашем новом корпоративном журнале "Дакесс". И вот вам сразу гонорар. — Маерс залез в карман и извлек двадцать тысяч рублей, тех самых, о которых умолял Добрынин Мамедова. — Мы будем сотрудничать, молодой человек. Нам нужны поэты Тьмы, русские Бодлеры. — Он повернулся к Мамедову. — А теперь, уважаемый Джебраил Муслимович, проследуем в дискотеку, где проведем первый опыт извлечения Тьмы.

Тяжеловесный, грузный, в походных бутсах, в камуфляже морпеха, в разноцветных колодках, среди которых красовалась боевая награда "Пурпурное сердце", он проследовал в дискотеку. Там грохотал ударник и ревел "тяжелый металл". Мамедов, в халате, с болтавшейся медалью, в тапочках на босу ногу поспешил следом. А Добрынин, сжимая заветный гонорар, поспешил в пивной бар, где в кругу поэтов еще и еще раз читал свой сакральный стих.

Дискотека сотрясалась от грохота. Колонки казались орудиями, из которых вылетал металлический звук, подобный артиллерийским залпам. Полыхал огонь, содрогалась земля. Разноцветные лазеры секли пространство, казались пулеметными трассами, раскаленными иглами, которые впивались в людей, пронзали насквозь, ударялись о стены, рикошетом отлетали в толпу. Под потолком вращалась одноногая утка, усыпанная зеркальными ломтиками, и от нее рассыпались зайчики света, и казалось, что в танцевальном зале падает снег. Внезапно полыхала ослепительная плазма, в которой люди исчезали, как в атомной вспышке. Потом наступала тьма с грохотом преисподней. И снова начинали метаться лазеры, и были видны пульсирующие танцоры, гибкие спины, всплески рук. Другие, обнявшись, целовались, окруженные безумным хороводом. Третьи застыли, закрыв глаза, словно спали среди канонады, атомных взрывов, кромешного сражения, испепелявшего живую плоть.

За стойкой бара ловко колдовал бармен, наполняя рюмки разноцветными ликерами, золотым коньяком и водкой. Тут же, у стойки, сновали верткие торговцы, передавая в руки молодых людей и девушек пакетики с наркотическим зельем. Обладатели дурманных порошков удалялись в темный коридор, где, как лампадки, вспыхивали зажигалки, озарялись бледные лица, ложечки над язычком огня, обнаженная рука с веной, проблеск шприца. Возвращались из коридора — одни в безумном возбуждении, прыгая в танце, совершая акробатические трюки. Другие, сонные и вялые, как водоросли, колыхались в темных потоках. У входа стояли могучие охранники в черной униформе, и среди них находился длинноволосый араб, на которого иногда налетала вспышка, и тогда его лицо казалось металлическим, и жестокие глаза отражали росчерки лазеров.

В эту грохочущую, рассекаемую лезвиями тьму с зеркальной одноногой уткой под потолком ступили Маерс и Мамедов. Маерс прошел к бару, сбросил тяжеловесные бутсы и поставил их на стойку. Рядом положил рацию. Стянул с запястья часы со множеством циферблатов и вмонтированной системой "джипиэс". Босоногий, грузный, с капроновым военным ремнем, протиснулся в гущу танцующих. Развел руки в стороны и сделал внезапный поворот на голой пятке, освобождая вокруг себя пустое пространство. Стал страстно топтаться, мелко перебирая ступнями, вздрагивал торсом, запрокидывал голову, похожий на огромную птицу, исполняющую брачный танец. От него исходили жаркие волны, которые воздействовали на толпу, и танцоры стали повторять его движения.

Маерс подпрыгнул на одной ноге, вытянув другую вперед, и стал вращаться, рывками, поднимаясь и опускаясь на носке, ведя распахнутыми руками, раскручивая вокруг себя огненный вихрь, в котором лазерные лучи искривляли свои траектории, сливаясь в искристое колесо. И танцующие вовлекались в это круговое движение, неслись вокруг Маерса в неистовом хороводе. А он все убыстрял свои скачки, раскручивал безумную карусель,

в которой мелькали отрешенные лица, плескались волосы, отражали цветные вспышки глаза, улыбались сладострастные губы.

Маерс подпрыгнул, как акробат, перевернулся в воздухе и, коснувшись ступнями потолка, повис головой вниз. Стал топтаться вокруг зеркальной утки, стучал в потолок пятками, отбивая чечетку, и некоторые из танцующих подпрыгивали, делая сальто, но, не достигая потолка, падали на пол. Все остальные запрокинули вверх головы, раскачивались, хлопали в ладоши, будто славили летающее над ними божество, победившее закон притяжения.

Маерс, как ныряльщик, раскинув руки, спустился на пол. Музыка стихла. Лучи перестали метаться. Только утка кружила под потолком, сыпала белый снег.

Маерса обступила молодежь.

— Клёво!

— Прикольно!

— Откуда такие понты?

Стройный юноша в штопаных джинсах, рубашке навыпуск, с прической "ирокез" изумрудного и канареечного цвета, дружелюбно и насмешливо потрогал медаль на груди Маерса:

— "Пурпурное сердце". А "Пурпурная печень" есть? А "Пурпурные почки"?

Очаровательная девушка с полуоткрытой грудью томно обняла Маерса:

— Хочу от тебя родить.

Парень в безрукавке с голыми плечами и крепкими бицепсами, сплошь покрытыми затейливой татуировкой, небрежно спросил:

— А, правда, что ваш президент — кенийский пидор?

Маерс улыбался, отвечал веселыми шуточками, позволял молодежи трогать кобуру с пистолетом, щупать ткань камуфлированного мундира.

— А как вам удается висеть вниз головой? — спросила рыжая девушка, поднимая веснушчатое лицо к потолку, где вращалась одноногая утка.

— А я перед этим накурился космического дыма, — ответил Маерс. — Он применяется в специальных войсках США, действующих в открытом Космосе. Хотите попробовать?

— Хотим, дядечка.

— Дай нюхнуть!

— Дай оторваться по полной!

Маерс отыскал в толпе длинноволосого араба, кивнул. И тот принес к бару и поставил на стойку кальян из черного стекла, испещренного таинственными письменами, изображениями цветов и фантастических животных. Гибкая трубка с чубуком обвивала стеклянный сосуд, как малиновая змея. В глубине медной чашки тлел уголек. Маерс взял трубку, предлагая молодым людям:

— Кто первый? Кто уподобится космическим пехотинцам США, ведущим звездные войны в открытом Космосе?

Опять заиграла музыка, заахал ударник, брызнули снопы лучей. Парень с "ирокезом" взял трубку, сунул в рот мундштук и, пританцовывая, стал дышать, делая полные вдохи, от которых огонек стал красным, как рубин, а письмена на черном стекле стали светиться, как ночные водоросли.

Парень дышал, глотал дым. Глаза его светлели, лицо становилось изумленным, восторженным. Он выронил чубук. Пошел от бара в танцующую толпу. Были видны его сильные, страстные прыжки, приседания, счастливое побледневшее лицо, блаженная улыбка, торчащий гребень волос в переливах зеленого и золотого.

— Смотрите, Джебраил Муслимович, действие препарата, — Маерс начертал в воздухе квадрат, который наполнился лунной синевой, как экран, и на нем возникло изображение танцора, совершающего круговые качания. Его тело было прозрачным, как у некоторых видов рыб, у которых сквозь стеклянную плоть просвечивают внутренние органы.

— Сударыня, вы следующая? — Маерс галантно обратился к девушке с очаровательным лицом и приоткрытой грудью, на которой переливался декоративный крестик. — Вы действительно хотели бы иметь от меня ребенка?

— Почему бы нет? — смело ответила девушка, поднося к свежим губам чубук кальяна. Стала осторожно вдыхать, поднимая и опуская острые плечи, и крестик на ее груди чудесно мерцал. Сделала глубокий вдох, и лицо ее стало восхищенным, словно она взлетела, чтобы потом упасть с высоты в лазурное теплое море.

— Смотрите, Джебраил Муслимович. — Маерс снова зажег перед Мамедовым млечный экран, и на нем, как на мониторе медицинского прибора, возникло прозрачное лоно, и в нем крохотный, как розовая креветка, эмбрион. Головка без шеи, черные бусины глаз, пульсирующие ножки и ручки. Зародыш, заключенный в студенистое, с жемчужным отливом, вещество, дрожал, трепетал, поглощал материнские соки. На глазах увеличивался, темнел, становился смуглым, фиолетово-черным, покрывался колючей щетиной. В голове обозначился хищный клюв. На лапках заострились железные когти. Он раздирал ими материнское чрево, долбил материнскую плоть отточенным клювом. И вдруг страшно увеличился, разорвал мешавшие зыбкие ткани и рванул на свободу. Превратился в зловещий аппарат с жестокими черными крыльями, заостренным фюзеляжем. С ревом, выбрасывая багровый огонь, ушел в небеса, в туманную звездную даль, где гасли и умирали светила, затухал млечный путь и открывалась непроглядная Тьма, безмолвная пустота, в которую провалилась Вселенная.

Девушка лежала на полу. В глазах ее застыл стеклянный кромешный ужас. А вокруг танцевали, целовались, и ловкий танцор, копируя Майкла Джексона, ходил вокруг упавшей девушки скользящим шагом.

Джебраил Муслимович испытывал восторг и ужас. Он, заурядный торговец наркотиками, в вечном страхе перед изобличением и тюрьмой, вынужденный таить свое состояние, общаться с грязными чиновниками и продажными полицейскими, становился подданным великой страны, основателем мирового научного центра, профессором Тьмы, директором вселенского мрака. Пытаясь уверить себя, что это не сон, что стоящий рядом с ним босой американский полковник является другом и покровителем, Мамедов смотрел, как охранники вытаскивают за ноги бездыханных юношу и девушку и волокут в коридор.

— Кто следующий? — взывал Маерс, похожий на владельца забавного аттракциона. — Кто хочет поучаствовать в звездных войнах?

Парень в безрукавке, с татуировкой на выпуклом плече, взял в рот чубук. Сильно, со свистом вздохнул, так что уголек в медной чаше вспыхнул фиолетовым язычком. Его лицо, мужественное и смелое, вдруг расплылось в идиотической улыбке счастья, изо рта потекла слюна, а глаза закатились, открыв голубоватые, как облупленное яйцо, белки.

Скоро и он с открытым ртом лежал на полу, изо рта вяло сочился дым, словно внутри выгорели все внутренности.

— Следующий, следующий! — бодро зазывал Маерс, похожий на затейника.

Рыжая девушка в топике взялась за кальян. Ее деревенское лицо было в веснушках, волосы у висков свернулись в трогательные завитки.

— Ваш кальян волшебный? — спросила она Маерса.

— О да!

— А можно загадать желание?

— Любое, моя дорогая!

— Можно сделать так, чтобы у меня пропали веснушки?

— Ты будешь такой же красивой, как голливудская звезда!

Девушка доверчиво кивнула, взяла в рот костяной мундштук кальяна. Сделала несколько длинных, старательных вдохов.

Вскоре мертвую девушку охранники выволакивали в коридор, и оттуда слышался смех.

— Мы можем идти, — сказал Маерс. — Мы добыли некоторое количество Тьмы, которое переправлено в секретное хранилище. До скорой встречи, господин профессор, — и с этими словами Маерс исчез среди лазерных вспышек, в грохоте тяжелого рока, в беснующейся толпе.

Джебраил Муслимович вернулся в кабинет. Стоял в раздумье, трогая на груди орден. Поднес к ноздрям американский паспорт и сделал вдох. Паспорт издавал запах мышиного помета, такой же, как и американские доллары. Мамедов долго рассматривал свою фотографию с голографическим штемпелем. Благоговейно ее поцеловал.

ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ

По городу П., разбрасывая фиолетовые вспышки, катил "Мерседес", за рулем которого сидел длинноволосый араб и рядом с ним главный полицмейстер, полковник Мишенька. Следом двигался тяжеловесный автозак, пугая прохожих своим угрюмым жестоким видом. Машины подкатили к речному затону, где у причалов отдыхали лодки, катера и яхты, мучнисто белел неисправный теплоход "Оскар Уайльд", и лодочник Ефремыч, свесив с причала ноги, смотрел на поплавок, вот уже добрый час не подававший признаков жизни. Он услышал за спиной шаги. Увидел трех дюжих полицейских, которые схватили его за плечи, вздернули на ноги.

— Вы что, очешуели? — возмутился Ефремыч, уронивший удочку.

— Был рыбак, а стал рыбой. Твою чешую почистим. — Полковник Мишенька ловко ткнул его под ребро, от чего Ефремыч охнул и замолчал. Его подвели к автозаку и пихнули в темную, прелую глубину. Чувствуя острую боль в ребре, он сел на лавку, слыша, как глухо заработал мотор.

Доктор Зак размышлял над суждениями Юнга, предлагавшего психиатрам искать в заболеваниях извращенные или подавленные архетипы. И какие архетипы оказались подавленными в пациенте, грызущем и глотающем металлические предметы. Перебирая в памяти образы античных героев, он услышал в коридоре грузные шаги. Дверь распахнулась, и на пороге появился полицейский полковник:

— Ну, ты, синагога, пора идти. Как же у тебя в кабинете чесноком воняет.

Зак растерянно поднялся, испытывая реликтовый ужас жертвы холокоста. И двое крепких, розовощеких полицейских вытолкали его на улицу и запихнули в автозак, где он, дрожа, как лист, опустился на лавку рядом с другим арестантом.

Анна Лаврентьевна, директор сиротского приюта, строго выговаривала мальчику Сереже, который принес в столовую банку с лягушками, выпустил их, и они стали прыгать по столам, наводя ужас на девочек. Анна Лаврентьевна старалась быть строгой, но в глубине души смеялась, вспоминая, как зеленые лягушки скакали по столам, а девочки визжали. Она обернулась, услышав за спиной грубый окрик:

— Старая перечница, кончай зудеть. Идем с нами.

Это говорил полицейский полковник с добродушным крестьянским лицом и симпатичной улыбкой.

— Это вы мне? — удивилась Анна Лаврентьевна.

— А тут больше нет перечниц. — Полковник толкнул ее, и она, потеряв равновесие, упала. Двое полицейских подхватили ее под руки и поволокли по коридору. Она пробовала протестовать. С одной ноги ее соскочила туфля. Мальчик бежал следом, хватал полицейских, и полковник отшвырнул его, как щенка. Анну Лаврентьевну выволокли из дома, вбросили в железный фургон, где она, полубосая, в разорванной кофте, оказалась рядом с другими арестантами. Было слышно, как снаружи смеялись полицейские.

Шаман Василий Васильев уже несколько дней не касался своего магического бубна, а размышлял над системой звездной навигации для космического корабля, которую разрабатывал в советское время и которая осталась незавершенной после разрушения научного центра. Спектральное излучение звезды 114 Лео попадало в бортовой анализатор, обретало форму цифрового сигнала, который воздействовал на рули корабля, летящего в созвездие Льва. Василий Васильев с наслаждением писал математическую формулу, когда в его квартиру позвонили. Он открыл дверь, и несколько полицейских

выволокли его на лестничную клетку, а полицейский полковник, смеясь, стал топтаться на месте, выпучивая глаза и изображая шамана:

— Колдун, хватит народ дурить. Помоги себе самому!

Василия Васильева сволокли вниз по лестнице, зашвырнули в автозак, и полковник напоследок скорчил страшную рожу, видимо, изображая ритуальную маску.

Колокольных дел мастера Игната Трофимовича Верхоустина взяли на литейном дворе, когда рабочие поднимали на лебедке большой коричневый колокол с золотым образом Богоматери и славянской надписью: "Богородица, Дева, радуйся". Крепкого сложения полковник сгреб в охапку мастера и ткнул головой в колокол, который печально и гулко охнул. Оглушенного мастера сунули в автозак, машина уехала, а в колоколе все еще жил рыдающий звук.

Хранителя мемориала Аристарха Петухова схватили в момент, когда он поправлял на барачных нарах бирку с номером заключенного. Его пинками выгнали из барака, и на вопрос, куда его тащат, веселый полковник ответил:

— Товарищ Берия тебя вызывает.

И дверь автозака захлопнулась.

Ученик Коля Скалкин только что прочитал бабушке свое сочинение про звездную пушку, и бабушка умилялась, гладила внука по пшеничным волосам. В это время в садик, где проходило чтение, вбежали полицейские, схватили Колю Скалкина, отбросили голосящую бабушку и потащили мальчика в автозак. Следом шагал полковник, рвал на куски тетрадь, приговаривая:

— Пушка, говоришь? Звездная, говоришь?

И мальчика поглотил железный зев автозака.

Священник Павел Зябликов в окружении верующих читал литию, поминая усопшего прихожанина. Кругом были черные платки, золотились свечи, темнел чудотворный Спас. Когда в храм ворвались полицейские, потащили к выходу отца Павла, он только и успел крикнуть обомлевшим прихожанам:

— До встречи на кресте!

И крик утонул в реве тяжелого грузовика.

"Мерседес" и автозак выехали на окраину города, где размещались ангары и склады. Остановились у ребристого железного ангара, где прежде размещалась авторемонтная мастерская. Арестантов провели сквозь отсек, где с потолка свисали цепи, на ржавых верстаках были разбросаны молотки и отвертки, стояли паяльные лампы и тиски. В соседнем отсеке было пусто, земляной пол был пропитан машинным маслом, а сквозь отверстие в крыше пробивался яркий солнечный луч. Арестанты оглядывались, отец Павел читал молитву, а ученик Коля Скалкин протянул к лучу руки, словно хотел выбраться по нему из мрачной тюрьмы.

ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ

Пробуждение Веры было великолепным и напоминало ее детские пробуждения, когда брызнувшее в глаза утро, лазурь за окном, запах цветов на невидимой клумбе вызывали в ней ликованье. Тогда каждая клеточка детского тела, каждый вздох, каждое дрожанье зрачка говорили о счастье, о чуде, о бесконечной любви, во имя которой она родилась и существовала на этом свете.

Любимый человек был рядом с ней, ее голова лежала у него на груди, и она слышала ровные биения его сильного доброго сердца. Никола с воздетым мечом стоял на верстаке, и на его лобастой голове был венок из садовых ромашек, который она сплела накануне, и синие деревянные глаза праведника наивно смотрели из-под белых соцветий.

Вера дождалась, когда ресницы Садовникова задрожали, его серые глаза раскрылись, а потом прищурились, спасаясь от полыхнувшего солнца.

— Доброе утро, милая.

Они не торопились вставать, предвкушая долгий летний день, который

им было даровано провести вместе, проживая каждую минуту, как маленький драгоценный слиток, из которых теперь состояла вся их жизнь.

— Я хотела тебя спросить, — Вера играла красной бусинкой, которая лежала на груди Садовникова, — амулет, оставшийся от его покойной жены. — Ты столько сделал для меня. Исцелил, приютил, сделал счастливой. От тебя исходит сила и благородство. Ты спасаешь, вдохновляешь, обладаешь неведомыми знаниями, которые побеждают зло. Кто ты такой? Почему ты один? Кто были твои друзья? Мне кажется, ты находишься в постоянном ожидании каких-то огромных событий, о которых знаешь и которым помогаешь свершиться. В тебе есть какая-то тайна, которую ты не пускаешь наружу, заслоняешь ее, но она вдруг сверкнет в твоих глазах голубым лучом, как отблеск той звезды, которую ты мне показал. Что это за тайна? Каких ты ожидаешь событий? Кто ты, мой милый?

Садовников чувствовал, как трепещет в нем его тайна. Как откликается на ее слова бестелесными вспышками. Стремится себя обнаружить, перелиться из глубины его разума в ее чистую наивную душу. Он любил ее душу, верил ей, что спасало его от печального одиночества. Тайна не пугалась ее, не стремилась спрятаться в глубины его подсознания, под защиту множества непроницаемых, непроглядных оболочек. Осторожный и мнительный, окруженный опасностями, он все эти годы сберегал драгоценный кристалл, как сберегают во время нашествий бесценный шедевр. Прячут его под землю, забрасывают ворохом мусора и ненужных вещей, дожидаясь часа, когда враг отступит. И тогда будет явлена чудотворная, в драгоценном окладе икона.

— Ты хочешь знать мою тайну? Хочешь знать, каких событий я ожидаю? Тогда вставай. Я тебе откроюсь.

Они подъехали к речному затону, где у причалов белели нарядные яхты, изысканные катера, и среди лодок, прикованная тонкой стальной цепочкой, покачивалась моторка Садовникова. Было удивительно, что отсутствует Ефремыч, любитель порассуждать о политике. Всякий раз, когда встречался с Садовниковым, он спрашивал, скоро ли коммунисты возьмут власть и народ сможет пахать землю и строить звездолеты.

Садовников помог Вере сесть в лодку. Отпихнулся он пирса и включил мотор. Почти бесшумно, с легким птичьим стрекотом, мотор погнал лодку по затону, мимо ветхого теплохода "Оскар Уайльд", к открытой воде. И когда река сверкнула своим огромным солнечным блеском, дунула синим ветром, Садовников увеличил скорость, и лодка, ударяясь о встречные волны, помчалась на простор.

Вера, поместившись на носу моторки, сражалась с ветром, который путал волосы, рвал платье, сыпал в лицо сверкающую росу. На крутом берегу белел город, блестели главы соборов, зеленели парки. И все это уплывало, оставалось позади. Остроносая лодка мчалась на просторе среди слепящих огней, синих вспышек, перепрыгивая через волны. Вера видела, как на корме Садовников отворачивается от ветра, за его спиной разбегается кружевной клин, а над его головой дрожит прозрачная радуга. Он улыбался ей, словно спрашивал, хорошо ли ей. И она улыбалась в ответ, отвечая, что ей чудесно.

Не было ни города, ни прибрежных деревень, ни встречных кораблей. Была огромная сверкающая пустота и зеленые лесные берега, словно они плыли по первобытной, девственно чистой реке, среди молодой земли. Из воды внезапно выскакивали большие серебристые рыбы, изумленно взглядывали крутящимися глазами и снова проваливались в пучину. Вере казалось, что река опустилась на землю из неба, захватила с собой небесные силы, голубые струи, огненные стихии. Подхваченная этой рекой, она поплывет по ней, а потом река унесет ее в небо.

Через час или два этого упоительного полета Садовников причалил лодку к лесистому берегу. Набросил цепь на упавший ствол. Перенес Веру под деревья на теплую землю.

Они шли по сосновому лесу, без тропы, по сизым мхам. В лесу было просторно и жарко, в воздухе пахло эфиром, от муравейников исходил запах спирта, и проблеск бесшумной птицы казался искрой, от которой может

полыхнуть пожар. Вера шла за Садовниковым, огибая редкие кусты можжевельника. Сосны у корней были фиолетовые, выше ствол становился золотым, и над ним высоко, стеклянно сверкала хвоя, в которой струился бесцветный огонь.

— В этом лесу мои друзья записывали музыку соснового бора. Хочешь послушать симфонию сосны?

Вера кивнула. Садовников осторожно сжал пальцами мочки ее ушей, и ей показалось, что беззвучный воздух вдруг наполнился гулом, жужжаньем, свистом. Так шуршали муравейники, шелестела от ветра хвоя, звенела попавшая в паутину мушка.

— Приложи ухо к сосне и слушай.

Она обняла теплый ствол, прижалась щекой к золотистой чешуе, из которой выступила смоляная капля. И дерево зазвучало, словно в стволе трепетало множество струн, в которые ударяли натертые канифолью смычки, дрожали звонкие клавиши, рокотали гулкие трубы. Восхитительный оркестр то могуче вздыхал, собирая звуки небес, вспышки солнца, порывы ветра, высокие крики ястреба. То затихал, переливаясь струями донных вод, слабым шевеленьем корней, жужжаньем прилипшего к смоле комара. Вера с восхищеньем внимала, улавливая гулы ураганов, трескучие паданья молний, шелест внезапных ливней. Слышала хрустальные звоны звезд, шепот снегопадов, барабанные стуки дятлов. В этой древесной музыке ей чудились великие оперы, струнные и фортепьянные концерты, партии знаменитых балетов.

Она отстранила голову, и сосна затихла. Только струился вдоль ствола стеклянный жар, и в серебряной хвое пылала синева.

Сосновый бор сменился смешанным лесом, в котором могучие, черно-серебряные березы качали длинными, свисавшими до земли ветвями, пахнущими банными вениками. В густой траве горели лесные герани, нежно голубели колокольчики, в шуме ветра пела невидимая одинокая птица.

— Где-то здесь, неподалеку, растет гриб, — сказал Садовников. — Слышишь, как он пахнет?

— Не слышу, — сказала она.

— А теперь? — он провел пальцем по ее лбу, переносице, тонкому носу, слегка надавил незримую точку над верхней губой. И вокруг внезапно расцвело множество запахов, благоуханий, сладких ароматов. Она чувствовала тление земли, сладость созревшей земляники, горечь березовой коры. Как чуткий зверь, она улавливала присутствие в ветвях теплой птицы, горячие испарения пробежавшего лося, и среди всех дурманов, пряностей, терпких дуновений она различила чудесный, волнующий запах гриба, молодой, сильный, свежий. Пошла на этот запах, отводя в сторону иные, мешавшие ароматы. Под березой, в зеленой траве, среди мелких желтых цветочков увидела белый гриб. Его коричневую замшевую шляпку, маслянисто-белую ножку.

— Боже, какое чудо! — с испугом и восхищением воскликнула она, пала перед грибом на колени, как перед лесным божеством. Поцеловала его холодную голову, как целуют душистую голову царственного ребенка. — Ты лесной колдун, наколдовал этот гриб!

Садовников улыбался, вел ее дальше, оставляя в зеленой траве маленькое лесное божество.

Вышли на поляну, на которой чернела болотная лужица, кругом росли пышные зонтичные цветы, желто-фиолетовые купы иван-да-марьи. Солнце дрожало в черной лужице, бегали по цветам тени и полосы света. Поляна казалась пустой и тихой.

— Что ты видишь? — спросил он ее.

— Цветы, воду, какая-то стрекоза пролетела.

— А теперь? — он медленно провел ладонью перед ее глазами, словно снимал пелену. Ее зрачки вдруг расширились, и она увидела бесчисленные оттенки цвета, бесконечные переливы изумрудно-зеленого, снежно-белого, темно-фиолетового, красно-золотого. Поляна дышала, мерцала, шевелилась бессчетными жизнями. Крохотные мотыльки трепетали крыльями у корней травы, сверкая бусинами глаз. Множество прозрачно-зеленых, как травяной

сок, букашек ползало на обратной стороне листьев, прячась от разящего солнца. Божья коровка раскрывала свою пятнистую скорлупу, пытаясь взлететь. Паучки кружили в затейливом танце, качаясь на радужных паутинках. В черно-золотой, пронизанной солнцем воде сновали стремительные блестящие жучки, лезла по стеблю медлительная личинка, бежали во все стороны водомерки, выбрасывая из-под ног микроскопические вспышки света.

Вера обрела пугающую зоркость, позволявшую видеть почти невидимое. Шевелящуюся горку земли, потревоженную кротом. Мелькнувшую, в бархатной шубке, лесную мышь. Осторожную зеленую лягушку с дрожащим белым подбородком и черными, в золотых ободках, немигающими глазками. Вся поляна была скоплением бесчисленных жизней, которые сливались в одну единую жизнь, разлитую в мирозданье, и она сама была вместилищем этой нераздельной жизни, позволявшей ей любить и эту голубую стрекозку, и липкую улитку, и пробежавшую среди стеблей желтоклювую птицу. И это ощущение общей для всех, нерасчленимой и божественной жизни наполнило ее молитвенным восторгом и благоговением. Ликуя, славя Всевышнего, она протянула руки, и на ее ладонь присела малиновка с розовой грудкой и черными бусинками глаз.

— Боже, какое счастье! — воскликнула она, глядя на Садовникова, у которого на руке сидела другая птица с тонким клювом и белым фартучком. — Всех люблю! И тебя люблю!

Когда птицы улетели, она спросила:

— Ты понимаешь язык птиц и деревьев?

— Деревья сочиняют музыку, а птицы пишут стихи.

— А облака? Ты понимаешь язык облаков?

— Облака — это великие скульпторы. Они мастера изваяний и статуй.

— А ты можешь сделать так, чтобы пришли облака, и хлынул дождь? — она посмотрела на синее небо, где не было ни единого облачка.

— Для этого нужно разговаривать с ветром, чтобы он привел сюда грозовое облако.

Садовников вышел на середину поляны, воздел руки к небу и стал смотреть в пустоту, описывая руками круги. Черпал воздух, создавая воздушные вихри, словно выкликал ветер, чтобы тот разыскал в лазури стада облаков, и направили их к этой поляне, озаренной горячим солнцем. Вера следила за его взмахами, слышала его странные возгласы, состоящие из одних гласных звуков. И вдруг почувствовала дуновение ветра, который шевельнул вершины деревьев. За первым дуновением последовал второй и третий, кроны берез шевелились, свисавшие до земли ветки качались. И над вершинами высоких, окружавших поляну деревьев появился белоснежный край облака. Садовников выманивал, вымаливал, вытягивал под уздцы огромного белого коня, и облако выкатывалось в своей белизне, с голубыми тенями, восхитительное и прекрасное. Садовников, усталый, с блестящим от пота лицом, вернулся к Вере:

— Ветер меня услышал.

Облако разрасталось, выкатывало из себя клубы. Закрыло солнце. Веер голубых лучей бил из облака, а оно поглощало лучи, прятало их в глубине, где наливалась лиловая тьма. Край облака ослепительно горел, а его сердцевина темнела, сгущалась, и у расплавленной кромки, едва заметная, кружила семья ястребов.

Ветер, шелестевший в вершинах, внезапно стих, и поляна под облаком казалась недвижной и сумрачной. Только над потемневшей травой металась очумелая бабочка. Внезапный порыв согнул вершины, вывернул их наизнанку. В туче сверкнуло, слепо моргнуло и страшно треснуло, будто раскололась ближняя береза. Вера испуганно прижалась к Садовникову. Вихрь шумел в деревьях, падали отломанные сучья. И первые тяжелые капли, пробивая листву, упали на землю.

Ветер улетел в глубину леса и там свистел, ревел, а с другой стороны стал приближаться ровный, нарастающий шум. И внезапно из тяжелого неба упал серый холодный ливень, сплошной, с хлестом, хлюпом, прошибая насквозь листву, проливая из березы множество холодных ручьев. Белый

ствол стеклянно блестел. По нему текла вода. Поляны не было видно за мутной завесой. Громыхало, сыпало с неба короткими трескучими молниями, слепило, оглушало.

Вера спрятала лицо на груди у Садовникова, и они стояли под сплошным водопадом, в прилипших одеждах, словно в березе образовалась зеленая пробоина, из которой мощно хлестала вода.

Дождь стал иссякать, струи редели, поляна открылась с упавшей травой и мятыми цветами. Вдруг брызнуло солнце, зажглись на березах хрустальные люстры. По всей поляне бежали разноцветные полосы света. С ветвей текло, сверкало, булькало у корней. Вновь была синева, из которой отлетал, удалялся белый край тучи. Где-то далеко еще громыхало, но здесь все отдыхало от бури. Дышало, сверкало. Над лесом туманным огнем загорелась радуга.

— Боже мой, — сказала Вера, отклеивая от груди ставшее прозрачным платье. — Это ты все устроил?

— Ветер меня услышал.

Они двинулись дальше через мокрый лес и внезапно вышли на бетонную дорогу. Плиты бетона высыхали под солнцем, от них поднимался пар. По дороге давно никто не ездил. Она была усыпана сосновыми шишками, из щелей в бетоне росла трава и мелкие березки.

— Куда ведет дорога? — спросила Вера.

— В созвездие Льва, к звезде 114 Лео, — ответил Садовников.

Они шли по бетонке, и дорогу им перебегали полосатые бурундуки, перескакивали проворные белки. Сойки вылетали из леса, скакали по бетону, а потом с пронзительным криком, сверкнув бирюзой, улетали в чащу.

Лес расступился, и с одной стороны открылась гарь, поросшая красным кипреем, а с другой стороны блеснуло озеро, круглое, окруженное мелколесьем. У берега, поднимаясь из воды на стройных ножках, росли белые и розовые цветы.

— Какая красота! — восхитилась Вера, любуясь цветами. — Как они называются?

— Это лотос, — ответил Садовников.

— Лотос? На севере? На Урале?

— Озеро не замерзает зимой. На нем зимуют лебеди. Быть может, на дне бьет горячий ключ.

— Как оно называется?

— Людмила.

— Какое странное название.

— Так звали мою жену. В этом месте в небе сгорел звездолет, который испытывала моя жена. Образовалась воронка, наполнилась водой. Лебеди из теплых стран принесли семена лотоса, а на дне забил теплый ключ.

Вера смотрела на темную, в слепящих отблесках воду, на нежные, трепещущие соцветья, на Садовникова, чье лицо было тихим и сосредоточенным, как у богомольца перед чудотворной иконой.

…Заброшенная бетонная трасса вела их сквозь леса, которые вдруг распахнулись, отодвинулись в сторону, превратившись в синие волнистые дали. И открылось огромное поле, в волнах серебристого ветра. Бетонка исчезала в этих ветряных травах, и ее продолжением служили три длинные, вытканные цветами дороги, ведущие к горизонту и исчезавшие среди ветра, цветочной пыльцы и небесной лазури. Казалось, над полем пролетел неведомый сеятель. Сыпал семена волшебных цветов, а потом взмыл и исчез в небесах. Семена распустились соцветиями неземной красоты и нежности.

— Я никогда не видела таких цветов, — сказала Вера, наклоняясь к золотым лепесткам с голубой сердцевиной. — Они так чудесно пахнут, в них такое целомудрие и святость.

Три дороги, — сиреневая, алая и золотая, — начинались у их ног, волновались от ветра, и казалось, что среди цветов мчатся вдаль три крылатых существа, переливаясь вспышками света.

— Это цветущее поле — космодром, с которого улетели к созвездию Льва три звездолета. Их траектории отмечены цветами, и ты права, таких

цветов не знает земля. Зато на звезде 114 Лео все опушки и лесные поляны в этих цветах.

У края поля росла одинокая осина с зыбкой сверкающей кроной, в которую залетал ветер, шелестел, теребил листья, и казалось, в осине поселилась беспокойная стая птиц, машет стеклянными крыльями.

— Здесь мы сядем, и я открою тебе мою тайну. Ты спросила меня, кто я такой? Здесь, под этим деревом, у этого поля мне будет легче тебе объяснить.

Они сели на теплую землю, в трепещущую розоватую тень. Коричневый корень выступал из земли, и на нем дремала крохотная мохнатая гусеница. Близкое поле волновалось неземными цветами, от которых исходила дивная сладость. Садовников чувствовал, как в душе волновалось чудесное сокровенное знание, его заповедная тайна, которой был готов поделиться с любимой женщиной. Он вздохнул, провожая глазами волну волшебных цветов, побежавших вдаль через поле. И начал рассказ:

— Никто не знает, что еще во время войны, когда войска штурмовали Кенигсберг и Варшаву, Сталин создал сверхсекретную организацию под названием "Институт Победы". Вождь собрал в этот институт не конструкторов самолетов и танков, не полководцев и директоров предприятий, не героев фронта и тыла, а историков и философов, священников и антропологов, писателей и музыкантов, сказителей и психологов, математиков и физиков. Этот институт состоял из множества отделений, которые были разбросаны по всей стране, не имели общего центра, единого помещения, явного руководства. Каждое подразделение не знало, чем занимается соседнее, и результат исследований складывался, как мозаичное изображение, состоящее из отдельных частичек. Секретность исследований превышала ту, что впоследствии окружала атомный проект и ракетное производство. Это была организация нового типа, подобная тем, что теперь называют сетевыми. Чем занимался этот таинственный институт? Сталин чувствовал, что Победа в этой кромешной войне далась не только гением полководцев, не только скорострельностью пушек и крепостью брони, а могучими таинственными силами, витавшими над полями сражений, явленными в поведении миллионных армий и отдельных солдат. Энергии, таившиеся в глубинах русской истории, проснулись и двинулись на помощь окровавленным советским дивизиям, поселились в душах атакующих пехотинцев, в истерзанных телах пленных подпольщиков, в сердцах малолеток, вставших к токарным станкам. Божественные энергии Света, благодать неба излились на русский народ, приносящий в кровавых боях христову жертву, не пускающий Тьму пролиться в земную историю, заслоняющий своими пробитыми сердцами гибнущее человечество. Целью Института Победы было изучение этих энергий, управление этими энергиями, создание на основе этих энергий цивилизации Света, расы бессмертных совершенных людей. В институте изучались исторические хроники и священные тексты, волшебные сказки и языческие волхования, русская поэзия от "Слова о полку Игореве", стихов Пушкина и Гумилева до поэзии Симонова и романов Шолохова. Здесь изучалась психология героизма и жертвенности, мифы о Беловодье и сказки о молодильных яблоках. Ты меня понимаешь? Мой рассказ не кажется тебе фантастичным?

— Я тебя понимаю. Твой рассказ кажется мне фантастичным. Хочу услышать твой фантастический чудесный рассказ.

Вера слышала шелестящие звоны серебристой осины, видела розовую зыбкую тень, перебегавшую по ее рукам и ногам, вдыхала сладостные пьянящие ароматы волшебных цветов. И голова ее тихо кружилась в восхитительном сне, в котором приснилась ее жизнь, и это ветряное волнистое поле, и этот чудесный немолодой человек, ставший для нее единственным, драгоценным.

— Там был отдел новейшей физики, в котором материя подвергалась воздействию исторической энергии, а энергия божественного Света проникала вглубь кристаллических решеток. В результате создавались материалы сверхпрочные, сверхгибкие, выдерживающие удар любого снаряда и взрыва. Прозрачные для лучей настолько, что становились невидимыми, и ты мог

ощущать их только наощупь. Поглощавшие все без остатка лучи, так что сделанный из них самолет становился неразличим. Из этих материалов создавались корпуса звездолетов, оболочки приборов, способных работать на солнце, плазменные поля, пропускавшие электрический ток без потерь на тысячи километров. В стенах Института Победы возникла математическая школа, способная вычислять Будущее. Она доказала, что Победа сорок пятого года была одержана гораздо раньше и уже содержалась в победе на Чудском озере, в Куликовской битве, под Полтавой, на Бородинском поле. Гравитация мистической Победы сорок пятого года притягивала и вызывала к жизни все события предшествующей русской истории. Та же математика доказала, что скорость перемещения может превышать скорость света и соответствовать скорости мысли. Так что возможны условия, при которых мы можем моментально переместиться в другую галактику. Все эти теории способствовали созданию межгалактических звездолетов, опытные образцы которых были сконструированы в семидесятых годах. Я не слишком сложно выражаюсь? Тебе это интересно?

— Я все понимаю. Ведь я читала научно-фантастические романы про машину времени, про марсианские города, про Аэлиту. А теперь эти романы стали действительностью.

Вера улыбалась, вслушиваясь не в смысл, а в голос, который произносил эти сказочные слова. Сидевший перед ней любимый человек был сказочник, который исцелил ее от горького недуга и теперь окружал фантазиями, видениями, отвлекая от темных воспоминаний. И она не удивится, если на осину вдруг сядет птица с сияющими перьями и золотыми глазами, если по полю промчится огненная кобылица, а само цветущее поле поднимется на воздух и, волнуясь, полетит, как волшебный ковер.

— Там работали теоретики, изучавшие опыт коллективов, в которых отдельный член сообщества, включенный в общее дело, способствует совершенствованию сообщества и при этом совершенствуется сам. Человек отдает коллективу все свои силы и дарования, и при этом эти силы и дарования постоянно умножаются. Такими организациями были боевые подразделения Красной Армии, монастыри древней Руси, заводы, выпускавшие военную технику, научные школы, работавшие над великими открытиями. Таким коллективом была Брестская крепость, оплот сопротивления. Соловецкий монастырь, осажденный царскими стрельцами. Поэты Серебряного века, составлявшие сложное творческое единство. Семеновский и Преображенский полки, опричники Грозного, сталинский "орден меченосцев".

Там изучалась таинственная сущность семьи, где материнская жертва становится залогом продолжения рода. Изучалось лицейское братство, подарившее России столько великолепных творцов — от Пушкина до Горчакова. Но смыслом всех этих исследований было создание такой общности, которая, создавая материальный продукт или научное знание, вырабатывала энергию Света. Каждая ячейка являлась маленькой фабрикой Света, источником благодати, в которой расцветала личность, совершенствовалось братство, а весь народ, вся страна обретали ресурс развития. Святость — это мед, который скапливался в этих ячейках. Братская самоотверженность, жертва ради ближних своих, возвышенность чувств и помыслов — все это позволило советским батальонам выиграть войну, блокадному Ленинграду выстоять под музыку Шостаковича и стихи Ольги Берггольц, а "красным мученикам" Зое Космодемьянской, Олегу Кошевому, Александру Матросову бесстрашно идти на смерть. Тебе интересно, что я говорю? Ты меня понимаешь?

— Я тебя понимаю. Ты подхватил меня, когда я падала в бездну. Ты мой спаситель. Я люблю тебя. Буду век тебе служить. Если потребуется, отдам за тебя жизнь. Буду стараться, чтобы тебя окружало одно добро, одна благодать.

Вера чувствовала восхитительную красоту и неповторимость мгновенья, когда вдруг остановилась и перестала волноваться розовая тень на земле, и умолкло, перестало шелестеть серебряное дерево, и замер ветер, превратившись в стеклянный мираж. И они с любимым человеком в этом драгоценном стеклянном мираже, в остановившемся времени останутся навсегда.

— В Институте Победы был отдел, изучающий проблему бессмертия. Учение о жизни вечной. "Да будет царствие твое как на небе, так и на земле". Николай Федоров и его теория воскрешения отцов усилиями детей. Икона и молитва как коридоры, ведущие в рай. Сказки о живой и мертвой воде. Русский космизм как сражение с энтропией. Там изучались стихи русских поэтов с предчувствием собственной смерти. "В полдневный жар в долине Дагестана с свинцом в груди лежал недвижно я". "И где мне смерть пошлет судьбина, в бою ли, в странствии, в волнах?" "Боль проходит понемногу, не на век она дана. Есть предел смертельным стонам. Злую муку и тревогу побеждает тишина". "Бесследно все, и так легко не быть. Со мной или без меня, что нужды в том?" "Пуля, им отлитая, отыщет грудь мою, она пришла за мной". "До свиданья друг мой, до свиданья"... Вся русская ноосфера — это увековеченное человечество, банк данных о русских людях, которые в будущем подлежат воскрешению. 30 миллионов русских людей, погибших на полях священной войны, — это Христова жертва, принесенная русским народом "за други своя". Жертва, за которой следует воскрешение и бессмертие. Я это знаю, поверь мне!

— Я верю.

Все в ней пело, струилось, переливалось от нежности и любви. Ей выпало несказанное счастье родиться, воплотиться среди этих цветов, дуновений, шелестов. Встретить любимого человека, с которым будет неразлучна до смерти, и потом их души, обнявшись, помчатся в лазурь, где их ожидает блаженство.

— Еще одно направление — это благоговение перед жизнью. Обожание жизни как волшебной субстанции, которая переливается из цветка в птицу, из оленя в человека, из звезды небесной в крохотную незримую тварь. Молитвенное отношение к жизни, не позволяющее убивать, обижать, унижать. И в награду за это молитвенное отношение ты слышишь музыку сосны, понимаешь язык кукушки, призываешь синюю тучу с дождем. Такое мировоззрение ощущает Вселенную как цветущий сад. "Это Млечный путь расцвел нежданно садом ослепительных планет". Когда еще дымились руины городов, когда еще не высохли слезы вдов и сирот, Сталин велел насаждать на изувеченной земле сады. Сталинский план преобразования природы — это план преображения военных пустырей в страну райских садов. Благоговение перед жизнью, побеждающее смерть.

Она любила его. Он был сказочник, звездочет. Был кудесник и волхв. Был исследователь и дерзновенный герой. Но она хотела, чтобы странствия его завершились, чтобы они навсегда поселились в его ветхом доме на окраине города с "золотыми шарами" в палисаднике. И она выкатывает в палисадник детскую коляску, в которой спит их сын, и над его спящим лицом летает белая бабочка, очерчивает в воздухе невидимый круг, за который не переступят напасти и горести мира.

— В Институте Победы разрабатывались технологии, позволяющие прикасаться к миру Света. К божественному, соседствующему с нашим, мирозданию, где обитают духи Света, царят энергии Света. Изучались молитвы отцов церкви, монашеские практики, когда молящийся вслед за своей молитвой воспаряет в небеса, касается чистейших светоносных энергий и возвращается на землю с добытым квантом света, перенося его в нашу сумеречную жизнь, не давая ей иссякнуть. Исследовались тайны русской поэзии, которая вся есть псалом, обращенный к небу, а поэты являются молитвенниками земли русской, вымаливая для нее благодать. Таким образом, Институт Победы был не только лабораторией и исследовательским центром, но и фабрикой, добывающей субстанцию Света. Так в ядерной энергетике по крохам накапливают обогащенный уран, содержащий океаны энергии. Этот свет добывался по крупицам и откладывался в хранилища, которыми служила человеческая душа. Так создавались люди Света, раса благодатных людей, светоносная гвардия человечества, которую готовили для великой грядущей битвы. Ибо на другой половине земли, в Калифорнии, в городе Беркли работал Институт Тьмы, лаборатория Хаоса, в которой отрабатывались технологии по добыванию субстанции Тьмы, отправлялись экспедиции в "черные дыры"

Вселенной, возвращались на землю со своей смертельной добычей, которая откладывалась в душах гвардейцев Тьмы, будущего спецназа смерти. Сталин знал о неизбежности этой грядущей вселенской войны, битвы между Светом и Тьмой, и готовил светоносную армию, напутствовал ее своей бриллиантовой Звездой Победы. Ибо будущая победа в войне Света и Тьмы уже одержана. Свет сокрушил тьму, и эта грядущая победа управляет ходом всей современной истории, всеми людскими событиями, всеми революциями и восстаниями. И наша встреча с тобой, и наш сегодняшний поход, и это поле в волшебных цветах, и серебряная осина, — все озарено грядущей Победой, ее бриллиантовой звездой.

Вера слышала музыку. Пел и звенел каждый листик осины. В стволе напрягались струны, словно играли виолончели и скрипки. Шумели в небесах трубные вздохи ветра. В волшебных цветах звучали звонкие клавиши. Она испытывала восторг. Ей хотелось показать любимому, как она любит его, какое счастье быть с ним. Ей хотелось оттолкнуться от этой розовой земли, полететь в цветущее поле и там танцевать, чтобы он любовался ей, видел, как она прекрасна, как посвящает ему свой брачный танец.

— Ты спрашиваешь, кто я такой? Я работал в Институте Победы, и моим вероучением было благоговение перед жизнью. Я занимался молитвенными практиками, позволяющими добывать Свет. Я работал в отделе, изучавшем проблему бессмертия, ибо религия Русской Победы, философия Русского Чуда основаны на идее бессмертия, которое превратит Вселенную в ослепительный сад. Несколько поколений, сменяя друг друга, работали в Институте Победы. Немало исследователей погибло во время испытаний новых материалов, новых видов топлива, новых аппаратов. Так погибла моя жена. Несколько испытателей, перемещаясь во времени, ушли в прошлое, да так и не вернулись, погибли на Куликовом поле или на льду Чудского озера. Были такие, что не выдержали ослепительного горнего Света и духовно ослепли, стали блаженными. Другие ошиблись траекториями и канули в "черных дырах". Но главную опасность составлял наш стратегический противник. Американцы вычислили существование Института Победы. Пытались найти его расположение, устраивали охоту за испытателями, и несколько замечательных исследователей погибло от рук американских агентов, в том числе великолепный знаток русских волшебных сказок, написавший работу о Жар-птице как о русском образе рая, древнем представлении русского человека о коммунизме. Но Институт уцелел, спрятанный в толщу военно-промышленного комплекса, пока во времена горбачевской перестройки генсек-предатель не выдал американцам места расположения Института, списки сотрудников, перечень научных исследований. Мы предчувствовали катастрофу, торопились завершить строительство звездолетов, и когда был разгромлен ГКЧП, а над Кремлем опустили красный флаг, мы оказались во всеоружии. Здесь, в городе П., находилось головное предприятие, где создавались звездолеты, и работала гвардия Света. За несколько дней до приезда американцев, которые рвались в наш секретный научный центр, три космических аппарата были доставлены по лесной бетонной трассе к этому полю. Я хотел улететь вместе со всеми, но мне приказали остаться. Я должен был ждать, когда мои товарищи, улетавшие в созвездие Льва, завершат свои работы и по моему сигналу вернутся на землю. Чтобы сгинула Тьма, и восторжествовал русский Свет. Здесь, на земле, их прилет должны подготовить праведники, сохранившие в своих душах образ Божий, которые испытают муки ада, но не отрекутся от этого образа. "Претерпевших до конца Победа" — это и есть русское преображение и русское Чудо. Я проводил в небеса звездолеты, летавшие со скоростью мысли. За ними протянулся шлейф волшебных цветов, и в небе долго трепетали три серебристых облачка. И отправился обратно в город П. выполнять наказ моих небесных товарищей. Теперь ты знаешь, кто я такой.

— А я вот кто такая!

Вера легко вскочила, покинула прозрачную тень и скользнула под солнце, которое охватило ее, стеклянно зажгло ее волосы, воспламенило шелковое платье. Она шагнула в цветы, в их фиолетовое, ало-золотое волненье.

Плеснула руками, затрепетала длинными пальцами и полетела, не касаясь земли, закружилась среди цветов, превращаясь в шелковый вихрь. Садовников ей любовался, читал солнечную бегущую надпись, которую она оставляла в своем полете. В бессловесном танце она говорила ему: "Я прекрасна". И он обожал ее плещущие руки, ее стройные пляшущие ноги, ее прекрасное лицо, на которое вдруг падали черные стеклянные волосы, а потом ее пунцовые губы снова улыбались ему, и смотрели обожающие, полные солнца глаза. Она говорила ему: "Я люблю тебя". И танцуя, целовала его, обнимала, клала ему на грудь голову, и они скрывались под покрывалом цветов, и полевая птица тихо свистнула над ними, прозрачная от лучей. Она говорила: "Ты герой, бесстрашный воин, творец!". Боготворила его, увенчивала венком из волшебных цветов, и он принимал ее восхваления, был исполнен сил, был готов продолжать свои странствия к голубой звезде, веря в неизбежность победы. Она говорила: "Посмотри на меня. Я дарована тебе судьбой. Нам уготовано счастье, мы будем с тобой неразлучны". И он читал летучую надпись с дивной буквицей, которую украшали цветы и травы, стрекозы и бабочки, и его ненаглядная танцевала среди трав и цветов.

ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ

В железном ангаре, где прежде размещалась авторемонтная мастерская, полицейский полковник Мишенька разминал усталые мускулы, приседал, нагибался, делал взмахи руками. Молчаливый араб с фиолетовым лицом и черными кудрями устанавливал на замызганном полу стол, два стула. Принес ведро с водой, в которой плавал алюминиевый ковшик. Среди верстаков с тисками, лебедок с цепями, обрезков железа и масляной ветоши сновали красные деревянные гномы, проворные роботы. Гремели металлом, раздували паяльную лампу, ворошили горящие угли в жаровне. Полковник Мишенька снял форменный китель с погонами, повесил на спинку стула и, оставшись в одной рубахе, обратился к арабу:

— Ну что, Ахмед, давай сюда первого.

Араб сделал повелевающий жест в сторону красных роботов, и те проворной гурьбой кинулись к дверям в железной стене, разделяющей ангар на две половины. И через минуту подтащили к столу упиравшегося Ефремыча, напоминавшего медведя, на которого насели собаки. Роботы толкнули Ефремыча на стул и отступили, и тот, растрепанный и рассерженный, вращал глазами, глядя на полковника Мишеньку, на его добродушное деревенское лицо.

— Ну что, Петр Ефремович, голуба ты моя. Вот ведь какая буза в нашей с тобой жизни. Тебе бы сейчас рыбку ловить, а мне бы в баньке париться, а мы заместо этого друг на друга пялимся.

— Чего надо, полковник? — Ефремыч косился на серебряный погон кителя с тремя звездами.

— Да ничего мне не надо, Петр Ефремович. Они на тебя всякую хрень повесили, думают, я им поверю. Что ты, дескать, коммунистический подпольщик и готовишь покушение на Президента. Что у тебя в затоне склад оружия, и ты мастеришь из марганцовки и мыла всякие бомбы. Что ты никакой не Ефремыч, а генерал КГБ. Чего только они не брешут? Скажу тебе честно, я их послал подальше.

— А чего же ты хочешь? — Ефремыч недоверчиво смотрел на радушное лицо полковника, не находя в нем никакой для себя угрозы.

— Давай, Петр Ефремыч, по-божески. Мы с тобой два русских человека. Поймем друг друга. Ты мне скажешь, и разойдемся.

— Чего сказать-то?

— Где звездолет?

— Чего? Какой звездолет? — Ефремыч изумленно уставился на Мишеньку.

— Ну, Петр Ефремыч, ну хватит тебе Ваньку валять. Скажи, где звездолет, и разойдемся. Ты — рыбку ловить, я вениками в баньке хлестаться.

— Не знаю никакого звездолета. — Ефремыч фыркнул, крутанув нечесаной головой. — Был у нас в научном центре недостроенный "челнок", но его американцы увезли на убой. Я под колеса тягача лег, но меня вытащили и отметелили до полусмерти.

— Ладно, — полковник Мишенька одобрительно улыбнулся. — Правильно мыслишь. Кто же даром будет давать информацию. Вот тебе условия. Сто тысяч рублей и квартира в центре, напротив супермаркета в новом доме. И ты покажешь, где звездолет.

— Да какой, к черту, звездолет? При этой власти одни жополеты остались. Давай, полковник, меня отпускай.

Полковник Мишенька улыбался, качал головой, одобряя неуступчивость Ефремыча, знающего цену секретной информации:

— Добро, Петр Ефремович, знаешь ты или нет? Американцы открывают в городе новый научный центр. Собирают среди русских кадры, которые работали в советское время. Мне поручили пригласить тебя на работу. Зарплата — пять тысяч долларов в месяц. Квартира, дача, машина с шофером. Поездки на стажировку в Штаты. Согласен? Вот и ладно. А теперь скажи, где звездолет?

— Не знаю никакого звездолета. Давай меня выпускай!

Полковник Мишенька грохнул кулаком по столу, лицо его стало красным и страшным:

— Сука рваная! Заговоришь у меня! — он повернулся к арабу. — Подвесь-ка его, сделай из него барбекю!

Красные гномы налетели гурьбой на Ефремыча. Он пытался их сбросить, но железная хватка с нечеловеческой силой стиснула его запястья. Лязгнули наручники. Ефремыча подтащили к лебедке. Заурчал мотор, и он повис на цепях, раскачиваясь на крюке.

— Ну что, кабан, скажешь, где звездолет? — полковник Мишенька близко рассматривал набрякшее лицо Ефремыча.

— Хрен тебе, а не звездолет! — плюнул в него с крюка Ефремыч.

— Ахмед, подпали его!

Красный робот, ловко орудуя деревянными руками, стянул с Ефремыча башмаки. Другие расторопные гномы вынесли из угла жаровню с углями и подставили под свисающие ноги Ефремыча. И тот взревел, дико закричал, забился на цепях, стараясь согнуть в коленях ноги, но пламя углей жгло пальцы, пятки, стопы, и они дымились, пузырились, а полковник Мишенька, отирая плевок, расхаживал перед ним, повторяя:

— Где звездолет, свинья? Где звездолет?

Боль, которую испытывал Ефремыч, была ужасна. Он кричал, кусал себе губы, рвался в цепях, а огонь сжигал его кожу, обугливал мышцы, бежал по костям вверх, к голове, в которой разбухал ком слепой боли, выдавливал из черепа глаза, вываливал в крике язык. Сквозь слезы он видел смеющееся лицо полковника, — "Где звездолет? Где звездолет?", — красных человечков, араба, кочергой мешающего угли в жаровне. И, проваливаясь в безумие, вновь всплывая из него своей яростной ненавидящей душой, хрипло, захлебываясь, запел:

— Вставай, страна огромная... о-о-о... вставай на смертный бой! Не могу больше! С фашистской силой темною, с проклятою ордой! Гад, мусор вонючий!

— Где звездолет? — орал полковник Мишенька, стараясь перекричать жуткую песню. А Ефремыч, содрогаясь от мук, хрипел:

— Пусть ярость благородная вскипает, как волна! Идет... война народная, священная война!

Полковник Мишенька вырвал у араба кочергу и ударил Ефремыча в лоб. Тот затих, уронив на грудь голову. Роботы оттащили жаровню. Ефремыч висел на цепях. Ноги его дымились. Из разбитой головы текла кровь, падала на бетонный пол. Полковник Мишенька жадно пил воду, лязгал зубами об алюминиевый ковшик.

— Давай следующего, — приказал он арабу.

Следующим был врач-психиатр Марк Лазаревич Зак. Худощавый, блед-

ный, с рыжеватой копной мелко вьющихся волос, с водянисто-голубыми глазами, окруженными красноватыми веками; он при аресте не успел снять халат и теперь сидел на стуле перед полковником, запахивая полы не слишком свежего халата.

— Ну, жид, чего пялишься? Чуешь, почему тебя от твоих жидовских дел оторвали? Или мне тебе объяснить?

Марк Лазаревич тоскливо замер, предчувствуя непоправимую беду, глядя на могучие плечи полковника, его жилистые кулаки и играющие желваки, на рубаху, залитую водой, с красными брызгами крови.

— Не понимаю, в чем я провинился, — пролепетал он и умолк.

— Хорошо, объясню. Ты обвиняешься в том, что в своей психушке ставишь преступные опыты над русскими людьми. Травишь их таблетками, накачиваешь наркотиками, действуешь гипнозом. Вгоняешь в сон молодых русских женщин и насилуешь их. Делаешь укол человеку, и он тебе указывает, где держит деньги и драгоценности, и ты их себе забираешь.

— Но это же дичь какая-то! — тонко вскрикнул Марк Лазаревич, чувствуя, как в нем начинает стенать каждая кровяная частичка, помнящая о бесчисленных гонениях, которым подвергался богоизбранный народ. — Я врач и имею сертификат на все медицинские практики.

— Знаю твои практики. Прав был Адольф, что всех вас, жидов, прижал к ногтю. Как только вас за колючку посадили, сразу немецкий народ воскрес. И здесь, в России, мы вас за колючку посадим, и русские сразу воскреснут. Живем в жидовской удавке.

— Вы говорите страшные вещи, — прошептал Марк Лазаревич, вытягивая тощую шею, покрытую пупырышками страха. Весь кошмар холокоста, весь религиозный еврейский ужас лишил его дара речи, и он смотрел на близкое синеглазое лицо, предвещавшее ему неминуемую гибель.

— Правильно боишься, жид, — хмыкнул полковник Мишенька. — Скоро мы вас выкурим из России. А перед этим спросим за всех расстрелянных казаков, умученных священников. За русских офицеров, которым вы гвозди в эполеты вбивали. За всех крестьян, которых вы в сибирские леса на верную смерть вывозили. Небось, если бы я вам в то время попался, вы бы и в мои полковничьи погоны гвозди вгоняли? Отвечай! — полковник Мишенька ударил кулаком по столу, отчего Марк Лазаревич страшно побледнел и задрожал.

— Что вы от меня хотите?

— Это другой разговор. Ты знаешься с человеком по имени Садовников. Этот Садовников известен как террорист, который разыскивается властями. Ты вступил с ним в преступный сговор. К приезду в наш город Президента вы хотите отравить водопровод, кинуть в него таблетки, чтобы наши граждане посходили с ума, повалили на площадь и захватили Президента. А когда начнется ваша жидовская революция и Россия распадется на части, вы сядете на звездолет и улетите к едреной фене. Вот я и спрашиваю тебя, где звездолет?

— Боже мой, какое безумие! При чем здесь Садовников? О каком звездолете вы говорите?

— Не стану с тобой больше возиться. Подвешу тебя на цепи и буду бить, как боксерскую грушу, пока ни вышибу из тебя твою жидовскую душу, — он обернулся к арабу. — Давай, Ахмед, подвесь его. Отомстим сионистской гадине за муки палестинского народа.

Набежали красные роботы. Стиснули щуплое тело Зака, потащили к лебедке. Через минуту, скованный наручниками, он качался на масленой цепи, беспомощно озираясь, видя кругом клещи, тиски, зубчатые колеса, железные шкворни, — орудия средневековых пыток, с которыми ловко управлялись маленькие красные палачи.

Полковник Мишенька приблизился, грозно и беспощадно посмотрел в его бегающие, моргающие глаза.

— Где звездолет?

— Не знаю, честное слово!

Страшный удар в живот заставил Марка Лазаревича охнуть, задохнуть-

ся, задергаться на цепи. Икота, слезы, разрывающая внутренности боль не давали ему говорить и видеть. Только рядом в тумане колыхалось перед ним что-то страшное, дышащее, несущее ему смерть.

— Где звездолет?

— Не знаю!

И новый удар, от которого в животе что-то брызнуло, лопнуло, потекло нестерпимой горячей болью.

— Крыса жидовская, я из твоей печени фарш сделаю! — ревел полковник Мишенька, нанося с обеих рук боксерские удары, перемещаясь скачками вокруг висящего Зака, молотя его с разных сторон, отчего несчастный дергался и глухо охал.

Марк Лазаревич чувствовал, что умирает, что у него разорвана печень и отбиты почки. И, умирая, прибегнул к приему, основанному на природе человеческой психики, когда усилием воли душа выводится за пределы тела, помещается в бестелесную сферу, отдавая гибнущее и страдающее тело злым обстоятельствам. Этот уход из тела душа совершает, нырнув в глубину божественного стиха, который принимает в себя несчастную душу, дает ей убежище, окружает хрустальной спасительной сферой. И Марк Лазаревич выскользнул из своего терзаемого тела и, как дельфин, нырнул в сияющую глубину стихотворения. "По небу полуночи ангел летел и дивную песню он пел..." И душа, ощутив блаженство, воспарила в царственной красоте и свободе. "В минуту жизни трудную, когда на сердце грусть, одну молитву чудную я знаю наизусть..." Из одной лазурной волны душа перелетела в другую, сверкнув в стеклянном сиянии. "Запихай меня лучше, как шапку в рукав, жаркой шубой сибирских степей..." Душа резвилась, перелетая из одного дивного чертога в другой, из одной молитвенной красоты в другую. Соединялась с душами божественных русских поэтов, которые знали о Марке Лазаревиче, о его несчастье. Спасали его, открывали ему райские врата, принимали в свои объятья его бессмертную душу.

— Где звездолет? — наносил удары полковник Мишенька, зверея и пьянея. — Где звездолет?

"Не жалею, не зову, не плачу. Все пройдёт, как с белых яблонь дым..." — покачивалось при каждом ударе тело Марка Лазаревича, губы которого улыбались.

— Где звездолет? — слабея, выдохнул полковник Мишенька. Сломал ребро Марку Лазаревичу и, шатаясь, побрел к столу. — Уберите жида, — приказал, падая на стул.

И уже выводили из железного отсека следующую узницу, директора сиротского приюта Анну Лаврентьевну. Ее толкали в спину красные карлики, а она шла, тяжело переваливаясь, как утка, полная, с высокой выбеленной прической, в долгополой юбке, немолодая, некрасивая. Полковник Мишенька оглядел ее с ног до головы, надеясь обнаружить хоть малейшие признаки женской привлекательности. Не обнаружил и разочарованно усадил ее на стул.

— Ну, Анна Лаврентьевна, что будем делать?

— А что надо делать? — строго переспросила Анна Лаврентьевна. — Отпустить меня надо, и дело с концом. Ни с того ни с сего врываетесь, хватаете среди бела дня, как разбойники. Дети перепуганы. Что я теперь им скажу? Что на город напали разбойники?

— Анна Лаврентьевна, вы взрослый человек. Все понимаете. Если я вам скажу, что в распоряжении следствия есть неопровержимые доказательства вашей преступной деятельности, когда вы, пользуясь служебным положением, поставляете маленьких девочек, беззащитных сироток для утех богачам, что вы на это скажете?

— Да постыдитесь говорить-то такое! Что это за мерзости вы говорите! В какой развратной голове такое могло родиться!

— Допустим, что в моей. Допустим, что я не придам значения поступившим заявлениям от ваших воспитанниц. Допустим, что меня в данном случае интересует совсем другое.

— Какое другое? Ведь это надо же такую гадость придумать!

— Меня в данном случае, Анна Лаврентьевна, интересует другое. У вас в детском доме работает некто Садовников, Антон Тимофеевич. Он якобы преподает рисование и понуждает детей рисовать картинки на разные космические темы. Одновременно он рассказывает им о межпланетном пространстве, о конструкциях космических кораблей и готовит из них космонавтов. Нам стало известно, что он намеревается показать детям настоящий звездолет, который хранится в секретном месте еще со времен советской власти. И вы знаете о предстоящей экскурсии, знаете местонахождение звездолета. Вот я и спрашиваю вас, Анна Лаврентьевна, где звездолет?

— Да это чушь какая-то. Антон Тимофеевич прекрасный человек. Дети его обожают. Он вместе с ними сделал на детской площадке деревянный макет космического корабля. Может, про этот звездолет идет речь? Так мы его не скрываем. Ступайте на детскую площадку, и увидите звездолет с надписью "СССР".

— Анна Лаврентьевна, вы пожилая женщина. Может, в матери мне даже годитесь. Я не хочу поднимать на вас руку, не хочу делать вам больно. Прошу вас, как сын. Скажите, где звездолет, и я отпущу вас обратно к детишкам, которые места себе не находят, плачут о вас. Где звездолет, Анна Лаврентьевна?

— Каким же вы гадким делом здесь занимаетесь. Как же вы здесь людей мучаете. Одного уважаемого человека живьем зажарили. Другого, врача, который больных спасает, до полусмерти избили. Теперь меня мучить станете. Ведь вы же были когда-то мальчиком, и была у вас мама, и вы знали, что такое ласка, доброта, человеческая любовь. Вы вспомните об этом сейчас и раскайтесь. Откройте двери и выпустите нас на свободу.

— Ахмед! — свирепо крикнул полковник Мишенька. — Подвесь старую черепаху вниз головой. Пусть вспомнит, где звездолет.

Красные гномы набросились на Анну Лаврентьевну, потащили к лебедке. Замкнули цепь на ноге. Включили мотор. Цепь поползла вверх, дернула ногу, и Анна Лаврентьевна нелепо стала падать, словно поскользнулась на льду. Хватала руками пол, а ее вздымали. И она уже висела головой вниз. Юбка опала, оголив толстые ноги. Ее беленая прическа рассыпалась, накрученный шиньон отвалился, и обнажились редкие седоватые волосы. Она качалась, тихо стонала, причитала, а полковник Мишенька посмеивался:

— Виси, виси, старая черепаха, вспоминай. Космонавты головой вниз перевертываются, и им хоть бы что.

— У тебя же мать была... Ты же мальчиком был малюсеньким... — слабо лепетала Анна Лаврентьевна, качаясь на цепи.

Кровь приливала к ее голове, лицо багровело. Она слышала гул, словно цепь соединяла ее с каменной толщей земли, которая сотрясалась от гнева, не в силах нести на себе погрязшее во зле человечество, была готова стряхнуть с себя города, послать на них испепеляющий огонь и смертельный потоп. И Анна Лаврентьевна своим помутившимся разумом умоляла землю повременить с огнем и потопом ради детишек, которые играют сейчас на детской площадке, садятся в кабину самодельного звездолета. В ее голове полыхнула больная вспышка, и она, увидев у глаз башмаки полковника Мишеньки, потеряла сознание.

Ее отволокли в отсек. А полковник сидел на стуле, и ему вдруг привиделась родная деревня, ветхий дом с голубыми наличниками; и мать с крыльца, молодая, загорелая, зовет его, а он, семеня слабыми ножками, путается в картофельных грядках, откликаясь на ее любимый голос.

Но красные конвоиры вводили нового арестанта, им был шаман Василий Васильев. Круглолицый, скуластый, с зелеными глазами и пшеничной копной волос, он принадлежал к племени, обитавшему испокон веков на реках и озерах, в лесных чащобах и болотных топях и обладавшему тайными знаниями языческих волхвов. Теперь он сел напротив полковника Мишеньки и спокойно взирал на его измученное лицо и мокрую окровавленную рубашку. Полковник Мишенька под взглядом этих лесных зеленых глаз обрел самообладание и с пытливой любознательностью спросил:

— Я знаю, Василий Васильев, что ты работал в секретном научном цен-

тре. А правда ли, скажи мне, что в этом центре обучали языку птиц? И что можно угадывать мысли другого, если смотреть ему на кончик носа?

— Правда, — ответил шаман. — Там был целый отдел, где сотрудники кричали горными орлами, каркали воронами, чирикали воробьи, свистели синицами, кукарекали петухами.

— Поди ж ты! — изумленно качал головой полковник Мишенька. — А правда, что в научном центре сделали такой звездолет, который перемещался со скоростью мысли? И когда он летал над городом, людям казалось, что они видят множество летающих тарелок?

— Правда. Он назывался "ковер-самолет" и сделал несколько испытательных полетов. Но потом его переделали в "скатерть-самобранку" и передали в управление общественного питания.

— Надо же! — восхищенно произнес полковник Мишенька, глядя на шамана с благоговением. — А правда, что ты делал для звездолета прибор, который улавливал свет звезды, и звездолет улетел на эту звезду?

— Правда. Мы запустили звездолет под Новый год, когда в городе на площади стояла елка с яркой стеклянной звездой. Звездолет нашел эту звезду и елку и повис на ветке, к великой радости ребятишек.

— Вот чудо-то! — поражался полковник Мишенька. — Но ведь где-то в научном центре находился настоящий звездолет, и он куда-то исчез, и наши друзья-американцы ищут его и говорят, что ты знаешь, где он находится.

— Я очень люблю американцев. Но если бы они не перебили своих индейцев, у них бы имелись свои шаманы, и они бы не обращались ко мне за помощью.

— Да уж ты будь другом, Василий Васильев. Помоги нашим друзьям-американцам. Подскажи, где искать звездолет?

Василий Васильев взбил на своей голове копну волос. Округлил свои совиные глаза. Ударил руками в бока, словно взмахивал крыльями. Загудел:

— На острове, на океане, лежит бел горюч камень. Под камнем яйцо, в яйце письмецо. Кто письмецо прочтет, тот звездолет найдет.

Выдохнул и умолк, уставился на полковника Мишеньку спокойными зелеными глазами.

— Ну, если ты такой колдун и волшебник, посмотри мне на кончик носа и скажи, о чем я думаю.

Василий Васильев внимательно посмотрел на потный нос полковника и сказал:

— Сейчас ты думаешь, как бы меня повесить на цепь и бить по бокам железным прутом, пока я не скажу тебе, где звездолет.

— Правильно! — заорал на шамана полковник Мишенька. — Эй, Ахмед, араб чертов, на цепь колдуна!

Василий Васильев качался на цепи, не доставая ногами пола. А полковник, закатав рукава, схватив в жилистый кулак стальной прут, замахнулся, чтобы нанести разящий удар. И пока прут со свистом приближался к ребрам шамана, тот воззвал к духам и перенесся из мрачного ангара, полного орудиями пыток, в чистое поле, где стоял языческий дуб. Вошел в его сердцевину, поместив себя среди древесных волокон, прохладных соков, шелестящих листьев, волнистых корней. Железный прут ударил в туманное, оставшееся от шамана облако, лязгнул о цепь, высекая из нее искры.

— Ты куда делся? — полковник Мишенька смотрел на прозрачное облако, смутно напоминавшее висящее человеческое тело. А Василий Васильев, вселившись в дуб, жил его древесной божественной жизнью, слыша, как в благоухающем медовом дупле жужжит рой диких пчел, как свистит в ветвях счастливая малая птица, как тянут корни прохладную влагу, вознося ее к солнцу.

А полковник Мишенька хлестал и хлестал прутом прозрачное облако, высекая из цепи искры, выкрикивая:

— Где звездолет?

Кинул прут. Ухнулся в изнеможении на стул. Смотрел, как качается на цепи шаман Василий Васильев, и из его изорванных боков хлещет кровь.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ

Полковник Мишенька сделал перерыв в изнурительных допросах и обедал, наливая в стакан водку и заедая вареной свиной колбасой. В полутьме сновали красные гномы, чем-то скрипели, стучали, что-то накаляли и плавили, готовясь к продолжению пыток. Араб Ахмед стоял, сложив на груди руки, бесстрастно наблюдая за трапезой полковника.

— Ну что смотришь, Ахмед, да, пью водку, жру свинину. А вам, мусульманам, нельзя. Мы, христиане, дольше вашего на земле живем. Свинина дает крепость мышцам, а водка жар душе. Хочешь, попробуй? То-то.

Араб безмолвствовал, только в его фиолетовых глазах полыхал таинственный огонь, и темные губы едва заметно трепетали.

— Вишь, какую мне работу дают, грязную и кровавую. А потом меня за эту работу на фонаре повесят. Начальники мои на самолетах в Америку улетят, а я буду здесь болтаться, и люди в меня плевать будут.

Араб величаво молчал, и в темноте, где сновали гномы, что-то шипело, дымилось и вспыхивало.

— Ненавижу Россию! Не будет здесь ничего, только цепи кровавые. И что за народ такой русские, что друг дружку пытают, расстреливают, мучают. Надо из России валить. Может, к вам, в Аравию, или в пустыню Сахару, чтобы меня не нашли? Может, в верблюда мне превратиться, чтоб никто меня не узнал? А я и так верблюд. Меня и так в этой рубашке кровавой никто не узнает. — Он выпил залпом стакан, сжевал колбасу. Приказал арабу: — Давай, веди следующего. Пусть этого звездолета нет в природе, а я его все равно найду!

К нему подвели и с силой опустили на стул колокольных дел мастера Игната Трофимовича Верхоустина. Мастер был суров и серьезен. Его выпуклый лоб, впалые щеки, лежащие на коленях руки были в мельчайших крупицах въевшейся меди и олова, из которых он лил свои сладкозвучные изделия. Полковник Мишенька заискивающе смотрел в его глубокие серые глаза, в которых светилось спокойное достоинство мастера.

— Игнат Трофимович, поймите мою грешную душу. Устал я, устал. Вся моя жизнь — дрянь и паскудство. Что от меня люди видят? Только тычки и ругань. Что людям от меня остается? Синяки да костные травмы. Больше так жить не хочу.

— Коли не можете жить такой жизнью, живите другой, — строго произнес Игнат Трофимович.

— Вот я и хочу. Помогите мне, Игнат Трофимович. Возьмите меня в подмастерья. Буду самую тяжелую работу делать. Глину месить, мешки таскать, дымом дышать. Научите меня своему ремеслу. Хочу колокола лить, чтобы люди слышали звоны и радовались, думали о Боге.

— Нельзя вас к колоколам подпускать. Только чистые душой к ним подойти могут. Их чистая душа в металл перельется, и звон к самому небу взлетит, и его Бог услышит. А у вас душа темная, от вас металл злом наполнится, и звук будет темный, глухой, сразу под землю уйдет.

— Вот и вы, Игнат Трофимович, меня отталкиваете. Не пускаете к людям со светлыми душами. Опять мне оставаться со злодеями. С губернатором Петуховским, который уголовник… С олигархом Касимовым, который на бабочек африканских любуется, а у него в шахтах людей засыпает солью. С азером Джебраилом Мамедовым, который весь город на наркоту посадил. А как бы мне хотелось подружиться с таким человеком, как Садовников, с его подругой Верой, с вами, Игнат Трофимович. Как бы мы дружили, путешествовали. Всю Россию-матушку объехали бы, всем ее святым местам поклонились. Весь мир повидали с его чудесами, городами, народами. А когда всю землю объедем, то полетим все вместе в космос, к далекой звезде, на чудесном звездолете, который мы от американцев сумели сберечь как наше космическое русское чудо. Кстати, Игнат Трофимович, звездолет-то наш на прежнем месте находится? Хорошо он замаскирован? Может, его в другое надежное место передвинуть?

— О каком звездолете вы говорите, не знаю. А я уже свое отпутешествовал, да и компания у нас с вами не сложится.

— Ах, Игнат Трофимович, Игнат Трофимович, не жалеете вы меня. Не хотел я вам боль причинять, руки ваши золотые увечить. Сказали бы мне, где звездолет, и пошли бы с Богом свои колокола отливать. Но вы меня не жалеете. Нет, не жалеете.

Красные роботы подскочили со всех сторон к мастеру. Положили его руку ладонью вверх на деревянную доску. Всунули пальцы в железные кольца, так что ни дернуть, ни шевельнуть рукой. Поднесли из угла ковшик с расплавленным свинцом, на котором дергалась темная пленка. Стали наклонять над ладонью.

Игнат Тимофеевич в предчувствии смертной муки воззвал к своему любимому колоколу, что висел на колокольне в селе Куртниково под Новым Иерусалимом. И колокол услышал его зов и прислал ему звук, в котором таились молитвы и песнопения. Звук прилетел в темный каземат, подхватил Игната Тимофеевича и вынес на солнце. Как на воздушном шаре, окруженный божественным звуком, плыл Игнат Тимофеевич над городом, над его перламутровыми дымами, золотыми соборами, зелеными парками. Перелетел реку, синюю с солнечной рябью, бегущей далеко к горизонту. Поплыл над красными сосняками, цветущими опушками, лесными озерами, с которых в стеклянном блеске взлетали утки. Опустился на цветущий луг, благоухающий и чудесный, с множеством цветов, в птичьих свистах, гуле шмелей и пчел, где ждала его молодая жена Алена, какой запомнил ее в первый год их любви и потом вспоминал после ее нежданной кончины.

Они сидели рядом на теплой траве. Алена держала трилистник клевера и спрашивала:

— Игнатушка, а знаешь, почему на клевере три листочка? Один листик — ты, другой — я, третий наш сыночек Петруша.

Игнат Трофимович улыбался, а свинец лился на его раскрытую ладонь, и ладонь шипела, пузырилась, дымилась, и в ней остывал раскаленный свинцовый слиток.

Полковник Мишенька черпал из ведра воду и лил себе на голову, отдуваясь и фыркая:

— Не жалеют меня, не жалеют! — повернулся к арабу и крикнул: — Давай, веди следующего! Добивайте меня, добивайте!

Следующим был смотритель мемориального комплекса Аристарх Пастухов. Он сел напротив полковника, обратил к нему свое луновидное, с острым носом лицо, лишенное растительности. И полковник нашел в нем сходство со снеговиком, у которого вместо носа морковка. Это сходство обрадовало полковника, породив смутные воспоминания детства.

— Здравствуйте, господин Пастухов. Много о вас говорят, какой вы вклад внесли в дело воспитания человека. Нам так не хватает настоящих добрых воспитателей, которые могли бы человека образумить, наставить его на путь. В чем же, если не секрет, смысл вашего воспитания?

— Это целая теория поведения человека в коллективе, — охотно отозвался Аристарх, садясь на любимого конька. — Если перед коллективом поставлена высокая цель, и люди, стремящиеся к этой цели, правильно организованы, то по мере достижения цели каждый член коллектива совершенствуется, становится все светлей и добрей. По существу, это путь достижения святости.

— Что-то уж больно мудрено, господин Пастухов. Святость, совершенство, высокая цель. Нельзя ли пример?

— Ну, например, собираются люди, чтобы сажать на земле сады. Превратить землю в один райский сад. И с каждым посаженным садом все они становятся светлей и совершенней, в них по крохам прибавляется святость.

— То есть, все они становятся Садовниковыми?

— Ну нет, Садовников неповторим. Он сажает сады не на земле, а в Космосе. А когда они зацветают, облетает их на космическом корабле и приносит на землю райские яблоки.

— Так, значит, есть звездолет, на котором можно улететь в Космос? — Полковник Мишенька раздул ноздри, как собака, ухватившая след. — И вы, господин Пастухов, знаете, где спрятан этот звездолет?

— Конечно, знаю, — ответил Аристарх.

— Где же, где?

— На безымянном кладбище, в безвестной могиле…

— Сволочь! — заорал полковник Мишенька. — Сволочь лагерная! Нахлебаешься у меня! Ахмед, пусть нахлебается!

Красные роботы опрокинули Аристарха Пастухова на пол лицом вверх. Спеленали его по рукам и ногам, обмотали лицо, оставив один жадно дышащий рот. Всунули в рот жестяную воронку. И полковник Мишенька хватал из ведра полные кружки воды, лил в воронку. Аристарх Петухов бился, захлебывался…

Полковник Мишенька некоторое время тупо смотрел на бетонный пол с разлитой водой, на груду бинтов, в которые был замотан узник Аристарх, на жестяную воронку у себя под ногами. Ему было тошно. Казалось, что жизнь, виляя и поворачиваясь, вошла в такой страшный коридор, из которого уже не выбраться. В конце коридора ждет его что-то неотвратимо ужасное. И, быть может, истекают последние секунды, когда еще можно кинуться вспять, убежать из этого пыточного каземата, оставив на спинке стула френч с погонами. Покинуть город, раствориться среди бесчисленного русского люда с его стенаниями, бедами, спрятаться в этих бедах, мыкать их вместе со своим народом, который примет его и простит. Но эта секундная мысль сверкнула в его голове и померкла в тупой тьме. Он крикнул Ахмеду:

— Зови пацана, буду его колоть.

Перед ним предстал школьник Коля Скалкин, худой, с тонкой шеей и большими тревожными глазами.

— Ну, Коля, здорово, — полковник Мишенька пожал его хрупкую, с тонкими пальцами руку. — Садись, садись, чувствуй себя, как дома. Давно хотел с тобой познакомиться.

Коля Скалкин сел на край стула, сглотнув слюну, и убрал волосы с бледного лба.

— Знаю, что ты отличник, историей интересуешься, в олимпиадах участвуешь. У меня у самого сынок твоих лет. Но того за книжки не усадишь, гоняет на мотоцикле, приходится из-за него с гаишниками ссориться.

Коля Скалкин молчал, тревожно смотрели его большие серые глаза, чуть дрожали пушистые брови, и лежали на коленях руки с хрупкими пальцами.

— Да, интересно ты написал про пушку, про звезды. Звездная пушка, говоришь? Созвездие Скалкиных? Интересно, хвалю. Я раньше внимания на эту пушку не обращал. Стоит и стоит. А теперь мимо проезжаю и думаю, — героическая пушка, ее именем созвездие названо.

Коля Скалкин молчал, только тревожно блестели его глаза и чуть подрагивали сжатые губы.

— Да, что говорить, мы, русские — великий народ. Спим, спим, а потом проснемся и всему миру спать не даем. Любые муки, любые пытки снесем, а Родину не продадим. Родина у нас одна, и краше ее нет ничего. И мы за нее жизнь готовы отдать. Правильно я говорю?

Коля Скалкин не отвечал, не поворачивал голову туда, где сновали красные гномы, что-то скрипело и звякало.

— Слушай, Коля, я тебя вызвал, как русского парня, патриота, которому можно верить и который не подведет, не посрамит чести, как говорится, отцов и дедов. Ты знаешь, что наш город захватили американцы, поставили своего человека Маерса, который главнее самого губернатора. И эти чертовы красные человечки, которых под видом кукол разместили по всему городу. Сразу ракетный удар, и от России мокрое место. Мы должны спрятать звездолет в другое место. Должны опередить американцев. Мы с тобой поедем туда, где спрятан звездолет, погрузим его на тягач и перевезем на новое место. Оно уже подготовлено. Давай с тобой поедем сейчас к звездолету и проверим маршрут, по которому его повезем. Ты согласен? Спасем звездолет от врагов?

Полковник Мишенька заглядывал Коле Скалкину в самую глубину глаз, желая уверить того, что дело их святое и неотложное, и под силу одному только Коле, внуку прославленного героя, бравшего штурмом Берлин.

— Ну что, Коля, поедем?

Коля Скалкин затрепетал пушистыми бровями, вздохнул и сказал:

— Вы предатель. Вы враг народа. Вы мучитель русских людей. Вы будете висеть, как висел предатель Власов.

Полковник ошеломленно молчал, а потом хрипло, страшно закричал, багровея лицом:

— Щенок! Сучонок! Ты у меня кровавой соплей захлебнешься! — повернулся к Арабу. — Чего стоишь, чурка гребаная! В тиски его!

Красные роботы подскочили к Коле Скалкину, потащили его в угол, где стоял верстак с тисками. Всунули его длинный хрупкий палец в железный зазор тисков. Полковник Мишенька крутанул рукоять, и Коля вскрикнул от боли.

— Ай, как мне больно! — вторил ему полковник. — Ай, как больно! — Крутил рукоять, зубья тисков сдавливали палец, и Коля кричал от боли.

— Ой, больно, мамочка, больно! — вопил полковник, подкручивая винт тисков. И Коля, захлебываясь от боли и слез, увидел, как встал перед ним худой артиллерист с полевой сумкой, пистолетом, с перевязанной головой. "Враг будет разбит. Победа будет за нами", — сказал и исчез. Кости пальца хрустнули, и Коля, как подрезанный цветок, упал без чувств. А полковник Мишенька все давил и давил рукоять. Глядел, как из железных тисков хлещет кровь, и кричал:

— Ой, как больно! Мамочка, ой как больно!

Не менее получаса потребовалось полковнику, чтобы прийти в себя. Пил, заливая адский, снедавший его огонь. Лил воду на голову, словно кругом царило невыносимое пекло. Старался унять дрожь в руках, окуная руки в ведро. И теперь стоял с мутным взглядом перед отцом Павлом Зябликовым, архиереем Покровского собора, который висел в цепях, не касаясь земли, с растрепанной седой бородой, спутанными власами, худым стариковским телом. Смотрел из-под косматых бровей спокойными немигающими глазами, как вьется перед ним его мучитель.

— Батюшка, отец Павел, исповедуй меня, грешного! Не могу больше так жить! Грехи, как камни, вниз тянут. Руки на себя наложу. Только ты мне спасенье!

Отец Павел висел в цепях и тихо покачивался, из поношенного подрясника выглядывали тощие стариковские руки, скованные наручниками.

— А все с чего началось-то? Сам-то я деревенский, приехал в город поступать в милицейскую школу. А конкурс был огромадный, и все блатные. Мне бедному, деревенскому, ни за что не пройти. И тут вдруг кто-то шепнул на ухо: "А ты черту поклонись, он поможет". И стал я просить черта: "Проведи меня в милицейскую школу, а я тебя за это чем хочешь отблагодарю". И прошел я в школу без всяких препятствий, а как вышел на службу, черт мне стал помогать. Выехал с напарником на место убийства. Обыскал убитого человека, а у него золотой портсигар. Взял себе, до этого золота никогда в руках не держал. Арестовали одного ханыгу, который в лото играл и народ дурил. Он мне пачку денег сунул, и я его отпустил. Потом киоск крышевал, хороший доход получал. Азерам фиктивные паспорта обеспечивал, хорошо зарабатывал. Потом с приятелями квартирный бизнес освоили. У одиноких стариков квартиры выманивали, а их самих в лес увозили. С бандитами подружился, их выручал. У одного банкира деньги отняли, пришлось ему паяльник в одно место вставить. С наркотиков хороший барыш. Проститутки дают доход... Батюшка, отец Павел, на мне кровь, убийства. Я как зверь стал. И понял, что это я своими проклятыми делами черту долги отдаю за его услугу. И ничего не могу поделать. Черт под самым сердцем сидит и когтями его скребет. Помоги, отец Павел. Отпусти грехи, прогони черта!

Священник молчал, покачиваясь в цепях, которые уходили вверх, в темноту, словно свисали из неба.

— Помоги мне, чтобы я развязался со всеми гадами, которые меня окружают. Помоги найти звездолет. Если найду звездолет и им представлю,

они от меня отступят. А я, слово тебе даю, отец Павел, с прежним порву. Все, что неправедно нажил, церкви отдам, по детским приютам разнесу. Уйду куда глаза глядят. В монахи постригусь, буду в монастыре самую ломовую работу делать. Помоги, батюшка. Укажи, где звездолет!

Отец Павел зашевелил в бороде сухими губами. Сипло вздохнул и сказал:

— Изыди, лукавый человек. Твой отец — диавол, а мать вавилонская блудница. Делай скорей, что задумал.

Полковник Мишенька тонко взвыл, словно тоскливая собака:

— За что же вы все меня мучаете? Что же вам меня-то не жалко! Будешь, чертов поп, в аду гореть! — Крикнул Ахмеду: — Давай сюда паяльную лампу!

Араб поднес полковнику шипящую паяльную лампу с голубым острым факелом. Стал приближать к священнику. Отец Павел, не мигая, смотрел на свистящий язык огня и нараспев молился:

— Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас!

Полковник Мишенька ткнул огнем в лицо священнику, и у того задымились борода и брови.

— Богородица, Дева, радуйся! Благодатная Мария, Господь с Тобою!

Полковник стал водить раскаленным языком по впалой груди священника. Ветхая ткань подрясника загорелась, и на худой груди отца Павла открылся большой серебряный крест. Полыхнул в глаза мучителя встречным ослепительным блеском. Полковник выронил паяльную лампу, вскрикнул. Пал перед отцом Павлом на колени, рыдая, целовал его ноги:

— Прости меня! Прости!

Таким его увидел вошедший в ангар Маерс. Ударом ноги отбросил полковника Мишеньку в сторону:

— Пошел вон, собака! — Приказал арабу: — Убери старика!

С отвращением смотрел, как отползает, скуля по-собачьи, полковник Мишенька, и красные роботы снимают с цепи священника и волокут в тюремный отсек.

Там, в железной тюрьме с полукруглым ребристым сводом отец Павел собрал вокруг себя изувеченных, окровавленных, полуобморочных сокамерников. Прижимал к груди белесую голову Коли Скалкина, обнимал обессилившего от пытки Аристарха Петухова и говорил:

— Терпите, ибо мучаетесь во имя Христа. Богородица видит вас. Она — Мати негасимого света. Претерпим до конца и окажемся со Христом. Претерпевших до конца Победа. Мучаемся вместе с Россией. Россия — дом Богородицы.

Дверь в каземат распахнулась, и вошел Маерс. Он был в черной судейской мантии. На голове его была четырехугольная судейская шапка с кистью. Он держал перед собой свиток и торжественно, с рокочущими интонациями, зачитал:

— Постановлением Верховного Суда России, международного трибунала по правам человека, а также военно-полевого суда приговариваются к смертной казни через сожжение: лодочник городского затона Петр Ефремович. Врач-психиатр Зак Марк Лазаревич. Директор сиротского приюта Анна Тимофеевна. Шаман Василий Васильев. Колокольных дел мастер Верхоустин Игнат Тимофеевич. Смотритель мемориала Петухов Аристарх. Ученик средней школы Коля Скалкин. Архиерей Покровского собора отец Павел Зябликов. Приговор привести в исполнение завтра утром на городской площади прилюдно. Ибо ветви засохшей смоковницы надлежит обрезать и кинуть в огонь.

Маерс повернулся и, развевая мантию, вышел, стукнув дверью. Узники жались к отцу Павлу, а тот простер над ними руки и пел:

— Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас.

За ангаром, у старого подъемного крана, поднявшийся ветер раскачивал висящее в петле тело полковника Мишеньки.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ

Над городом П. стояла тусклая мгла, словно случилось затмение, и солнце, потеряв половину света, проглядывало сквозь закопченное стекло. Это не был смог, не была пыльца буйно цветущих растений. Мгла имела духовную природу, был связана с химией зла, с выделениями боли и ужаса. С молекулами предсмертной тоски, которые излетали из растерзанных тел и наполняли небо, гася и преломляя лучи света. Люди вдыхали эти молекулы смерти, у них начиналось жжение в горле, слезились глаза, и они погружались в странное опьянение, в тихое безумие, от которого на лицах появлялись блаженные улыбки, какие бывают иногда у мертвецов. И в этой мгле метались лазерные пучки, чертили странные иероглифы, магические знаки, от которых у людей случались вспышки беспричинного буйства, взрывы истерического смеха, внезапные рыдания. И повсюду в городе звучала музыка, напоминавшая звуки кипящих болот, рокот камнепадов, визги ночных джунглей, где клювы, клыки и бивни рвали беззащитную плоть. На площадях и перекрестках были воздвигнуты деревянные разукрашенные эстрады, на которых музыканты и фокусники давали небывалые представления, и жители города, обступив эстрады, завороженно наблюдали фантастические представления.

На одной эстраде давалось представление под названием "Венчанье мертвеца". Настоящий покойник в истлевшей одежде, с распухшим синим лицом и червивыми глазами венчался с прелестной невестой в белом платье, в жасминовом венке. Католический священник произносил на латинском языке напутствие, надевал на очаровательный пальчик невесты и на распухший скользкий палец жениха обручальные кольца. Следовал поцелуй, и в синих губах мертвеца блестели золотые коронки. Тут же в церкви, среди горящих свечей новобрачные танцевали вальс, и гости, в генеральских мундирах, кринолинах, во фраках, с плюмажами, позвякивая шпорами, обмахиваясь веерами, пели на английском языке блюз "Я люблю тебя, смерть" на слова известного фламандского поэта Ван Шенкина. И до зрителей долетал запах открытой могилы, и они видели, как с танцующего мертвеца медленно сползает липкая плоть.

На другой эстраде скакали и кружились персонажи фильмов Диснея. Зайцы, коты, рыбы, мыши, гномы, лягушки, подземные червячки, маленькие колдуны, потешные солдатики, невинные Белоснежки, а также кузнечики, улитки и стрекозы. Среди них на четвереньках стояла огромная голая женщина, выкрашенная в едкий синий цвет, с надписью на спине: "Ксюша".

Еще на одной эстраде показывали фокусы. Выступал известный чародей из штата Айова, страшно худой, с фиолетово-черными пламенными глазами, с длинными голыми руками, которые он держал над большим жестяным корытом. Ассистенты приволокли и вывалили в корыто куль прокисшего творога, и факир долго размешивал палкой желтоватую дурно пахнущую жидкость. Ассистенты поднесли ему мензурку нефти, он вылил черную струйку в творог, и смесь задымилась, а фокусник снова орудовал палкой. Зазвучала мелодия рок-группы "Скорпион". Кудесник сунул в корыто два обнаженных электрода. Произошло замыкание. Месиво в корыте взыграло, и из него, слегка испачканный творогом, в нефтяных пятнах, выскочил Президент. Раскланялся с публикой, легко сбежал с эстрады, протиснулся сквозь толпу и отправился гулять по городу, раздавая автографы.

И среди множества затейливых аттракционов, детских игр, забав для ветеранов и пенсионеров фигурировала пушка времен войны, стоящая на пьедестале. Дизайнеры-фантазеры превратили ее ствол в фаллос, а колеса в округлые семенники. Около пушки танцовщицы вершили эротический танец, терлись голыми животами о ствол.

И на этих плясуний приехал полюбоваться сам губернатор Петуховский, который вскочил на лафет.

Обо всем этом не знал Садовников. Он был погружён в дневную дремоту, в сладостные видения детства, когда луч солнца ложился на подзеркальник, и светилось тонкое золотое колечко, оставленное матерью на фаянсовом блюдечке, и в зеркальной грани застыла сочная радуга.

Вера, не тревожа Садовникова, решила выйти из дома и купить на рынке свежих овощей. Сразу же, оказавшись на улице, она вдохнула голубоватую дымку, в которой меркло солнце, и почувствовала слабое головокружение. Очертания домов поплыли, у них появились радужные кромки, деревья стали фиолетовыми, а прохожие шли, не касаясь земли, и некоторые казались стеклянными. Это состояние не испугало ее, а показалось забавным. Она улыбалась, разглядывая красных и желтых воробьев, которые скакали в фиолетовых кронах.

Издалека доносилась нестройная музыка, — труба, барабан, аккордеон, — словно где-то за домами, в центре города, шло гуляние. И Веру повлекли эти звуки, и она, забыв, зачем вышла из дома, пошла на призывные звоны, переливы и песнопения, улавливая в них что-то знакомое и пленительное. Мимо нее проносились перламутровые автомобили, проехал изумрудный троллейбус с алыми пассажирами, и следом, потешно перебирая толстыми лапами, пробежал страус, тряся тяжелым ворохом перьев. Она увидела двух клоунов, переставлявших высокие ходули. Они двигались по улице, доставая головами до верхних этажей, и перебрасывались, как баскетболисты, отрубленной козлиной головой, пока один из клоунов ловко не метнул ее в открытое окно. В небе, по высокому проводу, пересекавшему улицу, шел канатоходец в мундире царского гвардейца. Балансировал, держа длинный шест, на концах которого висели два розовых эмбриона.

Из соседней улицы появилась погребальная процессия, состоящая из красных человечков, которые быстро двигались, неся на головах открытый гроб, и в нем лежала длинная мокрая рыба с остекленелыми черно-золотыми глазами.

Все это было странно, но не пугало Веру, а делало прогулку увлекательной. Показался человек, моментально узнаваемый, с прыгающей походкой, характерным подергиванием щек, с большой головой, непрочно держащейся на маленьком слабом теле. Это был Президент. Увидев Веру, он мило ей улыбнулся и спросил:

— А знаете ли, барышня, чем отличаются понятия “слобода” и “свобода”? Не знаете? Так я вам скажу. “Свобода” лучше, чем “слобода”, — и, грациозно стряхнув с рукава комочек творога, Президент прошел мимо.

Вера вышла на площадь и увидела эстраду, украшенную флагами, скопленье зрителей. Услышала музыку, от которой сладко дрогнуло сердце, восхищенно раскрылись глаза. Это был ее любимый мюзикл, в котором она танцевала главную роль. Музыкальный спектакль о сильных прекрасных людях, штурмующих на краснозвездных самолетах небо Арктики, совершающих отважные подвиги ради любимой страны.

Вера очарованно остановилась, ее легкое тело откликалось на музыку счастливым трепетом, готовностью полететь, закружиться.

Перед ней предстал человек, держа под мышкой свернутый рулон. Полный, с редеющими волосами, изумленными глазами, он воскликнул:

— Боже мой! Не может быть! Знаменитая танцовщица Вера Молодеева! Я был на вашем дебюте! Я храню афишу с вашим портретом! Вот она! — человек развернул рулон, и Вера увидела себя, из того счастливого времени, когда глаза ее сияли обожанием и любовью, когда ее черные стеклянные волосы были полны таинственного свечения, когда ее плечи, руки, тонкие пальцы струились в потоке музыки. Вера с восхищением смотрела на афишу, и ей хотелось поцеловать свое собственное пленительное изображение.

— Простите, я не представился. Я Маерс. Я главный продюсер мюзикла. Вы очень кстати. У нас вышла из строя прима. Некому танцевать главную партию. Идемте на сцену. Я объявлю ваш выход!

— Но как же так, — сопротивлялась Вера. — Я давно не танцевала. Забыла партию. У меня нет платья. Я не готова.

— Вы абсолютно готовы. Вы очаровательны. Вы богиня. Вас послала сама судьба.

Маерс увлек Веру на эстраду, где исполнялась песня летчиков перед тем, как самолеты взмоют в небо. Самолет с красными звездами на крыльях стоял на сцене, и в кабине сидел пилот в комбинезоне и шлеме, и это был Ан-

дрей, ее любимый, ее суженый. Он был жив, и все ужасное, что случилось, было наваждением, и они снова вместе. Их прогулки по теплой ночной Москве, золотые кораблики на реке, и та бесконечная жаркая ночь, когда его любимые глаза смотрели на нее счастливо и жадно.

Вера сбросила туфли, упруго поднялась на носках, как ныряльщица перед прыжком, и, вздохнув глубоко, нырнула в божественную музыку, в плещущее лазурное море своей любви.

Она танцевала легко и чудесно, перелетала по сцене, в прыжках замирала в воздухе, словно обретала невесомость, кружилась, превращая пышные волосы и разноцветное платье в бурный вихрь. Она знала, что танцует великолепно, что она прекрасна, что зрители с обожанием смотрят на нее, а Андрей восхищенно сияет глазами, и в них отражается разноцветный вихрь ее танца.

Он выпрыгнул из кабины и поймал ее в свои объятья. Закружил и подбросил, и она полетела с легкими взмахами рук, и он догнал ее в воздухе, и они парили над городом, как две влюбленные птицы, — над золотыми куполами, зелеными купами, сверкающей синей рекой. Опустились на сцену, и он положил ее на свою сильную руку, наклонился прекрасным лицом, на котором страстно и пламенно смотрели влюбленные глаза. И она, повинуясь его властному обожающему взгляду, танцевала, слыша, как в танец вплетаются все светлые лучистые стихии мира, и музыка, звучащая на сцене, сливается с музыкой солнца, звезд, всего ликующего мироздания.

Кто-то из зрителей кричал: “Браво!”. Кто-то бросил на сцену букет алых роз. Закрыв глаза, улыбаясь, она кинулась в объятья Андрея, чувствуя, как он сильным взмахом раскрутил ее и держит за талию. А когда открыла глаза, вместо Андрея рядом с ней был черный танцор в трико, которое переливалось, как металлическая чешуя. Могучие мускулы перекатывались под тканью, сквозь прорези маски смотрели жуткие огненные глаза.

Вера вскрикнула, хотела бежать, но черный танцор приказал: “Танцуй!” Вел ее по сцене, больно сжимая талию, ломая руки, скручивая в колесо. Андрей в комбинезоне лежал на сцене с пробитой головой. Тут же валялся растоптанный букет роз, а в толпу зрителей врывались гибкие и цепкие, как черти, люди в масках. Стреляли из автоматов. Вера ужаснулась, истошно закричала. Ей в душу хлынула страшная тьма. На голову пролилась черная магма. И она, лишаясь рассудка, с уродливой гримасой ужаса, кинулась со сцены. Черный танцор рванул ее платье, и Вера, оставляя в его кулаке шелковый клок, кинулась босая со сцены. С непрерывным воплем бежала по улице. Ей вслед со сцены смеялся Маерс, стягивая с головы черный чехол. Отер обрывком шелка потную шею и кинул тряпку на сцену.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ

Маерс шел по улицам, наблюдая, как празднество разрастается, расцветает, собирает у многочисленных эстрад и трибун все больше народу. От каждой поющей эстрады, каждого дансинга, каждой трибуны, с которой выступали поэты, музыканты, певцы, поднималась мгла. Сумрак над городом становился все непрозрачней и пепельней, солнцу все трудней было пробивать покров мглы, и среди бела дня царил сумрак. В этом сумраке металлись лазерные лучи, чертили на мглистом небе яркие письмена. Мелькнул ритуальный стих, сопровождавший человеческие жертвоприношения у древних ацтеков. Просверкала строка из “Майн кампф”. Запечатлелся огненный абзац из Беловежского соглашения. Запылали строки из маркиза де Сада...

По улице двигалось шумное шествие. Это был гей-парад, в котором участвовала российская и мировая элита. Все они были в экзотических одеждах характерного голубого цвета. Впереди шагал сэр Элтон Джон с рыжими крашеными волосами, морщинистым, мокрым от сладострастья лицом. Он обнимал огромного фиолетового негра. За ним следовали мэры европейских столиц, поигрывая бедрами, красили на ходу губы, позволяли мускулистым охранникам шлепать себя по ягодицам. Звезды Голливуда мужского пола составляли живописные брачные пары. Россия была представлена несколько-

ми узнаваемыми министрами и вице-премьерами, ведущими телеканалов, одним генералом, множеством шумных журналистов и эстрадных певцов, депутатами Государственной думы и Общественной палаты. Среди процессии выделялась инвалидная коляска, в которой восседала полуголая примадонна с распухшими склеротическими ногами и прелестным лицом девственницы. Коляску толкали два ее мужа, кумира эстрады, которые женились на певице, чтобы в ее отсутствие встречаться в спальне.

Маерс с удовольствием смотрел на шествие, от которого в небо валила тьма. Он вышел на набережную, где клубился народ. Река под пепельным небом казалась зеленой, ядовитой, с химическим свечением вод, какое бывает в хранилище ядерных отходов. Маерс смотрел, как из-под крутого берега на речной простор выплывает трехпалубный теплоход "Оскар Уайльд", и на верхней палубе толпятся дети, и среди них пританцовывает, машет руками клоун.

Клоун был в смешной блузе, колпаке, вместо носа у него был красный пластмассовый шарик, огромные чувяки шлепали по палубе, и он смешил детей. Добрые люди, опекавшие сиротский приют, устроили им праздник, прогулку на великолепном теплоходе. В салоне их ожидало вкусное угощение, подарки, а сейчас на палубе они смотрели на родной город, и клоун, целуя мальчика Сережу в пушистую макушку, говорил:

— Посмотрите, дети, на наш чудесный город. Когда вы вырастете большими, вы станете путешествовать по разным странам. Побываете в Америке, Италии, Австралии, где много прекрасных городов. И жители этих стран вас спросят: "А какой он, город, в котором вы выросли?" Что вы им расскажете? Кто из вас опишет наш замечательный город? Начинай ты, Катя.

Девочка с бантом в светлой косичке счастливо смотрела на проплывавший собор с золотым куполом, на гранитную набережную с памятником солдату, на пестрых людей, окружавших бьющий фонтан.

— Наш город я очень люблю. В нем много красивых домов. Когда я была маленькой, у меня была мама. Но потом она уехала в далекие края. И теперь вместо мамы у меня есть воспитательница Анна Лаврентьевна. Но она тоже куда-то уехала.

— Прекрасный рассказ, моя милая! — восхитился клоун, подпрыгнув на месте. — Тебя ждет замечательный подарок, кукла Барби. Ну, а ты, Витя, как ты опишешь свой город?

— В нашем городе живут очень хорошие люди, — мальчик с серьезным бледным лицом смотрел на высокий зеленый берег. — Я очень люблю моего дядю Мишу. Когда умерли папа и мама, и меня отдали в детский дом, дядя Миша приходит меня навещать. У него есть мотоцикл, и он меня катает. Когда я вырасту, я куплю себе мотоцикл.

— Отлично, Витенька. Будет тебе мотоцикл, — клоун умилялся смышленому рассказу. — Ну, а ты, Сережа? Что ты скажешь жителям Нью-Йорка или Парижа?

Мальчик с челкой, с большими серыми глазами и синей жилкой на худенькой шее ответил:

— Когда я вырасту, я стану архитектором. Я построю в нашем городе стеклянные дома, в которых будут отражаться радуги, чтобы люди в них были счастливыми и никогда не умирали. Я посажу сады, чтобы все могли ходить по улицам и срывать себе яблоки, груши и вишни. Я подружусь с такими учеными, как наш учитель рисования Антон Тимофеевич Садовников, которые изобретут такое лекарство, от которого моя мама снова станет живой. Мы будем жить с ней в стеклянном доме и сквозь потолок смотреть на звезды.

— Да ты настоящий сказочник! — восхищался клоун. — В такой город приедут жить люди со всей Земли.

Он захлопал в ладони:

— Дорогие дети, а теперь я хочу вам кое-что сообщить. Наш корабль имеет дырку в борту и начинает тонуть. Я вместе с другими матросами сажусь в лодку и уплываю на берег. А вы останетесь здесь и утонете. Но вы не бойтесь, это не страшно. В реке рыбки живут.

Он смешно зашлепал чувяками. Покрутил во все стороны красным пластмассовым носом. Побежал на корму, где матросы спускали на воду шлюпку. Вслед за матросами заскочил в лодку, и она, стрекоча мотором, поплыла прочь от теплохода, который, потеряв управление, стал медленно поворачиваться, и было видно, как он погружается в воду.

Дети, обомлев, стояли на палубе. Люди на набережной начинали кричать и указывали на тонущий теплоход. А моторка весело уплывала. Клоун отцепил от носа и кинул в воду целлулоидный шарик. Содрал колпак и маску. Маерс смотрел, как удаляется белый корабль.

В это же время киллер Федя Купорос, застреливший чрезмерно спесивого Рому Звукозапись, двигался за город на новом джипе Чероки. На сиденье справа лежал пятнадцатизарядный пистолет "беретта-92", а ТТ торчал из-под ремня, приятно надавливая на пупок. Он получил приказ от главаря областного законодательного собрания взорвать священный дуб и теперь ехал выполнять задание, бросив на заднее сидение мешок с пластидом и электровзрывателем. Он был в отличном расположении духа, потому что готовился к поездке в Америку, в Лас-Вегас, где намеревался "оттянуться по полной": спустить накопленные деньги в казино, в ресторанах, с дорогими проститутками и дружками, которые поджидали его, строго наказав выучить хотя бы два десятка английских выражений. Он вел машину, представляя ночное буйство реклам, зеленое сукно игорных столов, груди красоток. Заглядывал одним глазом в русско-английский разговорник, зубрил трудные для уральского произношения фразы: "Хау матч", "Каунт, плиз", "Брекфаст", "Найс ту мит ю".

Перед ним по шоссе ехал колесный трактор с подвесной косилкой. Вилял из стороны в сторону, мешая проехать, не откликался на гудки. Федя приоткрыл стекло, просунул наружу "беретту" и сделал несколько выстрелов в воздух, отчего трактор шарахнулся в сторону, и, обгоняя его, Федя увидел потрясенное лицо сельского тракториста.

— Каунт, плиз! — хохотнул Федя, помахав крестьянину стволом.

Когда он проносился сквозь деревню с убогими заколоченными хижинами, к машине вынеслась собака и, оскалив клыки, гналась за ней. Федя слегка вильнул, ударив зверя колесом, услышал упругий удар. Видел в зеркало, как лежит на синем асфальте пушистый комок, содрогаясь в предсмертной муке.

— Брекфаст, — произнес Федя Купорос, приближаясь к священной роще, где находился чудотворный дуб.

В дискотеке "Хромая утка" Джебраил Муслимович Мамедов готовил кальяны, в которых уже тлели ароматные угольки, и служители подсыпали в медные чашечки крохотные крупицы "препарата Тьмы". За приготовлением его нетерпеливо следили молодые люди, пожелавшие совершить космическую одиссею, вкусить сладкий наркотический дым и унестись в иные миры. Всем руководил сам Джебраил Муслимович, который был облачен в космический скафандр и просил называть его "юрий гагарин с маленькой буквы". Кальяны были выписаны из стран Залива, были великолепными изделиями стеклодува, переливались, как волшебные лампы. Молодые люди жадно смотрели на драгоценные сосуды, на изогнутые, как водоросли, трубки и костяные мундштуки.

Жених и невеста были первыми в очереди желающих. Прелестная девушка с открытым смелым лицом и золотистыми волосами бравировала своей смелостью, хотя было видно, что она немного робеет. Жених, свежий, сильный, с милым пушком на круглом юношеском лице подбадривал подругу:

— Ты вдохни и задержи выдох. И сразу взлетишь в открытый космос. А я тебя там догоню.

— А если я там потеряюсь, и ты меня не найдешь?

— Мы возьмемся за руки и улетим вместе. Чем ехать к твоей бабушке в деревню и там проводить медовый месяц, лучше совершим свадебное путешествие в космос.

— Я боюсь. Я слышала, одна девушка надышалась, улетела да так и не вернулась. И ее парень тоже не вернулся.

— Значит, они живут на других планетах. Мы же хотели с тобой уехать из нашего дурацкого города. Вот и улетим на другую планету.

Они оба храбрились и все-таки робели, и Джебраил Муслимович ободрял их, улыбаясь из своего серебристого шлема:

— Это будет что-то просто замечательное. Вы испытаете такие оргазмы, которых на земле не бывает. Я вам дам ответственное задание. Вы — боевые астронавты Соединенных Штатов Америки. Вы полетите в созвездие Льва, к звезде 114 Лео, где прячется эскадрилья вражеских космолетов. Вы взорвете их и вернетесь обратно. Вы станете национальными героями Америки, и вас наградят медалью "Пурпурное сердце". Это я вам обещаю.

Он радостно смеялся, и молодые люди счастливо улыбались, готовые к космическому старту. Служители омывали костяные мундштуки красным вином, протягивали их жениху и невесте.

И все это сливалось в общее, охватившее город празднество, которое достигало своей вершины.

На центральной площади, перед зданием администрации, где когда-то стоял бронзовый памятник Ленину, теперь были врыты восемь деревянных столбов и построен дощатый настил. Вокруг столбов и настила выстроилось каре красных человечков, которые охраняли место предстоящего действа. По окрестным улицам расхаживали глашатаи в облачении средневековых герольдов и в золотые мегафоны зазывали народ на площадь.

— Достопочтимые граждане, спешите увидеть неповторимое зрелище. В нашем городе действуют законы штата Арканзас, где допускается смертная казнь в отношении изменников родины. Через час на главной площади состоится сожжение восьми злобных врагов рода людского. Эти исчадия хотели создать искусственную радугу и с ее помощью сжечь наш город, спалить храмы и супермаркеты, банки и коттеджи самых уважаемых граждан и установить в городе кровавую Диктатуру Света. Идите на площадь и несите вязанки хвороста. Россия выходит из моратория на смертную казнь. Не пропустите неповторимое зрелище!

Народ слышал звоны золотых мегафонов. Валил на площадь, продолжая поедать сладкое мороженое, пить из жестяных баночек вкусное пиво, жевать жвачки.

На площадь между тем выехал железный тюремный фургон, и красные роботы помогли спуститься на землю восьмерым измученным узникам. Отец Павел Зябликов, шаман Василий Васильев, ученик Коля Скалкин, психиатр Зак Марк Лазаревич, лодочник Ефремыч, колокольных дел мастер Верхоустин Игнат Тимофеевич, хранитель мемориала Аристарх Петухов, директриса сиротского приюта Анна Лаврентьевна. Все они, истерзанные и обугленные, шатаясь, взошли на помост. Темнокудрый араб расставил их у деревянных столбов и каждого, притянув к столбу, обмотал веревками.

— Мужайтесь, дети мои. Встретимся в царствии небесном, — произнес отец Павел, шевеля губами в опаленной бороде.

— Я не хочу умирать, — сказал Коля Скалкин, которого веревка почти перерезала пополам.

— Враг будет разбит. Победа будет за нами, — отозвался Ефремыч, едва удерживаясь на обожженных ногах.

На помост взошли восемь красных деревянных прислужников, и каждый держал в руке баллончик со спреем. Подносил баллончик к лицу приговоренного и покрывал его краской, одним из цветов радуги. Красное. Оранжевое. Желтое. Зеленое. Голубое. Синее. Фиолетовое. Такими стали лица приговоренных. И только лицо отца Павла было покрашено в белый цвет, в котором слились расщепленные лучи спектра.

На площади вдоль помоста начиналось торжественное шествие. Проползли, проскакали, промчались герои мультфильмов Диснея. Кузнечик верхом на жабе. Краб в обнимку с улиткой. Белоснежка в объятьях гнома. Петух пришпоривал утку. Микки Маус вцепился в кота. Они прокатились разноцветным клубком и сгинули, оставив на площади липкие лужицы.

Бодро и деловито прошла погребальная процессия красных человечков, несущих на плечах открытый гроб с рыбой. Прошествовали на ходулях баскетболисты, перебрасываясь отсеченной телячьей башкой. Другие красные человечки, держась за концы веревок, пронесли, как аэростат, синюю надувную женщину с надписью "Ксюша".

Дальше двигался гей-парад во главе с Элтоном Джоном.

И уже поднимались на трибуну именитые граждане, осуждая злодеев, поддерживая приговор военно-полевого суда. Первым говорил губернатор Степан Анатольевич Петуховский:

— Подумать только, искусственная радуга! Эти изуверы использовали наш любимый городской фонтан, ловили проходящие сквозь него лучи солнца и с помощью зеркал направляли радугу в окна администрации. В результате у меня упало зрение.

За ним выступал председатель областной думы и лидер правящей партии Иона Иванович Дубков:

— Дорогие братья и сестры, быки и телки! Искусственная радуга — это клево. Они лазером арбузы накачивали и готовили покушение на нашего Президента, который на днях к нам прибыл. Их накрыл лучший опер нашего города полковник Михаил Геннадиевич Клюковкин, которого мы промеж себя звали "полковник Мишенька". Он обнаружил склад боевых арбузов и ценой своей жизни его ликвидировал… Я поддерживаю окружного прокурора штата Айова. Сжечь стервецов!

За ним выступал местный олигарх Андрей Витальевич Касимов:

— Коммунистические псы, заговорщики, революционеры! Они всех богатых хотели на фонарных столбах повесить. А теперь сами у столбов стоят, как еретики. Вы все меня знаете. Я с народом делюсь. Я деньги на фонтан выделял. Сиротскому приюту помогал. Ветеранам праздник устроил. Епархии купола на двух церквях позолотил. Колокол на мемориале ГУЛАГа повесил, чтобы люди помнили о зверствах революционеров. Лучше, господа, сжечь сейчас восьмерых, чем они потом сожгут сто сорок миллионов. А деньги, между прочим, на столбы и краску, которой их покрасили, я пожертвовал.

Ещё выступил поэт Семен Добрынин. Взмахивая пышной седой шевелюрой, он протягивал руки к столбам, у которых томились связанные веревками жертвы. Раскачивался туловищем и, слегка завывая, читал:

Мои стихи и дерзки, и остры.
Их всяк читает наизусть и вслух.
Горите ярче, дивные костры,
Взвивайся, дым, лети, бессмертный дух.

На этом устные выступления закончились, и начался символический ритуал — собирание хвороста. Всякий мог кинуть в костер хотя бы малый сучок, чтобы приобщиться к священному истреблению.

В небе зажужжало, появилась разноцветная эскадрилья дельтапланов с пропеллерами. Пилоты в комбинезонах несли по небу охапки валежника, пикировали на столбы и сбрасывали на помост сухие ветки. Пилотам рукоплескала толпа, а они посылали из неба воздушные поцелуи. С ужасным грохотом, мигая фарами, промчались на мотоциклах байкеры с нечесаными подругами. Швыряли на помост сосновые суки, гоготали сквозь неопрятные бороды, в знак приветствия сжимали кулаки в черных перчатках.

Красные роботы, окружавшие помост, расступились, открывая к столбам доступ общественным и политическим организациям. Делегация правящей партии принесла на серебряном подносе веточки сандалового дерева, которые должны были сделать костры благовонными. Офицеры МЧС уложили у ног мучеников несколько смоляных поленьев, подписанных самим министром. Общество "Мемориал" доставило на тачке брикет соломы, и активисты общества разделили соломенный ворох поровну между приговоренными. Правозащитная организация "Сов" внесла свою лепту, бросив к столбам несколько тополиных веток. Экологисты из "Гринпис" и "Белуны" повесили на грудь казнимых плакатики в защиту китов. Клуб "Содействие демокра-

тии" набросал на помост еловый лапник. "Общество ветеранов разведки" ограничилось горстками опилок, а "Общество разведения речных моллюсков" не поскупилось на несколько листов отличной фанеры. Уфологи принесли несколько обгорелых суков, уверяя, что они доставлены с Тунгуски, где разбился межпланетный корабль. "Общество Святого Валентина" возложило на голову каждого из мучеников веночек сухих ромашек, а сравнительно немногочисленная масонская ложа "Великий Восток" начертала на каждом столбе пентаграмму.

В конце концов дров и хвороста набралось столько, что головы мучеников едва виднелись из скопления веток, поленьев и смоляных щепок.

И тогда появился человек в черной хламиде с капюшоном. Он извлек из складок одежды большое увеличительное стекло, приблизил к вороху соломы. Лазерный луч упал на линзу. Солома задымилась. Ядовитый огонек побежал по сухим стеблям. Человек откинул капюшон, сбросил балахон, и все увидели Маерса в белоснежной форме американского морского офицера, в золоте позументов, с сияющим кортиком и медалью "Пурпурное сердце". Военный оркестр заиграл американский гимн. Звездно-полосатый флаг взвился на флагштоке. На гостевых трибунах рукоплескали. Маерс отдавал честь. Огромный костер разгорался, и головы мучеников, покрашенные в цвета радуги, уже скрывались в дыму.

— Чада мои! — крикнул из дыма отец Павел. — Недолго ждать. Претерпевших до конца Победа!

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

Садовников очнулся от дремы, словно сердце пронзила острая спица. Вскочил, Веры не было, за окном стояла мгла, сквозь которую светило багровое солнце. Его охватил реликтовый ужас, будто кончалась жизнь на земле, а Вселенная свертывалась в свиток. Гасли светила и звезды. Он испытывал боль. Казалось, каждая клетка тела кричит от невыносимого страдания, погибает каждая молекула, и в пространстве бушуют вихри, от которых сотрясается и гнется земная ось.

Он стоял посреди комнаты на обугленных ногах, ребра его болели от переломов, в голове набухали готовые лопнуть сосуды, кожа спины была изорвана плетью, он захлебывался от булькающей в горле жижи, палец руки был сплющен в кровавую лепешку, а на груди пламенел ожог в форме креста. Он понимал, что стал вместилищем чьих-то непосильных мучений, что мир исполнен зла, и это зло истребляет все, что ему драгоценно и свято.

Он посмотрел на деревянную скульптуру Николы. Она кровоточила. Из деревянных глаз лились кровавые слезы. Борода, риза, епитрахиль с крестами — все было пропитано кровью, которая капала на верстак. Из страниц деревянной священной книги сочилась кровь. В мире совершалось ужасное злодеяние, убывал свет, растекалась тьма.

Садовников, опустив веки, описывал глазами круги, как ясновидец, прозревая творимое вокруг зло.

Он увидел груды горящего хвороста, голову отца Павла в дыму, беззвучно кричавшего ученика Колю Скалкина, оскаленный рот Ефремыча, изрыгающий бессловесную песню. Видел тонущий теплоход "Оскар Уайльд" посреди пустынный реки, детей на палубе, которые взялись за руки, и мальчик Сережа, нарисовавший райский звездолет, говорил: "Не бойтесь, там рай. Только держитесь за руки, чтобы мы все вместе туда попали". Садовников видел, как Федя Купорос приближается на джипе к священному дубу, на заднем сиденье лежит мешок со взрывчаткой, и вековое дерево в предчувствии смерти содрогается своими волнистыми листьями, и живущая в ветвях птичья стая готова в страхе улететь. Он видел дискотеку "Хромая утка", кальяны с ужасным зельем, и жених и невеста подносят к губам костяные мундштуки, чтобы втянуть в себя дым, испытать секунду блаженства, а потом умереть в невыносимых мученьях. Видел Веру, свою ненаглядную, которая в разорванном платье, с растрепанными волосами и искаженным ли-

цом бежала босая по городу, гонимая ужасом. Все это видел Садовников, стоя на обожженных ногах, с переломанными ребрами, среди торжествующего зла.

Он открыл глаза, но видел не пепельное солнце и не капающую с деревянного Николы кровь. Желая отделить себя от бушующего в мире зла, окружить себя защитным коконом света, он вспомнил прекрасное молодое лицо жены и песню, которую она пела, вернувшись из смоленской деревни: "Горят, горят пожары, горят всю неделюшку. Ничего в дикой степи не осталося". Вспомнил маму, которая болела и гасла, и удерживая в себе меркнущий свет, читала наизусть стихи своей молодости: "Скажите мне, что может быть прекрасней дамы петербургской?" Вспомнил бабушку, которая наклонялась над его детской кроваткой и, вся седая, из серебряных лучиков, улыбалась: "Мой мальчик, ангел души моей!" Он все это вспомнил, и вокруг него образовался прозрачный, голубовато-серебряный кокон света, сквозь который не проникало зло. Садовников вздохнул глубоко, прочитав неслышно свой любимый героический стих: "Доспех звенит, как перед боем. Теперь настал твой час, молись!"

Он исполнился неодолимой силы. Сквозь него хлынули из древности могучие энергии русских побед, одолений. Зазвучал рокочущий хор бессчетных голосов, среди которых, как всплески чудесной красоты, слышались голоса великих подвижников, мудрецов и поэтов. Из неба упал на него прозрачный хрустальный луч, из лазури в его раскрытое сердце, и по этому лучу излились в него божественные потоки света, наполнив бесстрашием и любовью. Он нес в груди это могущество светоносной Вселенной, которое сотворило небо и землю, цветы и звезды, стихи и дивных младенцев. Обратил свой дух к стихиям природы, выбрав среди них ветер, и молитвенно, как псалом, стал читать пушкинский стих:

"Ветер, ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч". Услышал шум, наполняющий небо. Своей волей и мольбой управлял движением ветра, который собирал над морем облака, сбивал их в белую кучевую тучу, направлял эту тучу к месту, откуда звучала молитва.

…Над площадью, где горели костры, появилась белая башня тучи. Из нее вырывались клубы, она увеличивалась, темнела, наливалась фиолетовой грозой. В ней мерцали молнии, она закрыла все небо, и первые тяжелые капли упали на землю. Дождь усилился, разгоняя гостей на трибуне, толпу зевак. И вдруг в туче раскрылись зияющие окна, растворились незримые шлюзы, и грохочущий, сплошной, как ревущий водопад, дождь пал на землю. Погасил костры, прибил дым, хлестал по одеждам казнимых, омывал им лица, смывал краску. Целовал в уста холодными сочными губами. Ливень прошел над кострами, разметал сучья. Веревки, притягивающие узников к столбам, распались, и мученики, шатаясь, пробираясь сквозь кучи дымящихся веток, спустились с помоста. Край тучи уходил за крыши домов, кромка загорелась ослепительным светом. И в открывшейся лазури засверкала дивная радуга.

Спасенные узники, хлюпая по лужам, держась друг за другом, брели через площадь. Отец Павел пел: "Богородица, Дева, радуйся!"

Туча ушла за город, и теперь ливень хлестал по пустынной реке, туманил водные дали, размытые берега. Грохотал по железной палубе теплохода "Оскар Уайльд", где стояли, взявшись за руки, дети. Корма погружалась в воду, подступала к верхней палубе, и дети среди холодной пустыни жались друг к другу, и мальчик Сережа, обнимая дрожащую, в промокшем платьице, девочку Катю, говорил:

— Катя, я тебя люблю. Я хотел, когда вырасту, на тебе жениться. А ты меня любишь?

— Люблю.

Палуба уходила под воду, ливень грохотал по железу, и река без берегов, огромная, как море, поглощала теплоход.

Внезапно из тумана, стремительный, белоснежный, возник корабль, светил прожекторами, сиял золотыми палубами. Приблизился к тонущему "Ос-

кару Уайльду", сильные стремительные матросы перескакивали на гибнущий теплоход. Хватали детей, уносили на свой корабль. И когда все продрогшие, дрожащие от ужаса дети оказались в теплых каютах, и мальчик Сережа сквозь хрустальное окно увидел растущие на палубе волшебные деревья, и золотые купола, и услышал колокольные звоны и дивное пение, и увидел капитана, спокойного, светлоликого, окруженного сиянием, он узнал этот чудесный корабль. Именно его нарисовал он, выполняя задание учителя, изображая райский звездолет. Теперь этот белый посланец рая мчался по реке, не касаясь воды, а сзади исчезал в воронках проржавелый остов "Оскара Уайльда".

Туча, фиолетовая, грохочущая, с клубами и вспышками молний, влекла неиссякающий ливень за окраину города, над окрестными лесами, вдоль шоссе, по которому мчался джип "чероки". Федя Купорос гнал машину сквозь серый водопад, вглядываясь в мутное стекло, на котором бешено метались щетки. Кругом взрывалось, сыпались молнии, слепило глаза. Сквозь ливень возник священный дуб, громадный, корявый, с черной тяжелой кроной. Федя радостно вздохнул, поднес руку ко лбу, желая перекреститься. Ударила белая зеркальная молния. Воздух затрепетал огнем. Небесное электричество окружило машину плазмой. Искра небес замкнула клеммы взрывателя, и лежащая на сиденье взрывчатка рванула страшным ударом, превращая машину и Федю Купороса в кровавые лоскутья. Взрывная волна достигла дуба, колыхнула крону, обрушила зеленые потоки воды. И на мокрую землю посыпались желуди. Светились в траве, как маленькие драгоценные слитки.

В дискотеке "Хромая утка" все было готово к "полету в открытый космос". Служители омывали красным вином костяные мундштуки кальянов. В медных чашечках краснели прозрачные угольки. Стеклянные сосуды, похожие на волшебных перламутровых птиц, пленяли глаз. Жених и невеста, счастливо переглядываясь, уже касались губами мундштуков, чтобы вдохнуть сладкие дымы и улететь к далеким планетам, испытывая райское блаженство. Вдруг зазвенело стекло и, рассыпая осколки, влетел камень. Он пролетел к стойке бара, на котором стояли кальяны, ударил в сосуд из розового, усыпанного жемчугами стекла. Выбил мундштук из пунцовых губ невесты, и она с криком отпрянула от водяных брызг и осколков. Камень, разбив кальян, сделал круг, поднялся под потолок и замер там, переливаясь гранями, как кристалл горного хрусталя. Некоторое время он источал голубой свет, словно таинственная звезда. Прянул вниз и разбил второй кальян, осыпав жениха стеклянными осколками. После этого камень застыл в воздухе над изумленными людьми. Казалось, он дышит, окруженный голубым сиянием. Помчался к окну и вылетел сквозь разбитое стекло. И в помещении, где он только что был, где стояли изумленные люди, слабо запахло розами.

Вера, босая, в разорванном платье, бежала по городу, побиваемая дождем. Мокрый ветер порывами ударял ее о стены домов, о фонарные столбы, о железные изгороди. Она бежала слепо, крича, испытывая ужас. Ей казалось, что за ней гонится огромное крылатое насекомое, садится на голову, вонзает ядовитое жало, и нестерпимая боль, невыносимый ужас заставляли ее кричать. Она продолжала бежать среди грохочущих водостоков, ледяных брызг, автомобильных колес, из-под которых ударяли в нее фонтаны воды и грязи. В ее рассудок лилась тьма, ее безумье вернулось. Она видела лежащего на веранде Андрея, кровавую рану во лбу, истоптанные розы, хохочущее лицо черного танцора. В своем бреду она знала, что предала Садовникова, отреклась от него, совершила страшное неотмолимое преступление, с которым невозможно жить.

Она выбежала к реке, где уже не было набережной, берег круто обрывался, и тянулись рельсы, уводя на мост. Сам мост, громадный, из железных конструкций, черный, в блеске дождя, перебрасывал через реку свои арки, перекрестья, дуги, исчезал в тумане, словно растворялся в дожде. Вера пробежала мимо будки охранника, больно ударила ногу о железную рельсу, скользнула на дощатый настил и побежала вдоль стальных крестов, полукружий, заклепок, уклоняясь от огромной жужжащей стрекозы, которая хвата-

ла ее лапами за волосы, впивалась в голову, впрыскивала чернильный ужас. Жизнь была невозможна, боль невыносима, грех неотмолим, тьма непобедима. Она ухватилась за ледяное железо, перебралась через изгородь. Посмотрела вниз, где далеко, подернутая туманом, текла рябая от ветра река. И кинулась вниз, закрыв глаза, чувствуя свистящий ветер падения.

Садовников выбежал на берег и увидел мост с бегущей Верой. Смотрел, как она свесилась с моста, прыгнула вниз и летела, приближаясь к воде. Он простер руки, направил сквозь них волну света, которая хлынула из ладоней, достигла середины реки, подхватила Веру, и она, прекратив отвесное падение, заскользила по плавной кривой. Садовников с берега нес ее над серой водой, приближая к тихой отмели, где не было ветра, и река слабо плескала в песок. Вера коснулась воды и, оставляя легкий след, легла на песок, так что ноги омывала река, а измученное, с закрытыми глазами лицо касалось мокрой ветки прибрежного куста. Садовников поднял ее бессильное тело, поцеловал в закрытые веки и понес к машине.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ

Ливень пронесся над городом, разогнал веселящиеся толпы, смял и склеил праздничные флаги, намочил эстрады и трибуны, распугал артистов и певцов, канатоходцев и клоунов. Посреди площади стояли закопченные столбы с обрывками веревок. Были разбросаны обгорелые ветки. На трамвайных путях темнел брошенный гроб с мертвой рыбой. На клумбе были брошены сосуды с заспиртованными эмбрионами. И повсюду валялись пивные банки и обертки сникерсов, бумажный сор и разноцветные тряпки. Весь город был замусорен, испачкан и имел вид громадной мокрой помойки.

В дискотеке “Хромая утка” после того как в нее влетел волшебный кристалл и разбил ядовитые кальяны, стало пусто. Посетители торопливо разошлись и больше не появлялись. В небольшом ресторане, пристроенном к дискотеке, собралась городская знать. Губернатор Степан Анатольевич Петуховский, глава местной Думы Иона Иванович Дубков, соляной олигарх Андрей Витальевич Касимов, наркоторговец и хозяин “Хромой утки” Джебраил Муслимович Мамедов, все собранные по экстренному зову губернатора Петуховского. Никто не заказывал блюда, не раскрывал ресторанную карту. Только Иона Иванович мрачно посапывал над кружкой темного “гиннесса”.

Слово взял губернатор Степан Анатольевич Петуховский:

— Спасибо, господа, что откликнулись на мой зов. Вы, как вижу, понимаете всю неоднозначность сложившегося положения. В городе произошли события, которые могут быть истолкованы по-разному. И уже появились сообщения в интернете, что город подвергся нападению преступной банды, которая совершала грабежи и убийства, поджоги и бесчинства, а городские власти были бессильны обуздать разбойников. Уже звонили из Москвы, из администрации Президента. Оборвали телефон корреспонденты центральных газет. Сюда, я знаю, летит самолет, набитый журналистами, тем, как говорится, племенем, которое Моисей в свое время вывел из Египта. И все это, господа хорошие, связано с персоной некоего Маерса Виктора Арнольдовича, выдающего себя за офицера американской разведки, а на самом деле — черт знает, кто он такой.

Дубков оторвался от фужера с пивом и злобно произнес:

— Это вы мне звонили, Степан Анатольевич: “Прими этого Маерса, прими!” Вы его нам навязали, вам и отвечать. Не я губернатор, а вы!

— Вы тоже хороши, Иона Иванович, — остановил Дубкова Касимов. — Ведь это вы мне звонили с просьбой оплатить строительство трибун и эстрадных помостов. Вы просили купить в лесничестве восемь елок под столбы, у которых сжигали людей. Вы мне не сказали, зачем столбы.

— Вы, Андрей Витальевич, гораздо богаче меня, и ваше имя украшает список миллиардеров в журнале “Форбс”, — вступил в разговор Джебраил Муслимович Мамедов. — Столбы столбами, но аварийный теплоход “Оскар Уайльд” вы направили в плаванье, погрузив на него детей.

— Не делайте вид, Мамедов, что вы ни при чем, — брезгливо ответил Касимов. — Моя служба безопасности доложила мне, что вы начали торговлю новым наркотиком, от которого у людей выпадают глаза. В вашем преступном заведении зафиксировано несколько смертельных передозировок, и уже, как мне известно, начато расследование.

— Как же Маерс нам всё это впарил, мужики! — крутил хмельной головой Иона Иванович. — Сперва завез этих красных человечков, дескать, для культурных целей, чтобы Европе понравилось. Потом наврал про визит Президента, который любит всякие танцы-шманцы. Потом про космических пришельцев, и мы, как лохи, ему поверили. Потом про какой-то коммунистический заговор, что будут собственность отбирать и на фонарях вешать. И почему мы верили этому Маерсу, который мне ксиву на английском в нос сувал, что, дескать, американский разведчик?

— Он жулик международного класса. Его "Интерпол" разыскивает! — крикнул Касимов.

— Он гипнотизер. Он мне под гипнозом наркотик всучил! — возбужденно подхватил Мамедов.

— Мы должны немедленно призвать его сюда, пусть даст ответ. Добром не придет, арестуем! — властно сказал губернатор. — Где полковник Мишенька? Пусть арестует Маерса и доставит сюда!

— Полковник Мишенька, друг закадычный, браток мой родной, повесился! — горестно возвестил Иона Иванович. — И даже за преферанс долг не отдал!

— А, может, нам его, господа, отловить и удавить потихоньку. Как говорится, концы в воду! — предложил Касимов.

— Повторите, Андрей Витальевич. Еще раз, погромче! — этот голос раздался от дверей. Все обернулись и увидели Маерса, который стоял, прислонившись к косяку и, по-видимому, слышал весь разговор. Он ослепительно улыбался. Был одет в черный смокинг, с бабочкой на белоснежной рубашке. Напоминал голливудского актера на церемонии "Оскар". Все смутились, опустили глаза, были не готовы роптать, возмущаться. Были подавлены победным блеском повелевающих глаз, безупречной манерой носить фрак, свойственной настоящим аристократом, всей изысканной осанкой человека, принятого в высшем обществе, — Как же, Андрей Витальевич, вы намерены меня удавить? Как Саддама Хусейна, в петле? Или как Тараки, подушкой? Или, знаете, был такой способ в средневековой Испании — удушение на гарроте. Защемляли шею в деревянную колодку и медленно вращали винт, пока не треснут позвонки. Каким все-таки способом удавите?

— Вы не так меня поняли. Вы не расслышали, — стал мямлить Касимов, и лицо его стало багровым, а уши напоминали лепестки мака.

— Мы хотели послать за вами, господин Маерс, — стараясь быть суровым, произнес губернатор Петуховский. — Мы, собственно, хотели бы выслушать ваши объяснения. Где коммунистический переворот, которым вы нас пугали? Где космическая атака пришельцев, желавших похитить Президента? Где, в конце концов, сам Президент, который должен был приехать на праздник искусств? Вместо праздника — хаос, разорение, ряд преступлений, совершенных не без вашего участия и ваших так называемых деревянных человечков! Нам будет что предъявить в Генеральную прокуратуру!

— Вы напрасно ропщете, Степан Анатольевич, — обворожительно улыбнулся Маерс. — Праздник удался на славу. О нем напишут во всех гламурных журналах мира. Во всех искусствоведческих журналах. Во всех газетах под рубрикой "Скандалы". Где, на каком празднике искусств по приказанию губернатора сжигают людей? Где для развлечения толпы губернский миллиардер сажает детей на свой ржавый теплоход и топит их в реке? А чего стоит наркосалон, куда владелец заманивает наивных молодых людей и устраивает эстетский аттракцион "юрий гагарин с маленькой буквы", после чего десяток трупов находят на городской свалке? Уж я не говорю об изуродованном трупе вашего товарища по банде, Иона Иванович, найденном у подножья священного дуба… Что касается Президента, то он был. Он выпрыгнул из корыта с творогом, ходил среди народа без всякой

охраны и раздавал автографы: “Свобода лучше, чем слобода”. Та что праздник удался, господа!

— Как вы смеете! — губернатор наливался бешенством, от которого у него тряслись щеки и лопались в глазах красные сосудики. — Вы ответите по закону! Вами займется ФСБ, и там выяснят, какой вы офицер американской разведки. Какой вы маг и волшебник. И сколько на вас судимостей. И сколько на вас “мокрых дел”.

Все загомонили, осмелели, махали кулаками, указывали на Маерса пальцами, разоблачая его.

— Где коммунистический заговор?

— Нет такой медали “Пурпурное сердце”!

— Это он повесил моего другана Мишеньку, который сидел у него на хвосте!

— Молчать! — рявкнул Маерс, сверкнув глазами, и всем показалось, что просвистела плеть. — Суки. Вы — самое гнусное, что я видел за всю мою жизнь! Мы, американцы, отыскали вас на самом дне русского народа, где ютятся дегенераты, вырожденцы, уроды, и передали вам власть. И вы двадцать лет уничтожаете свой народ. Вы — иуды, и все будете висеть на суках. Вы предали свой народ, а предатели никому не нужны. Мы терпим вас до поры до времени, а потом сольем, как нечистоты. Вы хотите, чтобы я объяснился с вами? Извольте. Посидите еще полчаса, и я вернусь.

В деревянном доме на окраине города Садовников сидел у изголовья Веры, гладил ее влажные волосы, целовал бессильную руку. Никола, как страж, стоял на верстаке, воздев меч. Вера, вытянувшись под пледом, говорила:

— Ты прости мое вероломство. Если хочешь, прогони меня прочь. Я сумасшедшая, дурная. Зачем я тебе?

— Ты чудная, родная, ненаглядная. Я люблю тебя.

— Ты спасаешь меня, выхватываешь каждый раз из черных жестоких рук. Почему они тянутся ко мне, эти руки? Не оставляют в покое?

— Они тянутся ко всему светлому и прекрасному. Ты светлая и прекрасная.

— А мы не можем с тобой улететь на голубую звезду, где живут твои друзья и где нет зла?

— Мы останемся здесь, в России, которая изнывает под игом. Тут предстоит великая битва, когда духи Света сразятся с духами Тьмы. Эта битва уже началась. В урочный час мои друзья прилетят к нам на помощь. Мы проснемся с тобой на рассвете. За окном будет алая заря. И на этой заре, золотые, сверкающие, как волшебные светила, возникнут звездолеты. Они вернутся на землю с голубой звезды 114 Лео, и Тьма отступит, как отступает на утренней заре ночная тень.

— Так и будет? — слабо улыбнулась она, прижимая к его губам свои пальцы.

— Так и будет, моя ненаглядная!

Садовников услышал снаружи глухой шум. Шелестело и скрипело, топотало и трещало. Выглянул в окно. По улице, сплошь заполонив ее, двигалось толпище красных человечков. Они появлялись из соседних переулков, спрыгивали с крыш окрестных домов, выскакивали из дворов и подворотен. Они ломились в палисадник, уже затоптали клумбу с цветами, поломали купы золотых шаров. В их поступи была жестокость легионов, неумолимость завоевателей, победоносная мощь беспощадных армий. Их одинаковые, сбитые из деревянных брусков тела были исполнены тупой решимости и злой неукротимой энергии. И они наступали на его, Садовникова, дом, где стояла на столе любимая синяя чашка, пестрел на полу деревенский половик, таился под крышей драгоценный телескоп, направленный на голубую звезду, а под пледом, усталая и измученная, лежала любимая женщина.

Садовников был истощен недавними борениями. Сквозь его душу и плоть прокатились энергии, остановившие зло. Но силы его иссякли. Он был обуглен, как обугливается провод, по которому пробежала волна раскаленного

тока. И впору было отдохнуть, ждать, когда медленно соберется в душе чудодейственная влага, "живая вода", и он вновь обретет свое благое могущество. Но враг был у порога. Предстоял неравный бой. И Садовников, тоскуя, предчувствуя неизбежность утрат, молитвенно обратился к Николе:

— Отче, святой Никола, выручай, чудотворец!

Деревянный Никола вздрогнул. Посмотрел на Садовникова своими синими деревянными глазами. Неловко, переваливаясь на коротких ногах, приблизился к краю верстака. И вдруг гибко, упруго скакнул на пол. Плотнее прикрылся священной книгой, как щитом. Повел мечом и выскочил за порог.

Красные человечки неисчислимой лавиной шли к дому. Стук деревянных ног, взмахи жестоких рук, ненависть неукротимой атаки. Все, что попадалось им на пути, затаптывалось, разрывалось, разламывалось. Никола, не выпуская меча, перекрестил свой широкий лоб, огладил бороду и кинулся в бой.

Сеча была ужасной. Никола разил мечом, бил наотмашь, колол, рассекал. Летели красные, как кровавые брызги, щепки. Звенела сталь. Трескались бруски. Хрустели перебитые сучки.

Никола прочитал молитву: "И да воскреснет Бог, и да расточатся враги его". Раскрыл священную книгу на странице, где лучезарно сияли две греческие буквы Альфа и Омега. Книга, как волшебный прожектор, направила на врага поток голубого фаворского света. Свет коснулся войска, повернул вспять, и красные роботы в панике, давя друг друга, бежали. А Никола мчался следом, настигал, сверкал мечом, истребляя злодейский род.

У опушки леса Никола настиг последнего человечка, замахнулся мечом. Тот пал на колени, умоляюще поднял руки. Никола опустил меч. Наложил на голову робота золотую, прожженную во многих местах епитрахиль. Прошептал: "Во имя Отца, и Сына, и Святаго Духа". Убрал епитрахиль, и вместо отесанных, покрытых грубой краской брусков распустились зеленые ветки, зашумели нежные, благоухающие листья. Наполненный ветром куст зашелестел у опушки. Уходя, Никола заметил, как в куст опустилась малая птица.

Дождь прополоскал город, промыл его морщины, освежил фасады и скверы. Больше не было видно дурацких срамных афиш, назойливых флагов, размалеванных масок. Пахло древесной листвой, мокрыми клумбами. Пушка на постаменте обрела свой строгий зеленый цвет, как и подобает фронтовому орудию. Ливень смыл скабрезную раскраску. Мимо шли молодая женщина и ее маленький сын.

— Мама, а это кто? — спросил мальчик, указывая в сторону пушки.

— Где, сынок?

— Да вон, стеклянный дядя!

Около пушки стоял прозрачный, как мираж, человек. Он был в форме советского офицера. Голова была забинтована. В руке он держал пистолет. Он приблизился к лафету, обнял пушку и поцеловал.

Снаряд калибра 152 миллиметра, дремавший в стволе семьдесят лет, так и не полетевший к рейхстагу в минуту, когда завершилась война, — этот снаряд слабо дрогнул, услышав поцелуй командира. Офицер встал во весь рост, поднял пистолет и воскликнул:

— За нашу Родину, огонь!

Пушка дернулась, изрыгнула грохочущее пламя. Снаряд полетел над городом к наркотической дискотеке "Хромая утка" и лег прямо на стол, за которым собрались губернатор, глава местной Думы, олигарх и наркоторговец. Взрыв разметал дискотеку. На месте стола образовалась черная, полная дыма воронка. Все, кто сидел за столом, превратились в пар.

Садовников слышал далекий разрыв снаряда. Запахнул штору, за которой тихо спала Вера, и вечернее солнце дрожало на стене малиновым пятном. Он хотел прилечь рядом с ней, обнять ее легкое тело, вдыхать кроткие запахи ее волос и думать о колокольчиках, слипшихся от дождя, о сосновых борах с фиолетовым вечерним туманом. Никола уже вернулся домой, и Садовников целил его раны, покрывал волшебной смолой ссадины и над-

колы. Чистил и точил зазубренный меч. Смывал копоть со страниц священной книги.

Он услышал шаги. Человек, вошедший без стука в дверь, появился на пороге. Он был одет в безупречный смокинг, галстук-бабочка украшал белоснежную рубаху. Лакированные туфли мягко ступали по половицам. На лбу краснело пятно, как лепесток ядовитого цветка.

— Вы позволите, господин Садовников? — с изысканным поклоном спросил человек.

— Проходите, господин Маерс. Не могу предложить вам кресло за неимением оного. Садитесь на стул к верстаку.

— Благодарю вас, Антон Тимофеевич.

Они сидели на стульях, напротив друг друга, и некоторое время молчали. В окно светило низкое солнце, озаряя далекие заречные луга и голубые леса.

— Нам не доводилось встречаться, Антон Тимофеевич, в спокойной обстановке, где могла бы состояться наша беседа. Однако все эти десятилетия мы находились очень близко друг к другу. Можно сказать, соприкасались вплотную.

— Мне это известно, господин Маерс.

— Вы помните, как в Панджшере ваша группа попала в засаду? Вас истребляли, и за вами пришел вертолет, и вы уступили место в вертолете своему другу. После этого вы обнаружили в себе необычные способности. Я находился в отряде моджахедов и приказал снайперу вас подстрелить. Но его пуля попала в камень. Хочу, чтобы вы это знали… Я преследовал вас всю вашу жизнь, желая вас погубить, чтобы вместе с вами погибли необычайные силы творчества, которыми наделил вас Господь. Это я смотрел на вас, когда вы метались по ночной Москве, и обезумевшие счастливые толпы крушили большевистские памятники, сбивали позолоченные надписи с коммунистических зданий. Это я руководил разгромом секретного научного центра, в котором вы работали, прекратил программу “Бессмертие”, проекты “Скорость мысли” и “Райские сады”. Я прекратил существование Института Победы и вывез в Америку секретную документацию и множество специалистов. По моему указанию с территории центра увозили белый звездолет, предназначенный для полета на Марс, а потом распилили его на куски. И теперь я пришел к вам, и вы видите мое лицо.

Садовников видел это немолодое, одутловатое, обрюзгшее лицо, мешочки под водянистыми глазами, лопнувшие склеротические сосудики на крыльцах носа. Видел залысины на висках и редкие белесые волосы. И сквозь это обыденное, невыразительное лицо проглядывалась страшная бездна, ужасная бесконечность, черный провал, источавший тьму. Лицо закрывало собой коридор, уводящий из этого солнечного летнего дня в антимир, где свертывалось время, исчезало пространство и клубилась чудовищная субстанция Тьмы. Садовников видел темную, едва различимую кромку, окружавшую лицо, где шло непрерывное истребление материи, гибли молекулы земного вещества, превращаясь в черное ничто. И от этих вялых складок у рта, лучистых морщинок у глаз веяло страшным могуществом, метафизическим злом, направленным не только на него, Садовникова, но и на все бытие, — на цветок, звезду, небесную радугу, электромагнитную волну. Перед ним сидел враг, готовый истребить не только его, Садовникова, его любовь, его мечту, его неповторимую, исполненную благоговения жизнь, но и весь божественный мир, весь проект сотворения мира, весь божественный замысел. И эта непомерная мощь, явившаяся из потусторонних миров, ужасала Садовникова. Он чувствовал, как иссякает его воля, как умирают тысячами его кровяные тельца и разум наполняется слепой фиолетовой тьмой.

— Я знаю, вы очень сильный и гордый человек. Ваши товарищи, улетевшие на 114 Лео, оставили вас на земле, чтобы вы подготовили их возвращение. Здесь, среди распада и тлена, в которые превратилась Россия, вы собрали когорту праведников, не подверженных разложению. Праведников, претерпевших страшные мучения, не отрекшихся от Добра и Света и одержавших победу. И теперь, когда Победа одержана, ваши друзья вернутся из

созвездия Льва, и совершат чудесное преображение России. И вы готовы послать к ним звездолет, чтобы сообщить об одержанной Победе. Так вот, я говорю вам — победа не одержана, ваши друзья не вернутся, а Россия, которой вы поклоняетесь, как чудотворной иконе, никогда не воскреснет. Этому залогом я и вся мощь подвластных мне стихий. Я пришел к вам не для того, чтобы превратить вас в кучку пепла или горстку молекул, готовых разлететься. Я прошу вас, отдайте мне звездолет. Покажите место, где вы его укрыли. Мои сенсорные датчики, "красные человечки", как вы их называете, обнаружили звездолет в районе центральной площади, но не сумели точно указать его место. Вы отдадите мне звездолет, а я отвезу вас и вашу подругу на прекрасный остров среди теплого моря. Поселю вас во дворце, где вы не будете знать никакой нужды. Станете услаждать себя любимыми стихами и музыкой, вся русская ноосфера будет источать свои чудесные картины и звуки, свои стихи и философские трактаты, когда вы прижмете к уху перламутровую раковину и услышите: "Звезды на небе, звезды на море, звезды в сердце моем".

Садовников испытывал всю силу обольщения, всю сладость колдовских чар, в которых плавилась, как свеча, его воля, а разум тонул в фиолетовой тьме, где не было страданий, борений, недостижимых мечтаний, а только одно блаженство.

— Отдайте звездолет.

И в этой фиолетовой тьме, среди туманных, дремлющих над морем звезд, вдруг зажглась сверкающая голубая звезда. Вспыхнул бриллиант сокровенной тайны. Драгоценный кристалл его бессмертной любви, его негасимой веры. Садовников одолел помрачение, смахнул прилипшего ко лбу фиолетового моллюска.

— Звездолет улетит к звезде 114 Лео и вернется обратно с эскадрильей других звездолетов. Преображение России случится. Победа уже одержана. Претерпевших до конца Победа.

— Тогда я уничтожу Россию, а вместе с ней звездолет.

Маерс, сидя на стуле, отпрянул вдаль, и теперь находился среди черного космоса, в пятне серебристого света. Он держал в руке маленький пульт величиной с мобильный телефон. Клавиши ядовито горели. Он поиграл над ними чуткими пальцами, надавил на одну. Во лбу Маерса загорелся зловещий уголь, окруженный злыми синими огоньками. Из дыры, ведущей в багровую бездну, полыхнули тысячи ракетных стартов, грохнули палубы авианосцев, бомбардировщики взмыли с военных баз, космические группировки ударили лазерами и электромагнитными пушками. Бесчисленные стаи ракет, эскадрильи самолетов, шаровые молнии плазмы понеслись на Россию, готовые превратить ее в ядовитое пепелище.

Садовников слышал, как приближается смерть, как тает подлетное время ракет, как свистит рассекаемый ракетами воздух и ревут самолетные сопла. Он сделал круговое движенье руками и метнул им навстречу пояс Богородицы, опоясал Россию. Холщовая ткань легла по вершинам гор, по берегам океанов, по тихим лугам и пашням. Она источала нежное голубое сиянье, дивный фаворский свет, тот, что бывает в вершинах мартовских белых берез. Этот свет заслонил Россию. И все ракеты, снаряды и бомбы, смертоносные лучи и сгустки плазмы ударялись о стену Света, превращались в бесшумные вспышки и легкой золой осыпались на землю.

Маерс утопил еще одну клавишу, сверкнувшую под пальцем, как злой светлячок. Во лбу задышала ядовитая скважина. Из нее полетели ледяные вихри, упали на Россию из черного космоса. Подули раскаленные ветры из мировой пустыни. Лед и огонь двинулись по земле, превращая леса в спекшийся уголь, сады и пажити — в ледяной пустырь. Россия горела, затмевая лазурь горьким дымом. Покрывалась ледяной коростой, под которой меркла и угасала жизнь.

Садовников видел, как летят над пожарами горящие птицы и падают в тлеющие луга. Видел, как под грузом тяжелых льдов ломаются деревья, и там, где недавно шумели леса, теперь до горизонта мертвенно блестят льды, и земля превращается в неживую, проклятую Богом планету. Он вы-

хватил из ящика деревянное расписное яйцо, народную игрушку, которую подарил ему старый мастер в нижегородской деревне. Яйцо было расписано алыми цветами, изумрудными листьями, серебряными и золотыми ягодами. Он метнул это животворящее яйцо навстречу льдам и пожарам, видя, как оно покатилось среди льдов и огней. И там, где оно летело, расцветали сады, земля покрывалась цветами, снова колосились хлеба, шумели дубравы. Россия превращалась в райский сад, и каждое дерево родило волшебный плод, даривший людям бессмертие.

Маерс нажал на клавишу, которая промерцала, как болотный огонек. Во лбу заклубился мутный дым. И раскрылась преисподняя, и на Русь повалила толпа отвратительных и ужасных тварей, имеющих с людьми отдаленное сходство. Собаки с головами телевизионных растленных див, чахоточных политологов и нервического вида политиков. В этом клубке уродливых тел виднелись эстрадные певцы, известные своими извращениями, титулованные геи, господствующие в правительстве и культуре. Там были уроды в буграх и нарывах, химеры с головами рыб и таинственных птиц и телами мужчин и женщин. Среди них извивались змеи, скакали лягушки, сновали ежи. Все множество с адскими песнями, под музыку подземного мира надвигалось на Русь, и не было спасенья от смрада и тлетворных болезней.

Садовников встал на пути ужасного толпища, и легкий прозрачный стих, нежный и восхитительный, зазвучал среди рыка и храпа. "Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты, как мимолетное виденье, как гений чистой красоты". И этот хрустальный стих, его божественное целомудрие, его несказанная красота обратили вспять адскую толпу, и она с визгом и завыванием, гонимая невидимой силой, бросилась обратно в черную щель преисподней и исчезла среди сатанинских стенаний.

Маерс поднялся со стула, простер к Садовникову руки. Во лбу открылась черная дыра, в которой гасли светила и звезды. Из дыры рванулся клубок тьмы. Следом другой и третий. Сгустки тьмы, как черные взрывы, мчались, затмевая свет, накрывали города и селенья, поглощали просторы и дали. Земля, окутанная тьмой, исчезала. На ее месте открывалась зияющая пустота, в которую улетали лучи и там гасли, превращаясь в ничто. Мир, сотворенный Богом, прекращал свое бытие, а вместе с ним испепелялся замысел Божий, в котором России отводилась спасительная и великая роль.

Садовников сердцем чувствовал непомерное давление тьмы, неодолимую мощь вселенской смерти. Он чувствовал, что погибает, его затягивает тьма, кидает в непроглядный черный колодец. С последним вздохом и ударом гибнущего сердца нащупал на шее тесемку, на которой висела крохотная алая бусинка, амулет жены. Протянул бусинку навстречу тьме. В бусинке зазвучал любимый голос, крохотный алый лучик полетел навстречу Тьме, вонзился в черный клубок, и Тьма распалась, мгла, затмившая землю, рассеялась, и снова солнце заблестело на озерах и реках, и стая уток, поднимая крыльями брызги, опустилась в камыши, и синяя стрекоза перелетала с водяного цветка на цветок.

Маерс хватал руками улетающую Тьму. Его черный смокинг истлел, и открылся белоснежный мундир американского морского офицера. Но и мундир истлел, и возник шелковый азиатский халат. Медвежья шкура шамана. Розовое платье кокотки. Полосатая роба висельника. Облаченье вавилонского жреца. Набедренная повязка африканского колдуна. Маерс лишился одежды, маленький, голый, с кривыми волосатыми ножками, с мохнатой головой обезьянки. Уменьшился и пропал, превратившись в завиток тьмы, который всосала в себя черная щель мирозданья. Садовников, закрывая щель, повесил на нее деревенский клеенчатый коврик с пышной красавицей и гусями, плывущими в синем пруду. Этот коврик висел когда-то на стене деревенского батюшки, который крестил Садовникова в полутемной холодной церкви.

Садовников устало сидел на стуле, исполнив вмененную ему работу по спасению земли.

— Что там шумело? — Вера проснулась, и занавеска, за которой она лежала, была в пятнах вечернего солнца.

— Это прилетали дрозды и обклевывали нашу рябину. А потом улетели.

Наступила пора собираться. Он наклонился, погладил ей волосы и сказал:

— Вставай, нам нужно идти.

— Куда? Ведь уже вечер.

— Нам нужно идти.

Она больше не спрашивала. Послушно поднялась. Расчесала гребнем свои темные блестящие волосы.

— Я готова.

Садовников взял на руки деревянного Николу, вышел из дома туда, где стояла его старая "Волга". Поставил Николу на заднее сиденье, а на переднее, рядом с собой, усадил Веру. Кругом были разбросаны красные щепки, оставшиеся от разрубленных идолов. На небе румянились два вечерних облачка, и между ними был натянут клеенчатый коврик с красавицей и плывущими в пруду гусями.

Они проехали по городу, где было малолюдно. Жители, испуганные беспорядками, укрылись по домам. Подъехали к зданию супермаркета, в котором уже светились витрины и горела красная неоновая вывеска. Здесь когда-то размещались научные лаборатории, где ученые стремились разгадать мировые тайны. Теперь же царила торговля, люди тратили деньги, окружая себя множеством привезенных из-за границы предметов.

Вышли из машины. Садовников нес Николу, Вера поспевала следом. В супермаркете почти не было покупателей. Тележки для продуктов стояли пустые. У касс скучали продавцы.

Они прошли вдоль полок с товарами. Сквозь заднюю дверь проникли в помещение склада, уставленное ящиками, товарами в упаковках. Протискивались сквозь мотоциклы, велосипеды, спортивные принадлежности, ворохи плюшевых игрушек. Остановились у глухой шершавой стены. Садовников достал маленький пульт, нажал кнопку. На пульте замигала красная ягодка. Стена бесшумно отодвинулась. И в этот момент сокровенная тайна, что таилась в коконе его разума, драгоценно и лучисто сверкнула и вырвалась на свободу. Как бирюзовая звезда, скользнула в открывшийся проем. Они вошли в просторное, мягко освещенное помещение, посреди которого стояло изделие восхитительной красоты и гармонии. Оно было похоже на дельфина с плавниками и заостренной головой, по которым струился бирюзовый свет. Изделие было прозрачным, и в нем переливались тихие радуги.

— Что это? — изумилась Вера.

— Звездолет, — ответил Садовников. — Он создан из материалов, в которых известные на Земле элементы озарены фаворским светом и обладают свойствами нездешнего мира. Он движется со скоростью мысли, и его энергия — это энергия русской ноосферы, ее волшебных стихов и божественных молитв.

— Почему мы сюда пришли?

— Ты и Никола Угодник сядете сейчас в звездолет и улетите к звезде 114 Лео. Вы оповестите моих друзей, что здесь, на Земле, все готово к их возвращению. Русские праведники претерпели до конца невыносимые муки и одержали Победу. И людям Звезды нужно спешить на землю, чтобы начать преображение России.

— И ты полетишь вместе с нами?

— Я останусь здесь и буду ждать вашего возвращения.

— Неужели нам придется расстаться?

— Совсем ненадолго, поверь. Однажды на утренней заре я увижу, как в золотых тучах, среди лучей, возникнет сверканье. Ослепительные, в зеркальном блеске, появятся звездолеты, и на одном из них ты, моя ненаглядная.

— Мне больно.

— Я люблю тебя.

Садовников открыл прозрачный фонарь звездолета, помог Николе занять командирское кресло. Вера уселась сзади. Закрыв прозрачный колпак, он видел ее разноцветное платье, темные волосы и губы, которые что-то шептали. Он угадал слова: "Я люблю тебя".

В систему навигации были введены координаты голубой звезды 114 Лео. Электронная карта маршрута содержала цифровой код стихотворения Лермонтова: “По небу полуночи ангел летел”.

Садовников видел, как расходится задняя стена ангара и становятся видны травяной луг и озаренные последним солнцем купола далекого храма. В соплах звездолета замерцало голубое пламя. Машина покатилась из ангара на луг. Садовников видел деревянную голову чудотворца, его воздетый меч и любимое, обращенное назад лицо Веры. Полыхнуло бесцветным жаром, звездолет прянул, превратившись в искру, и исчез. На лугу, над которым он пролетел, расцвели алые маки.

Теперь звездолет летел в других мирах, и вокруг него вспыхивали и гасли светила, кружили кометы и луны, и Никола, строгий и истовый, вел корабль к чудесной звезде. “Люблю тебя”, — донеслось до Садовникова из далеких миров.

Он оставил машину на площади и устало брел по вечернему городу. Повсюду валялись разрубленные на куски красные человечки. На ступенях областной администрации он увидел лежащего араба. Тот был рассечен надвое страшным ударом меча от темени до крестца. На срезе была видна мягкая оболочка, пронизанная множеством проводков, разбитые электронные платы, шарниры и сочленения из нержавеющей стали.

Навстречу Садовникову попался местный поэт Семен Добрынин, изрядно пьяный.

ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ

Садовников медленно, завороженно отодвинулся от компьютера, и завершенный роман некоторое время дышал на него с млечного экрана, а потом стал удаляться вместе с последними героями, канувшими в темноту переулка, где загорались желтые окна. Роман всей своей громадной трепещущей жизнью стал уплывать, отлетать, оставляя в душе Садовникова туманную полость, где продолжали клубиться обрывки переживаний и образов, не успевших уместиться в роман. Роман удалялся, и связь с ним терялась, как теряется она с небесным телом, улетающим в другие миры, где оно обречено на забвенье.

Садовников сидел в своем кабинете, среди книг, коробок с разноцветными бабочками, множеством фетишей, привезенных из заморских стран, в которых, среди войн и революций, протекли его годы. И по мере того как удалялся роман и остывала жаркая, оставшаяся под сердцем полость, его охватывало болезненное недоумение, мучительная тревога и страх. Роман, который он писал полгода, погружаясь в него всем своим воображением, памятью и предчувствиями, — роман заслонял его от огромного горя, смерти жены. Эта смерть, как ошеломляющий, нежданный обвал, обрушилась на него, и он погибал среди необъяснимых состояний, в которых сгорала его душа. Беспомощный, среди слез и бессонниц, он погибал в этом горе. Роман был спасительной защитой, заслонял от разящей радиации, отклонял и гасил беспощадные лучи. И теперь, когда роман завершился и улетал, открывалась вокруг пустота. Садовников испуганно сжался, чувствуя, как снова поглощает его горе, непосильное переживание из боли и близких слез.

Он пошел по дому, двухэтажному коттеджу с выходом в сад, куда они с женой переехали из московской квартиры и жили последние десять лет, наслаждаясь близким лесом, прудом, березами и елками на небольшом участке. Дом без жены казался пустынным, просторным, и за каждой дверью, на каждой ступеньке присутствовала ее тень, множество связанных с ней предметов пугали его, звали, и он натыкался на них и вздрагивал, остро чувствуя, что теперь эти предметы существуют без жены и говорят о случившейся смерти.

Сорочье перо, черное, с зеленым отливом, которое она нашла на дороге и укрепила на стене в прихожей. Гуляя, она всегда возвращалась домой либо с маленьким букетом лесных цветов, либо с узорным камушком, либо

с затейливым сучком. В ней жило суеверное, языческое стремленье запечатлеть исчезнувшее мгновенье, недаром ее любимым стихотворением Пушкина было "Цветок увядший, безуханный, забытый в книге вижу я".

В буфете большие фарфоровые кружки с петухами, рыбами, золотыми подсолнухами, которые она купила для внуков, когда те наезжали в гости. Усаживала их за стол, извлекала кулечек с конфетами и смотрела, как внуки пьют чай, шалят, отбирают друг у друга конфеты. И по сей день в буфете сохранился пакетик с "Белочками", "Коровками", "Мишками". И кружка с большим красным маком, которую она склеила, когда внук уронил ее и разбил.

На камине агатовый подсвечник с розовым оплывшим воском, оставшийся с Нового года, последнего, когда они собрались всей семьей. Дети, внуки, мерцающая пахучая елка. И жена, уже тяжело больная, вышла в нарядном платье, подняла бокал с золотистыми пузырями шампанского, и все тянулись к ней, чокались, улыбались, тайно прощались.

В ванной на подзеркальнике ее гребень, который он боялся тронуть, не мог убрать. И когда смотрел в зеркало на свое худое, заострившееся, с волчьими чертами лицо, вдруг в серебристом зеркальном дыму у него за спиной возникало ее лицо, прекрасное и любимое, которое оставалось с ним рядом многие десятилетия и теперь не хотело его покидать.

В прихожей на вешалке висела ее замшевая поношенная куртка с костяными пуговицами, которую она накидывала на плечи, отправляясь гулять. Сидела в ней в беседке, глядя, как гаснет в березах заря, и он исподволь наблюдал за ней из окна, отрываясь от книги, не улавливая момента, когда она покидала беседку. Узорные столбики, пустая скамейка, малиновое облачко в ветках березы.

Все месяцы, прошедшие после смерти жены, Садовников почти не заглядывал в комнату, где случилась эта смерть. Держал дверь закрытой, словно не выпускал из комнаты таившееся в ней, остановленное смертью время, боясь, что оно вырвется и опрокинет его страшным ударом. Все, что случилось в ту ночь, все его предчувствия, ожидания, моления, неумолимое приближение несчастья, все страданья жены, ее последний мучительный вздох, — все было заперто в комнате, существовало за дверью. И теперь, стоя перед дверью, он боялся ее открыть, пугаясь встречи с безымянной тенью, с той ночью, среди которой жена доживала свои последние, мучительные минуты.

Отворил дверь и почувствовал едва ощутимый хлопок ветра. Это застывшее в комнате время прянуло наружу, соединяясь с бесконечным временем, которое подхватило и умчало ту ночь, растворило ее среди бесчисленных дней и ночей.

Зажег свет. Озарились стены, шкаф, кровать под покрывалом, на которой умерла жена. И множество запахов заструилось, потекло, и каждый, не сливаясь с другим, говорил о жене. Еще пахло лекарствами и последней мукой, которую безуспешно старались облегчить врачи. Церковным елеем, воском и лампадным маслом, — батюшка из соседнего храма приходил соборовать жену, и ее комната была полна синего кадильного дыма, в ее изголовье горели тонкие свечи и светилась масляным огоньком рубиновая лампада, которая после смерти жены погасла и больше не зажигалась. Тонкими духами нежно и беззащитно благоухал бирюзовый платок, сложенный аккуратно и бережно. И еще засохшая ветка березы, с праздника Троицы. И чуть слышная лаванда из закрытого шкафа. И что-то еще, неуловимое, связанное с ее милым лицом, темными волосами, чудесной улыбкой, лучистыми, обожающими весь Божий мир глазами. Все это нахлынуло на Садовникова, и он задохнулся от слез, сел на кровать, сжался и замер, чтобы не разрыдаться.

Вся стена над кроватью была превращена в иконостас из множества маленьких бумажных иконок, которые она привозила из паломнических поездок, покупала в церковных лавках, приносила из храма. И орнамент этих иконок, присутствующие сред них рисунки сына, фотографии родственников, тот неуловимый закон, по которому они были размещены по стене, говорили о свойствах ее души, ее вкусе, ее разумении. Были отпечатком ее

личности, которая исчезла, оставив по себе орнамент и тайный код, допускавший возможность воскрешения.

Он сидел, глядя на разноцветный иконостас, и перед каждой иконкой, перед каждым рисунком и фотографией туманился и трепетал воздух, и Садовников думал, что это трепещет дыханье жены, оставшееся от ее молитв и поминовений.

И вдруг косо, как ливень, прошибающий крону дерева, внезапно и оглушительно, хлынули воспоминания.

Он вспомнил те вечерние, как огненные бусины, электрички, которые тянулись за ее окном, а она, опуская пальцы на струны гитары, пела ему волшебные песни, от которых у него кружилась голова. И та фиолетовая гора с разрушенной деревянной церковью, к которой они приближались, а подойдя, увидели, что вся гора поросла спелой земляникой. И тот день в Кабуле, когда вокруг отеля шел бой, и лязгала боевая машина пехоты, и ревела восставшая мусульманская толпа — а она внезапно позвонила из Москвы, и он шутил, смеялся, стараясь ее успокоить. И та ночь на даче, когда заболел внук, задыхался, и ей казалось, что он умирает, и они мчались на машине в ночи, и она, обнимая внука, громко, исступленно молилась. И их новогодний стол, который она украшала пирогами, горящими свечами, и он вывозил к столу на коляске больную мать, и все они были вместе, огромная семья, и жена, исполненная благополучия и довольства, царила за столом, и они признавали ее главенство, радостно ей подчинялись. И давнишняя, на заре их любви, прогулка, когда, молодые, влюбленные, шли под зимними звездами по скользкой дороге, и он, глядя на звезды, испытывал восторг, забыв о ней на минуту. Она отстала, не могла за ним поспеть, и он ждал ее, глядя, как переливаются звезды. Она подошла и сказала: "Вот так же у нас и будет. Сначала мы будем идти вместе, а потом я отстану, и ты пойдешь один, без меня". Вспомнив это, Садовников задрожал плечами, прижал к глазам руки и молча, сотрясаясь всем телом, плакал.

Болезнь, поразив ее, медленно разгоралась, но она не подавала виду, скрывала от него. А он, догадываясь, что она больна, не хотел в это верить, надеялся на выздоровление, на врачей, на Бога. Заслонялся от ее болезни делами, суетой, романом. Не допускал мысли, что она умрет, а если вдруг такая мысль и являлась, не позволял ей укорениться, отмахивался, заслонялся, щадил себя. А она, уже выслушав приговор, готовилась к мукам, к неизбежному концу. Причащалась, молилась, ездила на богомолье, пила святую воду, и в ее глазах появилось выражение стоицизма, ожидания, мольбы и светящейся веры. Она уходила в церковь, когда он еще спал. Возвращалась одухотворенная, сияющая, исполненная нежности к нему, и он не мог понять природу этой нежности, этой просветленности, которая держалась недолго, сменялась усталостью, апатией, глубокой задумчивостью.

…В тот день он вернулся домой и увидел, что жене стало хуже. Она задыхалась, ее бил кашель, в груди страшно клокотало. Садовников опустился на колени перед кроватью, вглядывался в близкое, вздрагивающее лицо, в опущенные веки, дрожащие губы. Она приоткрыла глаза, увидела его. Взяла его руки в свои. Стала гладить, перебирать его пальцы. Он чувствовал тепло ее рук, понимая, что она прощается с ним. В этих прикосновениях трепетала вся их прожитая жизнь, их любовь, чудо их встречи, дивное, волшебное пребывание в этом мире, где суждено им было родить детей, схоронить любимых и близких. Те ночные электрички, проплывавшие у нее за окном, та белая деревенская печь с резной тенью шиповника, и белесые карельские озера с негасимой зарей, он сидит за столом над своими первыми рассказами, а она рисует его портрет с оранжево-золотой керосиновой лампой, и на озере расходился медленный круг от плеснувшей рыбы. Она прощалась с ним. Оставляла ему те московские метели, в которых они гуляли среди летучих огней. И горящий Дом Советов, куда она бежала с иконой спасать сыновей, записавшихся в добровольческий полк. И то зеркало, в котором она отражалась, когда примеряла бусы из розовых кораллов, что он привез ей из Никарагуа. Она ласкала его руки, и он был готов разрыдаться.

А потом отпустила и стала уходить, удаляться, забывая о нем, приближаясь к тому пределу, за которым оставалась одна.

Когда ее отпевали, она лежала в цветах, с бумажной полоской на лбу, среди золотых подсвечников и горящих свечей. Ему казалось, что она улыбается. Исчезла в лице жестокая окаменелость. Закрыв глаза, она с улыбкой слушает слова знакомых, столь любимых ею молитв, находится среди любимого храма, алых и голубых икон, сладких дымов, которые текут над ней.

Когда ее хоронили на сельском кладбище, серое дождливое небо расступилось, и проглянуло солнышко. Знакомая монашка сказала: "Она угодна Богу", и он верил, что она угодна Богу. Кидая на гроб комок твердой земли, не сопротивлялся, не роптал, не стремился силой любви и молитвы воскресить жену или продлить ее присутствие здесь, под солнцем. Он сдался, душа беспомощно затихла, и он плыл по течению времени, среди этих последних минут, когда еще была видна крышка гроба, когда рокотала падающая на гроб земля, когда могильщики ровняли глиняный холм и укладывали цветы.

На поминках он пил, не пьянея, водку, не слушал гостей. Смотрел на прекрасную, сделанную сыном фотографию жены. И думал, что скоро ее увидит, и спросит, чему она улыбалась в храме, лежа в гробу.

На поминках дочь подошла к нему и сказала:

— Мама перед смертью читала молитву. Ей было трудно говорить. Я расслышала несколько слов. "Мати негасимого света", и "Претерпевших до конца Победа". Она претерпела до конца… И теперь она в раю…

Первые дни без нее в доме были ужасны. Все напоминало о ней. И он сам, его память, его непрерывные слезы были напоминаньем о ней. О невозможности счастья, о вечной тьме, о бессмысленном времени, которое он проведет без нее, а потом и его понесут мимо беседки, мимо берез, под взглядом больших молчаливых окон.

Он погибал, его страданья вырывали из него сердце, с рыданьями излетали последние силы, и эти излетающие силы увлекали его в смерть. И тогда, спасаясь от смерти, он стал писать роман. Облекся в роман, как космонавт облекается в скафандр, выходя в открытый смертоносный космос. И все месяцы, с утра до ночи и во время ночных пробуждений, писал. Неряшливо, торопливо, прячась в роман, укутываясь в его сюжет, заслонялся романом от бесшумной и беспощадной радиации смерти. И теперь, когда роман завершился и отхлынул, Садовников оказался на высыхающем дне, как морское существо в обезвоженном море. И ужас, от которого отделял его роман, приблизился и повис над ним.

Он спустился из дома в сад. Стояла теплая бесшумная ночь. Светилось одинокое окно его кабинета, настольная лампа из узорных стекол. Он сел под березой у белого пластмассового стола, окруженного стульями. На одном из них напротив, казалось, совсем недавно, сидела жена. Кутаясь в поношенное пальто, усталая и больная, вдруг слезно и тоскливо сказала:

— Боже, как я вас всех люблю!

Над ним, чуть освещенные, свисали ветки березы. Ни одна не шевелилась. Только слабо пахло ночной листвой, и в беззвучном воздухе застыли ароматы близкого цветника.

Он закрыл глаза и отдался на волю случайных всплывавших воспоминаний. Воспоминания текли, и они уже были сновидениями, которые бесшумно сталкивались, перетекали друг в друга, исчезали, не оставляя следа.

Он вдруг отчетливо услышал голос жены, которая звала его:

— Антон!

Проснулся в испуге, оглядываясь. Все стулья были пустыми. Жены не было. Сердце колотилось. И в березе над его головой пропела одинокая утренняя птица.

На востоке, где росла молодая сосна, светало, но в середине неба еще горели звезды. Но они постепенно гасли. "И гаснет за звездой звезда, истаивая навсегда". Небо еще было бесцветно-серым, деревья недвижно темнели кронами. Но уже чуть заметно голубела заря.

Садовников смотрел на зарю, как в ней появляется слабая латунь, розовая полоса, и сердце его замирало, исполненное странного ожидания. Среди деревьев появились огненные волокна, заря разгоралась, и от нее одна за другой восходили золотые волны, словно это была безмолвная светоносная музыка. Садовников слышал эту музыку, в которой звучала тайная, обращенная к нему весть.

Он встал так, чтобы не мешали деревья, и смотрел на зарю, от которой летели лопасти света, как гонцы могучих сил, приближавшихся к утренней земле. В этом дивном пламени, в золотом огне возникли сверкающие хрустали, отточенные острия, лучистые звездолеты. Эскадрилья крылатых кораблей, окруженных зарей, мчалась на землю. И среди них был тот, в котором находилась жена, молодая, прекрасная, не ведающая смерти, несущая ему благую весть о великой Победе, которую они одержали, одолев все муки, всё страшное горе разлуки, чтобы снова встретиться и уже не умирать, и не расставаться, а жить вечно на преображенной Земле.